

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

В НОМЕРЕ:

ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД
НАУМ БАСОВСКИЙ
АЛЕКСАНДР БЕЛОУСОВ
НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ
АВИ ДАН
МИХАИЛ ЗИВ
ЕЛЕНА ИГНАТОВА
ЮРИЙ КАМИНСКИЙ
ГРИГОРИЙ КАНОВИЧ
ЮЛИЙ КИМ
ИГОРЬ КОГАН
ЕЛЕНА ЛАПШИНА
ПЁТР МЕЖУРИЦКИЙ
ДАВИД МАРКИШ
ШИМОН МАРКИШ
ФЕЛИКС КРАСАВИН
АРКАДИЙ КРАСИЛЬЩИКОВ
ЛЕОНИД ЛЕВИНЗОН
ЭЛИ ЛЮКСЕМБУРГ
ВАЛЕРИЙ СЛУЦКИЙ
МАРК ХАРИТОНОВ
ВЕЯВЛ ЧЕРНИН
СОФИЯ ШЕГЕЛЬ
МИХАИЛ ЩЕРБАКОВ
ВАДИМ ЯРМОЛИНЕЦ
И ДРУГИЕ

N17



JERUSALEM LITERARY REVIEW

ירושלים ספרותית

2004 17

2004

17

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

Творческое объединение «Иерусалимская Антология»
и редакция «Иерусалимского журнала»
благодарят ЗАО «РОСТАГРОЭКСПОРТ»
и его руководителя Бориса Юрьевича АЛЕКСАНДРОВА
за поддержку, оказанную в выпуске этого номера «ИЖ»

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ



И Е Р У С А Л И М

Иерусалимский журнал, № 17, 2004

Ежеквартальный журнал современной израильской литературы на русском языке

Виртуальный вариант в Интернете: www.antho.net/jr/

Союз израильских русскоязычных писателей

Творческое объединение «Иерусалимская антология»

Редколлегия: **Игорь Бяльский** (главный редактор),

Юлий Ким, **Шимон Маркиш**, **Зинаида Палванова**, **Дина Рубина**,

Роман Тименчик, **Велвл Чернин**, **Светлана Шенбрунн**

Ответственный секретарь – **Леонид Левинзон**

Художник **Сусанна Черноброва**

Веб-дизайн – **Карина Пастернак**

Редактура и корректура – **Бина Смехова**, **Любовь Лейбзон**

Организационное и техническое обеспечение номера – **Ольга Аксютинна**,

Михаил Бяльский, **Борис Бронштейн**, **Даниил Бурштейн**,

Виктор Гопман, **Григорий Гордин**, **Светлана Мойбер**, **Илан Рисс**

Издательство «СКОПУС»

Типография «ЦУР-ОТ»



При поддержке

Центра интеграции репатриантов – деятелей литературы и искусства при Министерстве абсорбции и Министерстве образования, культуры и спорта;



Совета по литературе и искусству

при Управлении национальной лотереи

«Мифаль а-паис»;



Отдела культуры

Иерусалимского муниципалитета.

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2004. All rights reserved

Авторские права на публикуемые произведения принадлежат их авторам.

ISSN 1565-1347

Адрес редакции: **Jerusalem Review, P. O. Box 32297 Jerusalem 91322**

E-mail: review@antho.net Тел. (972-2) 6720025; 6434005; 6432962

Мы стараемся отвечать на письма, присылаемые по электронной почте, но, к сожалению, не можем взять на себя обязательства по рецензированию и возвращению рукописей

Представители «Иерусалимского журнала»:

Москва – **Игорь Грызлов**, 5507747; igorgr@dol.ru

Виктор Инденбаум, 9157178; sifriya@mail.ru

Новосибирск – **Владимир Болотин**, 329944; bolotin55@mail.ru

Нью-Йорк – **Андрей Грицман**, 1-201-2250090; agritsman@msn.com

Рита Бальмина, 619-4606179; rita_balmin@yahoo.com

Чикаго – **Александр Блинштейн**, 1-847-6761134; rmasis1@home.com

Ефим Котляр, 1-847-5819304; YefimK@aol.com

Бостон – **Татьяна Гольдмахер**, 508-8819355; tgoldmakher@hotmail.com

Будапешт – **Жужа Хетени**, 361-3866277; hetenyiz@ludens.elte.hu

Париж – **Владимир Смехов**, vladimir.smekhov@wanadoo.fr

Торонто – **Илья Липес**, lipes@idirect.com

В Израиле:

Арад – **Ольга Кравченко**, 08-9971014. **Ариэль** – **Самуил Кушниров**, 03-9365452

Афула – **Любовь Серегина**, 04-6492095. **Герцлия** – **Леонид Шейнкман**, 09-9502681

Кфар-Саба – **Виталий Кабаков**, 09-7673293. **Лод** – **Михаил Гиль**, 08-9201291

Реховот – **Марк Павис**, 08-9353758. **Хайфа** – **Михаил Басин**, 04-8213657

ЯФФСКИЕ ВОРОТА

Михаил Зив

ДЛИННАЯ ИСТОРИЯ

* * *

Ах, не знаю, не знаю на свете совсем языка! —
Будто в воду пошел — не лицом! — перепуганным камнем,
Словно некую скрипку надыбал и стал — музыкант,
И кричал: «Оттого и пою, что пожизненно нет языка мне!» —

Ни в пропаже любви, ни в воде, за которую вдруг забежал,
Ни в ракетах своих, для которых не выклянчу почты,
Ни в сражениях правды, чьи руки верны грабежам, —
Я на милой земле неуверенный ставленник почвы.

Я тогда лишь и слышу, когда в эту воду тону,
Я тогда и пою лишь, когда этих звуков не слышу,
Я тогда лишь и помню, когда устремляюсь ко дну,
И тогда я люблю, когда ртом безвоздушное время колышу.

Или вот: над вечерней равниной небесный умышленный взгляд.
И такой очевидный, что это почти осязание,
Словно сам ты под небо подушечкой пальца и взят,
Словно это второе, почти что не наше сознание.

Суррогатом бессмертия вводится в тело язык,
Или, может быть, детской какой-то прививкой от смерти.
Ты как будто забыл, ты почти что тогда и возник,
Когда небо впервые сказало равнинам: «Ослепни!»

* * *

И дожил я до пасмурных седин,
Своей судьбы не очень господин,
Сознания неловкий исполнитель,
Среди калмыков — некий кабардин, —
Тунгусы, вы меня не извините ль?

А что я был, и что я в пищу брал,
Коль в ужасе средь клеточных мембран
Я калий пил и грыз подсобный кальций,
И в брак вступал, и, склонный к тем добрам,
Усаживался в должность постояльца?

И темен был, хотя в просвете рус,
И храбрым был, когда я не был трус,
И щедрым был, вербуясь в ставку жадин,
Накладен всем, я жизнь мотал на ус,
Когда не брился. – Да, я был всеяден!

И умер я ни за что, ни про что,
В холодную улегся без пальто –
Не Родину, а вечности предбанник,
Просеянный, как бы сквозь решето,
На небо, но вне жен уже и нянек.

И умер я. Когда б не умер я
Среди разлук, любовей и вранья
И прочей зряшной радости на свете,
О, как бы я чужим вошел в братья?
И как достиг бы совершеннолетия?

КАТЕР

Что ностальгия? – Милое кино.
Мы слишком снисходительны к поправкам
Своей судьбы. – Те семеро по лавкам
Твоих обид – уж выросли давно.

Чужбина жизни – всюду хороша.
На новизну любой пропащий падох.
В расчете на мирской живопорядок
Не долго покобенится душа.

Чужбина жизни – это спор и спорт,
Физически усвоившийся диспут,
Особенно, когда в ночи зависнут
На файле моря – этот спящий порт,

Жующий время, или пальм анклав,
В твою судьбу умышленно запав
С чужих программ, – не только врос, но вырос.
Не так уж страшен, как малюют, вирус.
Не сразу попадешь рукой в рукав,

Чтоб выбежать на пляж. И сам Создатель –
Что, не игрок? Что, не творец? Не кстати ль
Меняется на пробу комсостав

Не только у веществ – и у понятий,
И у пространств, повылезших из патин
Тех геометрий, где в разгар симпатий
Все схлопнулось и спятило стремглав, –
Окуклилось – и больше не видать их!

Меняется и сам исходный нрав,
В чужих отавах клеверу нарвав,
Облюбовав инакие полати.
А кто готов, лукав, не отблукав,
Построить мир в константах отсебятин?

Кто не менялся, в ужасе коряв,
В болоте гибели кто не мастачил гати,
В проклятиях себя порастеряв? –
Не всем едать медвежину с рогасти.
Меняется методика облав,
Условия дружб и способы объятий,
Как сны купав, как ногти у дитяти,
Как голоса у птиц, как запахи у трав
Как слух у памяти, что всю перелопатил,
Тех семерых с той лавки жизнь прождав.

И, к морю удивительно попав,
Бежал средь пальм, среди подручных спален,
Как бы дисплеем, тусклым от испарин,
И, если был слегка не материален,
То, Господи, совсем не для забав, –
Весь мир наш явно экспериментален.

И знал Предупредительный Минздрав
В одной из глав, подписанных для братьий,
Что горек мед, что тесен бред бурятый,
А сон аркадий в пятнах от поддатий,
Что южной ночи темен ледостав,

Где, хаоса дежурный соискатель,
Все выясняет одинокий катер,
За волноломом прыгать подустав,
Вселенский собирательный устав. –

Как будто есть он – выложат на скатерть,
И, с нами же позавтракать спеша,
Века себя от мук распотроша,
Прижмутся к нам с надеждой приласкать их. –
Чужбина жизни всюду хороша.

А катер ходит к бездне в кореша,
Маячит, появляется, не канет,
Как будто там незримое таранит,
Как будто к миру бегаёт за шкаф
И, локти суши вдоль борта прижав,
Невидимо проходит через грани,
Где опыт боли в каждом миллиграмме
И в каждом миллилитре – жгучий сплав.

Мышкует на мерцающем экране,
Где кроме нас никто не плыл заране,
Хотя давно свое откозыряв,
Еще зыряне зырили – зоря ли?
Иль ночь кромешная, где наш посильный штраф –

Входить на пляж, одевшись потеплее
В чужбину жизни – как рукой в рукав,
И гневно слушать – так ли уж картав
Тот гул ночной, та тьма, тот отсвет с нею,
Где катер наш, утенком по Диснею, –
Всю злую пищу носом расклевав,
Толпится в одиночестве, коснея,
Где зренье вжав в пространство потеснее,
Что стынет в отсветах пустых морских застав,
Земную жизнь почти что скоротава,
Все думать вслух – успею ли, успею? –
Курсорить по дежурному дисплею.

А там шумит, шумит оно без прав,
Все волны хаотично растеряв.

* * *

С относительно теплой зимой
И зеленым всю попугаем
В нашей смерти, особо немой,
Вдруг опять этот мир проморгаем?

Не дознав до конца, кто же мы? –
Главным образом – с чем? И откуда?
С неподъемной котомкой зимы
Дефилировать в сторону чуда

Воскрешения, счастья, стыда. –
Вы – сюда? Я – туда. – Ну, так здравствуй!

Заимеем лишь грустное «да»
Отблажившим обидам препятствий

От особой нехватки сердец,
Съев познание под лобные доли
И от грусти умрем, наконец,
И лишь для оправдания – от боли.

* * *

Шоссе затапывал Кумран,
И густо плыл самообман
В предгорье ада или рая,
И я струился сквозь туман,
Небрежно кудри поправляя.

В проем бесхозных горных стен
Наглядно личное свистел
В глубокой впадине трагедий,
И мокрый ангел вниз летел
От горней станции Эйн-Геди.

Между сиденьем и рулем
Я содержал сознания ком. –
По ком Истории страданье,
Где мчат машины босиком
Вдоль по шоссе у мироздания?

Над Мертвым морем мгла жила,
А тучи, прыснув от стекла,
С шоссе несли в ущелья отзвон,
В сторонку сплюнувши орла, –
Так что – и он самоосознан?

И длилось действо тишины,
Где все решений лишены
Но так участвуют в дремоте,
Что вскользь просматривают сны
Всей изворотливостью плоти.

И эти спящие сыны,
Своих наличных дум полны,
Едва подвержены заботе,
Чтоб зеленеть среди весны
И руль держать на повороте.

* * *

Когда-нибудь, сызмальства стойкий,
Еще не додумав печаль,
Поставлю копыта у койки,
Уйду в законную даль.

Покину означенный стапель
И выпорхну роем из сот,
И ангел старательный скальпель
Над кожей моей занесет.

Я буду в нечетком отгуле
Расплывчатый мять бюллетень.
Не я потревожил тот улей
И выпустил общую тень.

И спец от японских старейсин,
Мулла, чьею дремой домрем,
И ребе с ужаленным пейсом,
И поп, что спешит с дымарем, —

Все те, кому тоже сокрыто,
О чем там кричат рупора,
Кто водит над книгою быта
Куриною лапой пера.

Кто цель заселяет в пространство,
Кормя развесною лапшой,
Кто с детской надеждой шаманства
Вчерне колготится с душой.

Кто пьян на нездешние деньги
И равен царю и хмырю, —
На вашем торжественном сленге
Заранее благодарю! —

Всех тех, припасенных для басен,
Кто рой отгоняет от лиц,
Кто грустно стоит на атасе
Над пасекой наших границ.*

* Мы, может, и живы по пояс,
Где жизнь хоботками сосет
Ту вечность, с которой спорясь,
Используют мертвый прополис
В бесчисленном строительстве сот.

* * *

Это море тяжелое говорит, что оно тут мед,
Поднимая тот мед до дрожащего рта звезды. –
Это кто же язык волны переведет, поймет,
Темнотой за собой смывая навек следы?

Ну и что, что не будет слышно тебя – и что?
Это как же оставишь привкус во рту – и с кем?
Это – словно в метро улетаешь твое пальто?
Или это звезда зазывает тебя рискнуть?

Только в силу каких-то непререкаемых схем
Создается барашковый ритм, раздражая мрак.
Или голос планеты приближен прямо к виску,
И вдыхаешь объем вселенной размером в шаг.

Или это сквозняк, что укус, входит в твое нутро.
Или это звезда осыпает щебет, который знак.
Или это пальто догоняет тебя в метро.
Или это вблизи виска прополз фонарь слизняк.

Так ведь привкус от укуса загодя был в меду
Там, где куцая даль утопила локти в воде,
И заранее выдох нашарил во рту: «Дойду!»,
Ибо мы родились априори навек везде.

ЗИМНИЕ СОНЕТЫ

4.

Рычит вулкан – и он, конечно, зверь.
Что до тетерь – все города на выброс,
И абрис гор – годится лишь в экслибрис
Для книги исторических потерь.

Входящий в храм кричит во тьму: «Заверь
Меня, Нотариус! Беда моя на вырост!
Шуршит война! Бытует в клетках вирус!» –
По Сеньке шапку ловкую примерь!

К стране идет соседняя страна. –
«А кто ты есть?» – «А я твоя примерка!
Нельзя нам тут никак без фейерверка!»

Материя условно создана,
И в небе высь – как сорванная дверка, –
И глупая присутствий тишина.

5.

И в небе высь – отложенный побег.
Висит на ветке глупая пичуга.
Ну да, для существующих упруго
Есть поводы почувствовать свой век.

Тоскует банк, выписывая чек,
Прет самолет – он дело знает туго,
И с нами путешествует подруга –
Имеет явно шансы на ночлег.

Ты – девушкикин, ты – дедушкин, ты – женин.
Одетая в халат вооружений,
Идет страна другую в гости звать.

И мы, приметив издали кровать
Иль смерть свою в пылу телодвижений,
Успеем ими поколядовать.

6.

И мы умеем тут колядовать,
Заверенные в перечне лишений,
Салютовать им воинством мишеней
И коллективной сладости урвать. –

Довольно подозрительная рать.
Прикормлена гордынею прошений.
Особая система орошений –
От жажды над ручьями глотки драть.

Когда кому тщеславие приспичит,
Он в том и обналичит личный вычет –
Патриотизмом собственных запруд.

Прет самолет – так и его припрут,
Обычай лишь вослед глаза набычит,
А фейерверк за нами подотрут.

7.

И это море как-то подотрут,
И город наш, и нас, конечно, лично.
Все существует не гигиенично –
И скучный банк, и даже Гистатрут, –

И траты, что восприняты за труд,
И беды те, что мыкаются зычно. –
Вот ябеды как раз-то и занычь нам,
Бо фрейдовчане как-нибудь допрут.

Салют им всем, окалинам страстей,
Окраинам особых плоскостей,
Где голод наш особо губы чалит,

Где тигры спят с бенгальскими очами
В условном месте страшных новостей,
Какие мы едва еще почали.

8.

С нас ожидают крупных новостей.
Авансом там сознание жажды чалит.
Да, початы известные печали. –
Над морем одиноким костеней.

На высшее собрание костей –
Родительское? – чтоб не подкачали! –
И ты идешь – туда, где был вначале.
Над морем стоя, так же запустей!

Поштучное нам выдано бесплатно:
Зарплата, жизнь, объем, облом, туман,
Обиды стран, диван для нужных дам.

Живи как можно более приватно
В природе, существующей халатно,
Где нечто попустительствует нам.

Тригорий Канович

ЖАК МЕЛАМЕД, ВДОВЕЦ

I

Он вставал раньше всех, даже раньше птиц на одичавшем мандариновом дереве, когда серп месяца еще отливал стальным, морозным литьем, а растерянные облака, как отбившиеся от родной отары овцы, в одиночку бродили по едва розовеющему небу. Жак Меламед (так звали жильца четвертой квартиры в доме на короткой, как мундштук, улице Трумпельдор) распахивал на втором этаже окно, бережно рассыпал по карнизу купленные впрок ячменные зерна или хлебные крошки, вкладывал в заросший рыжей щетиной рот два жилистых, похожих на вязальные крючки, пальца и, набрав в легкие свежий, пахнувший мандариновой коркой воздух, с каким-то мальчишеским озорством, как в далеком детстве в Литве, в пограничном с Польшей местечке Людвинавас, оглушал пронзительным и призывным свистом всю погруженную в дрему округу.

Соседи по дому, старожилы Израиля и одногодки Меламеда, с безропотной обреченностью сносили все его странности, кроме этой несносной утренней побудки. В самом деле – где это слыхано, чтобы больной человек, сердечник, не ленился ни свет ни заря вставать с нагретой старческой постели и принимался по-разбойничьи свистеть на весь город в два пальца. Разве пташек нельзя покормить тихонечко, чтобы никого не потревожить? Ведь Господь Бог и пернатых наградил отменным нюхом и зрением. Кормит же каждое утро во дворе полчища беспризорных кошек и голубей сердобольная Хана Аронина по прозвищу Кармелитка, не ублажая их ни пением, ни художественным свистом, ни долгими задушевными беседами. Почему же он, этот упрямец Жак Меламед, обязательно должен отличаться от других и приманивать птиц богопротивным свистом? Ладно, жил бы себе один, в собственном особняке, а ведь дом-то общий, жильцов – куча мала, старичье на старичье, хоть бери и табличку приколачивай – «Богадельня»; кто после кровоизлияния в мозг целыми днями из каталки не выходит, у кого, как у Папы Римского, Паркинсон – руки трясутся, словно человека только-только из ледяной проруби вытащили; кому в сорок восьмом в Войну за Освобождение глаза дотла в танке выжгло. Одна только на старости радость, да и та куцая – поспать подольше. Куда торопиться? Пока спишь, и беды твои спят, и морщины во сне разглаживаются, и горб, если судьба взвалила его тебе на спину, выпрямляется, и трясушка не мучает. А тебя этот Жак задолго до рассвета будит, как в казарме по боевой тревоге новобранца.

Послал же Господь Бог на голову такого соседа! Кто только ни пытался образумить его и по-доброму уговорить – мол, уж коли тебе позарез охота посвистеть, сделай, пожалуйста, одолжение – начни свои трели на час или на два позже, после зарядки, скажем, или после завтрака. Дай людям спокойно пожить хотя бы во сне. Твои птички никуда от тебя не денутся – проголодаются и прилетят как миленькие.

Кто-то даже сослался на знакомого раввина, великого знатока Каббалы, который якобы сказал, что Бог евреям запрещает не только есть свинину, но и свистеть, что Он непослушных может в молодости покарать бесплодием, а на старости – слепотой и глухотой. Но Жак с мнением Бога не посчитался. «Мало ли чего написано в Каббале. Может, не то что свистеть – пукать нельзя», – отшучивался он в ответ и улыбался в партизанские усы, которые начал отращивать еще в Рудницкой пуще, в отряде знаменитого мстителя Федора Маркова.

Время от времени недовольные соседи снаряжали к непреклонному свистуну, как в старину к неуступчивому султану, высоких послов – то управительницу дома Хану-Кармелитку, которую англичане за нелегальную попытку въезда в Эрец-Исраэль интернировали вместе с Жаком на Кипр, недалеко от города Фамагуста, и упрятали на два года в беженский лагерь; то пенсионера Дуду Бен-Цви, в прошлом секретаря кфар-сабского мирового суда; то балагура Моше Гулько из Мукачево, пехотинца, сперва служившего под началом польского маршала Ридз-Смиглы, потом – советского маршала Толбухина и наконец – генерала Узи Наркиса в Армии обороны Израиля. Меламед к каждому, кроме спесивца Дуду Бен-Цви, судебного писаря, выдававшего себя за важную шишку – председателя суда, относился с неподдельным дружелюбием, охотно принимал посланников, усаживал их за дубовый стол в большой сумрачной гостиной, увешанной дорогими картинами, которые оставили ему на хранение его удачливые сыновья-близнецы Эли и Омри, рано сколотившие на биржевых сделках приличное состояние и перебравшиеся на постоянное жительство в Голландию – мол, с нашими евреями хорошо иметь дело на свадьбах и обрезаниях, но не в бизнесе. Жак внимательно выслушивал каждого ходатая, кивал кудлатой головой, угощал кофе и орешками, а наутро снова принимался за свое.

– Этого свинства я лично больше терпеть не намерен, – не раз грозился Довид Коробейник, по примеру Бен-Гуриона сменивший свою простонародную фамилию на более гордую и благозвучную – Дуду Бен-Цви. – Надо сообщить в полицию, они уж точно найдут на свистуна управу. Не станут с ним церемониться.

Дуду Бен-Цви, у которого год тому назад вырезали чуть ли ни всю прямую кишку, можно было понять и посочувствовать. От лихого свиста Меламеда он, раковый больной, страдал больше всех. Окна их смежных, выходивших во двор квартир с дешевыми тонкими стенами, рассчитанными на невольное пеленгование

сплетен и дармовую израильскую теплынь, отделял только ржавый желоб шумной водосточной трубы. Рулады Жака, нестерпимое утробное бульканье воды в трубе терзали чуткий судейский слух Дуду и частенько вызывали у него приступы уголовно наказуемой ярости.

– Зачем сюда вмешивать полицию? Он что – вор, грабитель? – гасила праведный пыл Дуду Хана-Кармелитка, и жалость пощипывала ее беззащитное сердце.

– Он хуже грабителя. Грабитель грабит сейфы, а он грабит наше последнее здоровье, – упорствовал Дуду.

– Допустим, я позвоню в полицию. И что, по-твоему, она ему сделает? Посадит за решетку? Штраф выпишет? – не уступала Хана, жалевшая всех на свете – и полицию, и воров, и грабителей. Всех, кроме себя. Чем больше в мире будет жалости, тем скорее в нем воцарятся и лад, и порядок, твердила она на каждом шагу и жаловалась, что вот ее не жалеет ни одна живая душа. Даже породистый пекинес Мао, с которым Хана никогда не расставалась, и тот хозяйку нет-нет да норовит укунить за лытки. – Сами, Дуду, разберемся. Мах нит, тайерер, кейн герудер!¹

Когда Хана-Кармелитка волновалась, она всегда переходила с выученного иврита на родной, пусть и поношенный, но теплый, как довоенная шерстяная кофта, идиш.

– А я говорю: надо обязательно сообщить, – не унимался Бен-Цви. – Есть же еще, слава Богу, в нашем еврейском государстве законы. Что будет, если все евреи в одночасье начнут по утрам нахально и безнаказанно свистеть? Я же не свищу, ты же не свистишь, Моше Гулько не свистит...

– А ты, Дуду, хоть разок подумал, почему мы не свистим, а он свистит? – вставила Хана. – Может, ему криком кричать хочется, а он сдерживается и от отчаяния только свистит. У человека жена умерла, дети на голландках женились и за границу укатили, носа в его сторону не кажут...

– А чего ему так уж отчаиваться? Дети – богачи. А жены не только у него мрут. Да что с тобой толковать – ты же вечно за всех заступаешься! Даже за этих ублюдков-арабов. Тебя хлебом не корми, дай только кого-нибудь под защиту взять.

С судейскими, самозванными или всамделишными, нечего пререкаться. Дуду Бен-Цви привык к приговорам, которые обжалованию не подлежат. А то, что Хана за всех заступает, это чистая правда. Видно, уродилась такая. Этому ее научили и четыре с лишним года жизни в монастыре кармелиток, куда двенадцатилетнюю, полуживую Ханку Аронину привела монахиня – матка Малгожата, которая подобрала сиротку в сорок первом в расстрельной яме под родным Плашовым, привезла в Краков и в костеле Святого Духа под польским именем Анны Свицерской окрестила. Всезнайки с Трумпельдор уверяли, что Хана Аронина до сих пор хранит под подушкой свой серебряный нательный

¹ Мах нит, тайерер, кейн герудер! (идиш) – Не поднимай, дорогой, шума.

крестик и что в позолоченной рамке над кроватью висит отретушированная и увеличенная фотография какой-то гойки в монашеском одеянии.

— Разве защищать человека — это грех? Когда-то, много лет тому назад, одна добрейшая женщина сказала мне, что в защите нуждается даже сам Господь — нас, смертных, обижают единицы, а Его — почти все люди, — с несвойственной страстностью прошептала Хана и уставилась на собеседника. — Знаешь, Дуду, в чем он мне однажды возле овощной лавки Ронена признался?

— Кто — Бог? — съязвил бывший Коробейник.

— Ну ты и скажешь! Жак! — прыснула Хана. — Он признался, что по утрам ему не для кого вставать... Понимаешь, не для кого и незачем... По дому одни тараканы бегают.

— Вздор, — перебил ее Дуду. — Это все громкие слова. Не для кого вставать... Птицы-шмицы... Тараканы... Да он еще всех нас переживет. А раз уж ты такая заядлая защитница, так защити и нас, бедных, от этого оболтуса. Поговаривают, у вас с ним еще с Кипра шуры-муры...

— Он, красавчик, там за всеми девками волочился.

В тот же день Хана-Кармелитка, с песиком на руках, названным почему-то в честь великого кормчего китайской революции, позвонила в дверь к Меламеду. Жак долго не открывал, наверно, занимался своим обычным делом — либо раскладывал пасьянс, либо разглядывал в альбомах семейные фотографии, либо сам с собой играл в шахматы. Однако вскоре послышался шорох легких летних шлепанцев, и в дверном проеме показалась седая кудлатая голова сухопарого хозяина.

— Можно? — спросила Хана-Кармелитка и, не дожидаясь ответа, на всякий случай перестраховалась. — Я только на минуточку.

— Входи, — разрешил Жак. — Садись. Сейчас я дам ему мат, сравню счет, и мы с тобой спокойненько попьем кофейку и языками почешем.

Хана села за стол и, косясь на янтарные шахматы, подаренные близнецами отцу к семидесятипятилетию, стала ждать, когда он наконец сравняет счет. Ее так и подмывало спросить, с кем он с таким ожесточением сражается, но Жак опередил гостью:

— У Эли мой характер. Не сдается в самых безнадежных позициях. У меня слон за две сдвоенные пешки. А сынок сопротивляется и до последней минуты надеется на мой зевок. Надейся, дружок, надейся, но шансов у тебя ноль целых ноль десятых, — Меламед склонился над доской, победоносно передвинул черную королеву с одной клетки на другую и радостно воскликнул. — Капут, мой мальчик! Хенде хох! Четыре — четыре.

Жак сгреб фигуры, аккуратно сложил их в инкрустированный янтарем ящичек, водрузил его на этажерку с книгами и, не обронив больше ни одного слова, исчез на кухне.

Через некоторое время он вернулся оттуда с подносом, на котором белели кофейник, сахарница и две миниатюрные фарфоровые чашечки.

– Венесуэльский кофе, – торжественно объявил он и поставил поднос на стол. – Племянничек мой, Яшка, на прошлой неделе из Каракаса целый мешок прислал. С собственной плантации. В этом году у них там сумасшедший урожай! – скорее с завистливым сожалением, чем с восторгом сказал Жак и принялся разливать горячий кофе по чашкам.

– Пей, Хана. Если понравится, я тебе пару пачечек презентую.

– У меня давление, а у Миши язва... – благодарно отказалась Хана, стремясь, однако, не умалить его великодушия. – Откровенно говоря, я к тебе пришла не кофе распивать.

– Догадываюсь. Ко мне по таким пустякам не ходят, – сказал Меламед. – Пол-ложечки тебе, по-моему, не повредит. – И, не давая гостю опомниться, продолжал. – Ну скажи, кто бы мог подумать, что этот шалопай, этот ветрогон Яшка так высоко взлетит! В Израиле он наверняка бы за решетку угодил, а там, в этих джунглях, может всех тюремщиков с потрохами запросто купить. В Венесуэле всего навалом: и кофе, и нефти. Нет чтобы из Египта нас туда привести, так праотец Моисей наш народ в раскаленную пустыню завлек, к верблюдам и кактусам. Я тебя, Хана, спрашиваю: зачем евреям верблюды и кактусы? Зачем им пустыня? Что мы тут за тысячи лет добыли? Что? Молчишь! А я тебе отвечу: мы тут добыли еще энное количество евреев. Вспомни – когда мы, наконец, сюда добрались из Фамагусты, нас было сколько? Шестьсот тысяч. А сейчас? В десять раз больше.

– Так это же хорошо.

– А что, скажи, в этом хорошего?

– Все-таки в десять раз больше.

– И что с того? Миру нужны не бесполезные евреи, а полезные ископаемые – нефть и газ, уголь и алмазы, а на нашего брата спрос давно кончился.

Жак Меламед шумно отхлебывал кофе, изредка поглядывая на дородную Хану; на ее одутловатое лицо, засеянное, как гречкой, бородавками; на крашенные в цвет охры волосы, из-под которых на макушке и на висках пробивался нетающий снежок; на сусальное золото сережек в больших, словно птичьи дупла, ушах.

– Тебя ко мне этот писаришка подослал? – успокоившись, спросил Жак. – Ну да, ты же всех защищать любишь, а Дуду – на всех жаловаться. Начиная с Бога и кончая нашим дворником – профессором из Баку.

Хана-Кармелитка смешалась, глаза ее округлились, она прерывисто задышала. Ей вдруг расхотелось говорить с Меламедом о несчастном Дуду, просить его о чем-то, увещевать. С какой-то щемящей ясностью гостя словно впервые почувствовала свое бессилие, заерзала на стуле, виновато огляделась, как бы ища опоры. В небрежно убранной квартире царило запустение, не вязавшееся с аккуратно развешанными фотографиями, на которых широко и счастливо улыбались близнецы Эли и Омри и их загорелые жены – высокорослые, светловолосые голландки в очках-пропеллерах и модных бикини, совершавшие вместе с его

поздними внуками прогулку на собственной яхте по незнакомому синему морю.

Вперив взгляд в похожий на огромное гусиное крыло парус, Хана помешивала ложечкой остывающий кофе и предусмотрительно молчала. Молчал и Меламед. Надо было о чем-то с ним говорить. Но о чем? Конечно же, не про эти его утренние трели – только заговори, и он тебя тут же протаранит испепеляющим взглядом, а то и взащей выгонит. Жак даже своего однополчанина Моше Гулько выпроводил за порог: «Пусть твой Коробейник купит себе глушилки или заткнет уши ватой!» На что же могла рассчитывать Хана, которая если что-то и отвоевала в жизни, то только своего язвенника Мишу у сварливой свекрови... Жак и рта ей не даст раскрыть. И будет тысячу раз прав, ибо разве такое уж страшное преступление привораживать на рассвете птичек и, когда тоска заедает и свет не мил, мурлыкать какие-то песенки из довоенных фильмов с Марлен Дитрих и Яном Кипурой или вполголоса сойкам и зябликам рассказывать на идише о своем горьком житье-бытье? Разве в соседних домах на Трумпельдор ливийские и йеменские собраты не запускают с самого ранья свои страдания на такую громкость, что слышно не только на Ближнем, но и на Дальнем Востоке?..

– Это он тебя подослал?

Чего, чего, а признания Жак из нее не выколоти, на Трумпельдор никто не умеет так молчать, как Хана-Кармелитка, тут ей равных не было. За четыре с лишним года своего вынужденного монашества в краковском монастыре она навсегда усвоила одну истину – Господь велик прежде всего своим молчанием. Недаром Он оберегает от напастей молчаливых и напастями карает болтунов. Хочешь выжить – прикуси язык.

– С чего это ты взял? Разве к тебе нельзя прийти просто так? – схитрила она. – Было время, когда ты не мог меня дождаться. Слонялся возле барачков и у всех спрашивал: «Ханку мою не видели?»

– Что правда, то правда. Я же тебе, если у меня после всех наркозов память не отшибло, предлагал на Кипре руку и сердце. Но ты не согласилась. Подавай тебе, монашке, раввина. Без благословения раввина – ни, ни...

– Было, было, – вздохнула Хана.

– Было, – невесело подтвердил Жак. – А теперь выкладывай, зачем пришла.

– Дай сперва Яшкиным кофе насладиться.

Она поднесла чашку к красивым чувственным губам, над которыми кудрявились редкие кустики черных волос, и, медленно выцеживая ароматную жидкость, стала лихорадочно придумывать причину своего прихода, чтобы не облапошиться и вконец не испортить отношения с Меламедом. Ему, бедняге, и без того несладко. Живет один в трех комнатах, сходит от безделья с ума, придумывает Бог весть какие забавы, ходит к астрологу чаще, чем к кардиологу, на полном серьезе клянется, что к нему

по ночам его умершая жена Фрида приходит, день-деньской играет с самим собой в шахматы, гадает самому себе на картах. Вокруг ни одной родной души – ни детей, ни племянников. Не то что у других. У нее, у Ханы, одних внуков целых семь: трое у Аси, четверо у Авигодора, отца-скоростника, надоест старцам сиднем сидеть дома, Миша – за руль «Субару», и айда к дочери на Север, в Акко, или к сыну на юг – в Мицпе-Рамон.

– Кофе – прелесть, – все еще не решаясь заговорить с возмутителем спокойствия о деле, выдавила Хана. – Я такой вкусный только в Кракове пила, когда впервые после войны на родину, в Польшу, поехала, – ухватилась она за спасительную мысль. – Помнишь, я тебе рассказывала про Освенцим, про то, как пряталась в монастыре, про то, как на могилу своей спасительницы матки Малгожаты ходила.

– Хоть убей, не помню, – наморщил лоб Меламед.

Она съежилась, заерзала на стуле:

– Как заказала мессу в память о ней. Ты еще меня спросил, молилась ли я в костеле по-польски... И я ответила: да, по-польски, стояла в нише под крестом и чуть слышно шевелила губами. Неужто не помнишь?

– Хана – смягчился он, – оставим в покое наши воспоминания. У меня их у самого две скирды, до сих пор разгрести не могу.

Гостья встала, отряхнула юбку и пригладила крашенные волосы.

– Ну чего заторопилась? Никто тебя не гонит. Сиди. Только врать не надо... От вранья давление подскакивает. А этому законнику передай, что недалек тот день, когда я перестану свистеть... Во дворе, как я слышал от Гулько, собираются срубить под корень захиревшее мандариновое дерево и на его месте установить металлические контейнеры для мусора, чтобы объедки не валялись под окнами и не воняли на тротуаре. Улетят птицы и больше никогда сюда – свисти не свисти – не вернуться...

Меламед говорил почти шепотом, казалось, не ей, не жалобщику Дуду Бен-Цви, а кому-то другому, невидимому, может, улыбающимся сыновьям на белой яхте, может, своей покойной жене Фриде, завернутой, как в саван, в ворох его воспоминаний, а может, самому себе, одинокому, одичавшему, как мандариновое дерево во дворе.

Хана-Кармелитка, как замороженная, прислушивалась к его неторопливым словам, до конца не понимая их будоражащего душу значения.

– Плохо себя чувствуешь? – выдохнула она.

– Найди еврея, который на твой вопрос ответил бы отрицательно. Тебе хорошо?

Та виновато улыбнулась и зашагала к выходу.

– погоди, – остановил ее Жак. – Я обещал тебе кофе. Отвезешь Асе в Акко или Авигдору в Мицпе-Рамон.

Аронина не посмела отказаться. Ася и Авигдор будут рады подарку, они кофеманы, да и ей, миротворице, считай, повезло: хоть она ни разу про Дуду и не упомянула, но все-таки своим

приходом намекнула смекалистому Меламеду на то, что тот жалуется на него и ждет, когда он образумится...

Жак вышел из гостиной на балкон и вскоре вернулся оттуда с презентом – несколькими благовонными пачками в хрустящей обертке с изображением глобуса, на котором по всем странам и континентам щедро, как козьи орешки, были рассыпаны крупные Яшкины зерна.

– Спасибо, – сказала Хана.

– Передам, – пообещал Меламед. – Ему будет приятно.

– Кому? – опешила та.

– Яшке. Если позвонит, обязательно передам. Яшка теребит меня звонками чаще, чем мои басурмане. Все время зовет в гости и грозит оплатить все дорожные расходы. Надо же – племянник, а добрее детей, – вдруг разоткровенничался Меламед.

– А почему бы тебе туда не поехать? Пожил бы полгода в свое удовольствие, – оживилась Хана-Кармелитка. – Климат там, говорят, сносный, жители не антисемиты, автобусы и банкетные залы не взрывают, – нахваливала она Яшкин рай. Уехал бы Меламед на полгода к богачу-племяннику, глядишь, и отвык бы от своей привычки будить весь дом своим свистом.

– Да куда мне, развалине, одному в такую даль, – отрубил Жак. – Случись что, Яшка со мной возиться не станет.

– А ты... ты... – страх залепил Хане рот. Только договори, и Меламед набычится, побагровеет и тут же укажет ей на дверь.

– Ну, что осеклась? Коли уж начала, так заканчивай!

– А ты... ты туда... не один... вдвоем... с кем-нибудь на пару...

– На пару? С кем? С твоим Мао?

– Может, там кого-нибудь встретишь...

– А где я там в джунглях раввина найду?

– Раввины сейчас и в джунглях водятся, – выпалила она, прижимая к груди венесуэльский подарок. – Ты еще, Жак, ничего... Старше тебя мужчины женятся.

– И покойники в гробу иногда недурно выглядят. Жениться, чтобы и вторую похоронить? Ты же, Хана, ради меня со своим не разведешься...

– А вот возьму и разведусь, – с деланным кокетством промолвила она, пытаясь все превратить в шутку.

– Ну, если разведешься, то в тот же день под венец, а завтра – в свадебное путешествие... – подхватил он ее шутливый тон. – Сперва отправимся к Яшке, в Венесуэлу, а потом махнем в Голландию, в страну тюльпанов и ветряных мельниц. Яшка по случаю нашего бракосочетания расщедрится и подарит нам одну из своих плантаций, а Эли с Омри преподнесут какую-нибудь бухточку возле Монако и белую-белую яхту.

На старинных стенных часах в гостиной закуковала кукушка, которая своим жестяным клювом громко поклевывала запорошенное сумраком время.

– Уже семь, – удивилась Хана. – Заболтались мы с тобой. Пора Маодзедунчика кормить; уже всю скулит, бедняжка.

– Сейчас все скулят, – думая о чем-то своем, машинально закивал головой Меламед и после долгой паузы сказал: – Послушай, не попроси тебя этот кляузник, ты бы, наверно, и не пришла? Ты сюда и раньше-то нечасто приходила, может, раз, может, два – когда Фрида сделала то, что сделала, и после моей операции. Боишься, что Миша приревнует?

– Я уже давно ни к кому не хожу. Меня тоже никто не зовет, и я никого не зову...

Голос ее дрогнул, но Жак уже не слышал, подошел к этажерке, снял с полки шахматы, поставил на стол, медленно расставил фигуры и, когда дверь за Ханой захлопнулась, двинул вперед белую королевскую пешку.

Видно, ничейный счет с Эли его не устраивал.

II

Убедить Жака в том, что ему давно уже пора изменить свой образ жизни, покончить с бессмысленным затворничеством, пыталась не только Хана-Кармелитка. С неменьшим рвением уговаривал Меламеда и Моше Гулько, его ближайший друг и однополчанин – глупо, мол, хоронить себя досрочно, не вылезать из своего дота, надо растряситься, купить билет на самолет и смотаться куда-нибудь от этой осточертевшей скуки на Трумпельдор, вечных разговоров о болячках и смерти, если не к преуспевающим близнецам в Амстердам, то в Венесуэлу к оборотистому Яшке или, на худой конец, недельки на две в Литву, откуда тот и вел свой род.

– Нечего править по себе, живому, поминки. Если хочешь, давай в Литву укатим вместе, – не раз предлагал ему Моше. – В Прибалтике я никогда не был. Почему бы туда разок не съездить? В своей Галиции, в Мукачево, я уже побывал трижды, хотя тоже давал зарок никогда туда не возвращаться. И вдруг потянуло так, как в молодости в Израиль. Наверно, родители позвали. Голос мне был: приезжай, мол, Мойшеле, пятьдесят с лишним лет вороны над нами каркают. Приезжай, сынок, кадиш прочтешь над нашими могилами. И я, Жак, плюнул на все зарок, сел в самолет, и – в Киев, а из Киева поездом к ним. Сошел на станции и – на кладбище. Сам знаешь, что там на кладбищах раньше творилось: граждане скот пасли, надгробья с магендавидами на стройматериалы шли, ими тротуары мостили, лестницы... Думал, не то что могилу – следа не отыщу. Сначала так и было, вороны каркают, я плутаю, плутаю среди обломков камней и куч коровьего дерьма, и все без толку, и, когда уже у меня скулы от обиды и ненависти свело, мне, не поверишь, крепко подфартило, я даже глаза от неожиданности протер, не помешалось ли, нет, не помешалось – они: в ложбине – отец, сверху донизу мхом оброс, чуть поодаль – мать, до пояса сколота, ни имени, ни даты. Стою, смотрю, в глазах ужас, а на душе, страшно вымолвить, на душе, Жак, хорошо – нашел все-таки, не

зря поехал. Весь день и всю ночь у могил простоял, плакал, просил прощения, что жив остался, что полвека не приходил. А на рассвете бросился в город мастеров искать, нашел на окраине трех гуцулов-каменотесов, купил у них за доллары гранит и все в порядок привел... вернул родителям полные имена, железной решеткой могилы оградил, бук посадил...

– У меня в Литве никого нет, – отрубил Жак. – Даже надгробий. Мне там нечего ни ставить, ни обновлять. Я в Холоне землю купил – для себя и для отца с матерью. Когда умру, Эли и Омри на общий памятник скинутся...

– Но разве ты там в школу не ходил? В речке не купался? Рыбу не удил? По деревьям не лазил? В конце концов – не воевал? По-моему, даже «За отвагу» получил...

– И вышку в придачу. Хорошо еще, сволочи, приговор в исполнение не привели. Вовремя ноги унес. Появись я при той власти, мне бы показали не речку, где я рыбу удил, не деревья, по которым я в детстве лазил, а вздернули бы на первом суку...

– То было при той власти. А сейчас литовцам наплевать на то, что ты из партизанского отряда в Польшу деру дал. По-ихнему, ты, брат, даже подвиг совершил – с оружием в руках от советских оккупантов улизнул. Такие, как ты, там сейчас в почете. Говорят, они там нашим по первому требованию копии делают.

– Копии чего?

– Доносов, допросов, приговоров. За плату тебе твою папочку на тарелочке с золотой каемочкой принесут. Поехали, Жак... За твоими птичками кто-нибудь присмотрит – моя Сара или Хана-Кармелитка... Когда ты дни и ночи напролет у постели Фриды в больнице дежурил, ни один воробышек на Хану не пожаловался.

– Не пожаловался, – подтвердил Жак.

– Не хочешь один – давай вместе. Малость от нашей жары и ежедневных похоронных новостей остынем. А я тебе за носильщика буду и за фотографа.

– Подумаю, – пообещал Меламед. – С Липкиным посоветуюсь.

Было время, когда мысль о поездке на родину ему и в голову не приходила. Литва была для него краем, исчезнувшим из Вселенной; все, что мог, Жак безжалостно выкорчевывал из памяти. Правда, отчий край изредка всплывал из небытия только в его снах. В них против его воли из-под крови и пепла вырастало родное местечко – Людвинавас: одинокое и невесомое дерево возле хаты – не то разлапистый клен, не то усыпанный пупырчатыми плодами каштан, который в ветреную погоду колокольно гудел и стучался ветвями в ставни; серебряной подковой в камышовом обрамлении посреди лугов мелькало озеро; нырял в дремучий бор, кишевший грибами, извилистый проселок. Там, в этих сумбурных снах, жили отец и мама; за окнами кудахтали куры; на отцовском столе тикали принесенные в починку часы; на чердаке голубятника Гирша Цесарки ворковали сизари и витютени; в поле стрекотала жнейка, клекотали аисты, только его, Жака, в этих ночных видениях не было, как будто он и на свет не родился.

Еще совсем недавно Меламед и мысли не допускал, что все вытравленное и забытое в нем вдруг оживет и воплотится в смутное желание вернуться на круги своя. Приехать и на каждом шагу с опаской и презрением оглядываться, не идут ли за тобой полицаи с белыми нарукавными повязками, уведшие с Мясницкой в гибельные Понары его родителей, или гзбэшники, приговорившие его к расстрелу. Он еще пока, слава Богу, в своем уме, готов ехать куда угодно – в Гонолулу, в Венесуэлу, в Амстердам к своим двухметровым голландским невесткам, которые ни слова не понимают на иврите, но в Литву – к этому он совершенно не готов. На протяжении более полувека он жил, словно Литвы вообще никогда не было в его жизни – не было ни его родного местечка, ни полуподвала в гетто на Мясницкой, ни трупного оврага под Вильнюсом...

Пока двери в Литву были наглухо закрыты на железный запор, Жак и слышать о такой поездке не хотел: в то время его никто туда ни живым, ни мертвым заманить бы не мог. Но когда Горбачев, этот казак с отметиной на черепе, их неожиданно и безопасно распахнул перед беглецами и изгнанниками, Литва снова возникла в разговорах и спорах не как оголенная не поддающаяся заживлению рана, а как живое существо, и в непоколебимой решимости Жака, старавшегося все стереть и забыть, появились первые трещины. Меламед, правда, и раньше не умирал от тоски по ней, но и не утешал, как иные, свою боль анафемами – пускай-де там все от мала до велика провалятся за свои грехи сквозь землю и сгорят в аду; не кинулся он сломя голову и вслед за некоторыми своими ушлыми земляками в турагентства за билетами, не стал в спешке паковать чемоданы и собираться в дорогу, а спокойно продолжал подкармливать своих вечно голодных птишек, не помышляя о скором свидании с Литвой. Однако чем ретивей Жак сопротивлялся обуявшим литваков соблазнам, чем насмешливей относился к полувосторженным впечатлениям тех, кто возвращался домой, в Израиль, со своей, как он по-красноармейски ее называл, «бывшей в употреблении» родины, тем больше его тяготили и эта его непримиримость, и это упорство. Наверно, упрямец до гробовой доски стоял бы на своем, если бы в один прекрасный (для него вовсе и не такой уж прекрасный) день не обнаружил в почтовом ящике письмо. Омри и Эли обычно пользовались телефоном, но чтобы письма писали – такого Жак не припомнит. Словно сговорившись с Ханой-Кармелиткой и Моше Гулько, они предложили ему совершить вместе с ними двухнедельный вояж – и не куда-нибудь, а именно туда, в освободившуюся Литву – мол, пока ты, пап, жив-здоров, мы на семейном совете единогласно решили пройти по дорогим для твоего и нашего сердца местам, по которым когда-то хаживали дед и бабка, посетить Рудниковскую пущу, где ты воевал с немцами. Мартина и Беатрис в восторге от нашей затеи, а о твоих внуках – деловитом Эдгаре и шельме Эдмонде – и говорить нечего: они уже не могут дождаться того

дня, когда самолет взмлет в небеса. Лучше всего, как нам кажется, предпринять наше семейное путешествие летом, в начале июня, где-то в первой декаде. Жаль только, что наша бедная мама не дожидла до этого... Мартина обещает все запечатлеть на пленку. Надеемся, что ты с радостью примешь это предложение и не откажешься стать нашим гидом и толмачом. Все расходы, естественно, мы берем на себя. Точка и поцелуй в конце письма...

Письмо ошеломило Жака, а желание сыновей взять все расходы на себя просто его рассердило. Он что – нищий? Сам может их куда угодно свозить. Меламед долго не мог принудить себя сесть за стол и написать ответ, несколько раз перечитывал написанное, исправлял фломастером ошибки в названиях родного местечка и Рудницкой пуши, неизвестно от кого прятал конверт в ящик письменного стола, снова доставал и хмурил свои мохнатые, как шмели, брови. После того, как Эли и Омри распрощались с Израилем, он с ними не переписывался; еще больше замкнулся, сравнивая себя в душе с одиноким и захиревшим мандариновым деревом во дворе, которое покинули птицы; на вопросы о близнецах отвечал уклончиво и с раздражением, стараясь представить дело так, будто они не дезертировали из страны своего рождения, не бросили отца на произвол судьбы, а, оставаясь гражданами Израиля, согласились представлять интересы крупной хайфской фирмы в дружественном государстве.

Ушедшие с головой в алмазный бизнес, Эли и Омри нечасто баловали отца своим дорогостоящим вниманием, для приличия ограничивались звонками-милостынями – звякнут из Амстердама или Антверпена, заученно осведомятся, как здоровье, не нуждается ли он в каких-нибудь американских лекарствах, сунут аппарат деловитому Эдгару или шельме Эдмонду, дадут им на ломаном иврите покалякать с дедом, скороговоркой объяснить в любви и – до следующего раза, который Бог весть когда еще случится. Меламед даже придумал горестное и ядовитое определение – телефонные дети.

Письмо близнецов не только обрадовало, но и напугало – куда в его годы, с таким букетом болезней ехать? Зачем им, присяжным путешественникам, квелый попутчик с распиленной грудью и пересаженными сосудами? Неровен час – где-нибудь по пути грохнется замертво. Пусть едут сами, он охотно им подскажет, к кому обратиться – в Вильнюсе живет его однокашник и земляк Аба Цесарка, зарабатывающий на жизнь тем, что забирается с иностранцами на своей потрепанной «Волге» в литовские дебри; Аба за небольшую мзду – долларов сто – покажет им все печальные еврейские достопримечательности: гетто, кладбища, братские могилы, дедовские местечки, где ни одного еврея днем с огнем не сыщешь, а он останется дома, на Трумпельдор, со своими соседями и птицами. За приглашение, конечно, спасибо, но на него пускай не рассчитывают... До июня

еще дожить надо, глядишь, Эли и Омри передумают, остановят свой выбор не на Литве, а на какой-нибудь влюбленной в Израиль Микронезии или на экзотическом Непале.

Не дождавшись ответа, старший из близнецов – Эли (он родился на пятнадцать минут раньше, чем Омри) позвонил отцу из Штатов и как ни в чем не бывало начал:

– Алло! Алло! Это Израиль? Квартира мистера Жака Меламеда? Мистер Жак? Очень приятно... Это Вашингтон... Говорит Билл Клинтон.

– Не дури, Эли, – перебил его Жак, которому всегда претила склонность сына к шутовству. В роду Меламеда шутников испокон веков не было – водились одни печальники.

– Как здоровье? – продолжал «Вашингтон». – Не слышу. Говори громче! Боли под лопаткой? Только у мертвых ничего, пап, не болит. Не жалуйся. В твоём возрасте надо благодарить Бога за каждый прожитый день. Письмо про саммит получил? Про встречу в верхах в Вильнюсе?

– Получил, – без всякого энтузиазма ответил Жак.

– Ну и что решил?

– Пока ничего. Я сейчас без разрешения доктора только в туалет хожу.

– Не преувеличивай! Не такой уж ты больной. Отказы не принимаются. Уже заказаны и билеты, и люксы в гостинице. Для всех. Гостиница называется «Стиклю». Тебе это название что-нибудь говорит?

– По-литовски «Стиклю» – это Стекольщиков. Была такая хорошая еврейская улица в Вильнюсе.

– Ты на ней жил?

– Мы с дедушкой и бабушкой в войну жили поблизости – на Мясницкой. А ты не врешь – вы действительно заказали билеты и гостиницу?

– Да. На середину июня...

– Как же так – без моего согласия?

– Тебе что – внуков повидать не хочется?

– Внуков – хочется.

– Так в чем же дело? Все еще боишься, что тебя за твое дезертирство в аэропорту схватят и поволокут в каталажку? Никто и пальцем не тронет. Прошли те времена.

– Лучше уж я к вам в Амстердам. А заказы можно снять... – попытался отстоять свою шаткую независимость Меламед.

– Извини, – Эли вдруг замолк. – Мне по другой линии звонят... Не клади трубку. Я к тебе вернусь.

Жак знал: это теперь надолго. Он и раньше не раз должен был терпеливо дожидаться, пока Эли закончит свои бесконечные международные переговоры и с извинениями вернется к нему в Израиль.

В трубке слышно было, как Эли здоровается с неким важным мистером Джекобсом, который с первого слова принялся уверенно солировать; Эли только внимал ему и то и дело бодрыми

и необременительными репликами «Райт!» и «О'кей» окроплял каждый пассаж своего напористого собеседника.

– Йес, йес! – ручейком журчал подобострастный голос сына. – Третьего июля в Москве? О'кей! Меня и сроки, и место вполне устраивают. Я прилечу туда прямо из Вильнюса. До приятной встречи в России, мистер Джекобс... Бай! – Эли «надавил» на Израиль. – Извини, пап. Это был мой партнер из Гонконга, – объяснил он. – Миллиардер Тони Джекобс... Нет, нет, не еврей... Ирландец... Итак, где мы, пап, с тобой пятнадцать минут тому назад расстались? Ах, да, на улице Стекольщиков, что рядом с Мясницкой. Сколько лет ты там не был?

– Целую жизнь.

– Что же, вернешься на целую жизнь назад. Свой билет и страховку ты получишь на Бен-Еуда, 1, в Тель-Авиве у Миры... О'кей? Надеюсь, мы тебе дороже, чем твои воробы и вороны. А чтобы ты не очень по ним скучал, купим тебе в Литве целый птичник. Будь здоров! Кто-то ко мне снова пробивается... Алло!

И Эли переключился на другую, видно, более доходную линию.

Но Меламед по-прежнему прижимал к заросшему седым ковылем уху трубку и машинально подтягивал длинный, волочившийся по полу шнур, словно норовил удержать ускользающего от него телефонного сына.

«Стекольщиков!» Он никак не мог привыкнуть к мысли, что скоро, спустя целую жизнь, он и впрямь может приземлиться в Вильнюсе, в городе его короткой и гонимой молодости и поселится в роскошном номере (Эли и Омри никогда не останавливались у отца или в дешевых гостиницах – снимали номера в Тель-Авиве или в Иерусалиме) в двух шагах от того места, где на Мясницкой Мендель Меламед по вечерам чинил часы таких же доходяг, как он сам, и где смиренная Фейга своими неистовыми просьбами-молитвами терзала замороченный слух Господа Бога. Клиенты расплачивались с Менделем чем только могли – кто несколькими картофелинами, кто ломтиком хлеба, а кому он правил и даром. Семнадцатилетний Жак, которого тогда еще и Жаком-то не называли, не переставал удивляться отцу, копошившемуся до полуночи в ходиках и луковицах, и несчастным заказчикам – зачем им точное время, не все ли равно, в котором часу полицаи вытолкнут их прикладами на улицу и погонят на работу, как на погибель, и на погибель, как на работу, с кем они, горемыки, боялись разминуться, куда опаздывали? Ведь время евреев в Литве неотвратимо истекало, и уже никакой искусник не был в состоянии завести его заново...

Господи, Господи, как давно это было! Как разметала их неумолимая судьба! Мендель Меламед и Фейга Меламед-Гандельсман на веки вечные упокоились в осенних слякотных перелесках под Вильнюсом, литовским Иерусалимом, а он, их сын, живой и здоровый, через истерзанную Польшу и Францию добрался до Израиля, где родил на свет близнецов, похоронил

жену и сейчас, оставшись один с нажитым и никому не нужным добром, терпеливо дожидается, когда какая-нибудь жалостливая Хана-Кармелитка или добросердечный Моше Гулько сообщит о его кончине в местный полицейский участок.

Смерть издавна дышала Меламеду в затылок. Ее ангел неотступно ходил за ним, как сборщик податей за злостным должником, не давая забыть о неминуемом истечении срока. Но Жак не робел перед ней и старался перехитрить ее.

Он и сейчас не боялся смерти... Если чего-то и в самом деле боялся, то только того, чтобы не смалодушничать и не сдаться ей без боя. Может, потому он никак не мог себе ответить на терзавший его вопрос, когда же было страшней – тогда ли, когда он, полуголодный, озябший, озверевший от ненависти, мстил в Рудницкой пуще за своих родителей Менделя и Фейгу Меламедов, или сегодня, когда смерть по-кошачьи ластилась к нему, замурованному в этой уютной, похожей на мавзолей квартире, спала с ним в одной постели, гуляла в обнимку по набережной у Средиземного моря, ездила к доктору Липкину, играла в шахматы, ела за одним столом, участливо подносила в розеточке американские пилюли. Отсутствие ответа приводило его в замешательство, но Меламед утешал себя тем, что смерть, наверно, и есть самый внятный ответ на все вопросы, накопившиеся за жизнь. Какой же смысл задавать их себе у последнего порога.

– Ты спрашиваешь меня, почему нас на свете так не любят? – зачастую вспоминал Жак мудреные поучения отца. – Наверно, потому, что мы, евреи, каждый Божий день донимаем мир своими каверзными вопросами, на которые ни у кого нет ответов. Например, где равенство, где справедливость? Для чего Господь Бог дал нам два глаза и один желудок? Для того ли, чтобы мы больше видели и меньше ели? Зачем Вседержитель нас вообще сотворил? Неужто только ли для того, чтобы мы плодились и размножались и в промежутках работали, не разгибая спины? У какого умника искать ответ? У тебя? У меня? У нашего соседа Менаше, который спит в обнимку с Торой чаще, чем со своей благоверной? Когда-то я думал, что все ответы у Всевышнего за пазухой. Но, оказывается, и у Него за пазухой пусто.

Жак и на более простые вопросы затруднялся ответить. Саднило от неловкости, когда он тщился вспомнить, как в точности выглядели прадед и прабабка его внуков – Мендель Меламед и Фейга Меламед-Гандельсман. Что будет, если у него об этом спросят его белобрысые Эдгар и Эдмонд, с виду типичные арийцы? Сумеет ли он словами нарисовать портрет своих родителей? Ни на стенах, ни в толстых кожаных альбомах с витиеватыми виньетками не было ни одной фотографии Менделя и Фейги Меламедов. Они редко фотографировались, считая зазорным и накладным тратить деньги на никчемную панскую забаву. Уж как их Господь Бог нарисовал, в таком виде они и пребудут до конца дней. В родительском доме, в пограничном с Польшей Людвиनावасе до войны над комодом висел большой свадебный

снимок – хупа, испуганный жених Мендель, кудрявый, стройный, в черном, лоснящемся, как подсолнечное масло, сюртуке и бархатной ермолке, и прищурившаяся от счастья невеста Фейга в белом подвенечном платье, с увесистой, уложенной кренделем косой. С другой фотографии, взятой в дубовую рамку, во все глаза на молодоженов глядел смешной, коротконогий карапуз – Жак – в панамке, с голой попкой. Все это сгнуло там, за тридцать земель. В письмах к дальним родственникам, осевшим в Париже, Сан-Франциско и Йоханнесбурге, Жак упорно расспрашивал, не сохранились ли случайно у них дубликаты этих старинных, выцветших от времени дагерротипов. В их поиски он отважился впрячь даже своего племянника-хвата, летавшего во все страны, где по его, Яшки, убеждению, все поголовно должны пивать фирменный венесуэльский кофе. Жак надеялся на то, что, может, ему, этому везунчику, улыбнется удача, и он отыщет у внуков тети Ривы – сестры Менделя Меламеда или у Шимона – брата Фейги Меламед какую-нибудь семейную фотографию, сделанную в довоенном фотоателье Бауласа в Каунасе, где в хоральной синагоге венчались родители и где он, Жак, без малого восемьдесят лет тому назад первый раз – не свистом, а петушиным криком в Еврейском роддоме – возвестил о своем пришествии на эту грешную землю. Париж и Сан-Франциско, Йоханнесбург и Каракас не обнаружили ни счастливого жениха в черном сюртуке, ни застенчивую невесту с уложенной на затылке косой, ни карапуза со сдобной трефной задницей. Дядя Шимон, шутник и повеса, то ли в насмешку, то ли в утешение прислал Жаку из Калифорнии смонтированную цветную фотографию, изображающую его в смокинге и в лакированных ботинках, а рядом – президент Ричард Никсон с незабываемым боксерским оскалом.

Как ни насиловал он свою память, облик отца и матери оставался размытым и невнятным, и чем дальше, тем больше. Жак ловил себя на мысли, что уже почти забыл, как они выглядели. Они с каждым годом все больше затуманивались, зачернялись, сливаясь в едва различимое пятно, и Меламеда всякий раз, когда он вспоминал о родителях, обжигало стыдом и виной, что в тот роковой сентябрьский день сорок третьего его не было рядом с ними. Хотя чем он им мог помочь? Разве что прикрыть их на краю ямы своей грудью, чтобы через мгновение самому туда упасть, исклеванному пулями. Ему в тот день просто повезло – он не ночевал дома и опоздал часа на два к собственному расстрелу. С тех пор, где бы он ни был, его преследовала одна и та же жуткая картина: полицейские врываются в затхлый подвал на Мясницкой, сгребают с рабочего стола к себе в карманы все часики и лупу, выволакивают отца и маму на исхлестанную ливнем улицу и под вой ветра, треплющего бессмысленную намокшую картонную вывеску «Мендель Меламед – прием в починку и выдача часов до комендантского часа», прищипленную к входной двери большой булавкой, уводят на смерть.

даться, отделяться от целого, рассыпаться; и в сумраке – Жак не любил рано зажигать свет – высвечивались только горящие глаза мамы, и откуда-то, не то из подвала на Мясницкой, а может быть, из могильного оврага под Вильнюсом, доносился озабоченный голос отца: «Янкеле! Где ты, Янкеле?» Кроме отца и матери, его никто больше так не называл. Ни в Польше, куда он в сорок четвертом бежал из Рудницкой пуши, ни в Париже, где на пути в Израиль он два года подряд подметал улицы и мыл на бульварах витрины. Хозяйка быстро – вдовица Селестина, питавшая нежные чувства к изголодавшемуся еврею-подметальщику, в любовном пылу офранцузила его имя, а впоследствии, когда его со спецзаданием командировали в Парагвай, он, с легкой руки начальства, и вовсе стал «французом» – Жаком Пассовером.

«Где ты, Янкеле; где ты, Фрида; где вы, Шмулик и Моси, Хаим и Нохем, товарищи и однополчане, павшие в боях за Иерусалим?» Каждый вечер в пустой, укутанной в сумрак квартире на Меламеда обрушивались эти «гдегдегдегдегдегде?», и раз за разом тишина выстраивала в печальный ряд тех, кого если и можно было еще где-то найти, то только на кладбище.

Раньше, до операции на сердце, Меламед ездил к жене на кладбище в Ришон ле-Цион на красном, юрком «Фольксвагене», подаренном близнецами к какому-то его юбилею; порой он даже добирался на другой конец Израиля – в Безр-Шеву и Мицпел-Рамон, Нагарию и Цфат, чтобы помянуть рюмкой водки и невольной слезой друзей, павших в войнах с арабами. Но с тех пор, как доктор Липкин, дальний родственник опального наркома иностранных дел Литвинова, смещенного Сталиным с поста за недоверие... к Гитлеру, строго-настрого запретил ему садиться за руль, Жак отправлялся на кладбище на рейсовых автобусах, а иногда его выручал друг Моше Гулько, личный, как шутил Меламед, шофер, регулярно возивший своего соседа «на техосмотр» к весельчаку и балагуру Александру Липкину в Тель-Авив, в центр кардиологии, на улицу Друянова, а в день поминовения – на могилу к Фриде.

Так уж вышло, что письмо с приглашением в Литву и звонок Эли из Америки как раз совпали с очередным «техосмотром» у Липкина, который поневоле стал для Меламеда главным регулировщиком всей его вдовой и безвкусной жизни. Вынужденный жить не по еврейскому и не по григорианскому календарю, а по кардиологическому – от одного визита к врачу до другого, – Меламед согласовывал с ним каждый свой шаг. Посоветует Липкин, ради его, Жака, здоровья, взять в жены китайку, он тут же обойдет все китайские рестораны в Тель-Авиве и, если таковую не отыщет, то первым же рейсом вылетит за узкоглазой невестой в Пекин или Шанхай.

Меламед надеялся, что весельчак Липкин поможет ему отказаться от поездки, настаивает на том, чтобы он остался дома, не подвергал свое здоровье риску. Ни к чему, мол, сердечнику по-

добные нагрузки и эмоциональные встряски. Но уверенности, что доктор его поддержит, у Жака не было. Вдруг Липкин к своему обычному, сдобренному подбадривающими улыбками заключению: «Я вами, Меламед, очень доволен», прибавит: «Поезжайте, дружище, поезжайте! Вспомните молодость... Литва – прекрасный край. Я туда не раз в отпуск ездил. Очень даже рекомендую!» И вытаращит на него свои черные, плутовато сверкающие из-под массивных очков глаза. Что тогда? Изворачиваться? Врать? Ссориться с детьми? Строить из себя безнадежного инвалида? Раз откажешься, два, и близнецы тебя совсем из списков вычеркнут.

В условленный день Моше Гулько подкатил к дому на Трумпельдор свой «Фиат», вышел из машины, достал пачку «LM», закурил и, не теряя времени, принялся протирать ветровое стекло. Жак почему-то задерживался, и его «личный шофер» трижды посигналил.

– Прости. Кто-то молится перед посещением доктора, а я должен пописать, – спустившись, отпартовал Меламед и забрался в автомобиль.

– Ничего не забыл? – спросил по-бабьи заботливый Моше. – Кардиограмму, результаты анализов...

– Взял, – хмуро процедил Жак, показывая черное портмоне. – Тут все мое состояние: холестерол, сахар, кровь.

– А ты что сегодня такой мрачный? Неприятности?

– Наоборот... Приятности. Дети в Литву зовут.

– Так чего ж ты? Радуйся!

– Сил, Моше, для радости нет. Для нее их нужно не меньше, чем в горе.

«Фиат» рванул с места и стал выделять в переулках головокружительные танцевальные па.

При въезде в Тель-Авив они попали в пробку. Вереница машин запрудила всю набережную и двигалась, как стадо с деревенского пастбища – кучно и понуро. Моше открыл окно и, стряхивая на раскаленный асфальт пепел, молча истреблял одну сигарету за другой. С моря дул синий, шипучий, как пламя примуса, ветер; по теплому небу сиротливо плыло похожее на бисквитное пирожное облако. Меламед сидел на заднем сидении и, глядя на шаловливые волны, набегавшие на берег, думал о том, что, если Липкин не отсоветует лететь и даст увольнительную на следующие три месяца, то ему от поездки в Литву не отвертеться.

III

Той же приморской дорогой Жак на новехоньком «Пежо» возил к профессору Пекарскому Фриду. Первые признаки ее странной болезни насторожили и обеспокоили Жака, но поначалу он не придавал им должного значения. Мол, с кем не бывает – с годами все покрывается ржавчиной – ржавеет и память. Не такая уж это беда, если к старости вдруг начинаешь что-то забы-

вать, путать адреса и номера телефонов. С неизбежным приходится мириться. Но Фрида была не дряхлая старуха, а, что называется, женщина в самом соку – в ту пору Господь, как шутил Меламед, в своем вековом журнале ей только-только две пятерки поставил. И вдруг такая напасть – совсем еще нестарый человек не в состоянии вспомнить, как зовут самых близких людей – мужа, детей, внуков.

– Я – Жак. Жак! – с каким-то отчаянным терпением объяснял ей Меламед, надеясь, что своей настойчивостью достигнет до ее поврежденной памяти. – Я не Йоси, родная, и не Эхуд. А внуки твои не Моти и не Йонатан, а Эдгар и Эдмонд. Понимаешь?

Фрида таращила на него свои вишневые глаза, безостановочно кивала головой и беспомощно-виновато улыбалась.

От ее улыбки и бессмысленного согласия у Жака к горлу подступала постыдная тошнота и немели губы. То была, как ему казалось, улыбка самой судьбы – судорожная, отрешенная, предназначенная всем и никому.

До поры до времени Меламеду удавалось скрывать от посторонних свой страх и смятение. О загадочной, обрушившейся на него беде не знали не только близнецы (чем они на расстоянии могли ей помочь?), но и соседи. Жак редко появлялся с Фридой на людях, повсюду сопровождал ее, как телохранитель; взял на себя все хозяйственные заботы: готовил еду, выключал, если отлучался из дому, газовую плиту, ходил по магазинам. Но беда все-таки выплеснулась наружу; о ней заговорила вся улица; падкие на дворовые сенсации соседи, завидев его с тележкой, груженной снедью, начинали переглядываться и перешептываться, и Меламед решил не медлить, больше не полагаться на семейного врача, а отвезти Фриду в Тель-Авив и показать специалисту.

Кабинет профессора Пекарского, признанного светила в медицинском мире, находился на улице Кремье, поблизости от пиццерии, где после демобилизации Меламед работал развозчиком пиццы и где – что за коленца выкидывает искусница-судьба! – подавальщицей служила смазливая девчонка, которая избегала не то что знакомств, но даже разговоров с мужчинами.

Щеголявший доблестной, вымокшей в боевом поту гимнастеркой и солдатским беретом, засунутым за погон, Жак подкапывал на стареньком вонючем громовержце «Харлей-Дэвидсоне» к застенчивой, в темно-синем платице и белом передничке, официантке, похожей на гимназистку, и, притормозив на тротуаре, пытался разговаривать с ней, а если повезет, то и назначить с недотрогой свидание. Но та на его уловки не поддавалась, опускала голову и убегала к поварам на кухню.

Не привыкший к такому сопротивлению, Меламед не сдавался и усиливал на гордичку натиск.

– Говорить хоть ты умеешь? – украсив свой птеродактиль пропахшими бензином гвоздиками, Жак подруливал по тротуару к застеленному клеенкой столику, с которого хмурая подавальщица убирала объедки и окурки.

Но она и на кивки скупилась

– Мне доложили, что тебя зовут Фрида. В стране третий год. Не замужем. Правильно?

Фрида как ни в чем не бывало продолжала собирать со столиков посуду.

– Может, ты, милая, ещё и моя землячка? Из Литвы?

– Из Дахау, – выдохнула она.

– Альцгеймер, – тихо сказал Пекарский Меламеду, пока Фрида безучастно одевалась за ширмой.

– Живешь в Тель-Авиве? – Жак схватил букет, нанизанный на руль «Харлей-Дэвидсона», молодецкато поправил ремень, положил цветы на столик и своими огромными ручищами неуклюже принялся сгребать алюминиевые миски, пепельницы и расставлять стулья.

– В Лодэ.

– Одна?

Он почему-то не сомневался, что она сирота.

– Одна? – переспросил Меламед.

– На сегодня все ответы проданы, – не растерялась она.

– А завтра они поступят в продажу? – допытывался он, как будто речь шла о пицце по-мароккански.

– Завтра будет видно...

Подобие улыбки на лице Фриды обнадежило демобилизованного сердцееда.

– К великому сожалению, я вас, господин Меламед, обрадовать не могу, – пробасил Пекарский, протягивая Жаку рецепт. – Ваша жена очень серьезно больна. Эту болезнь медицина, увы, пока не в состоянии исцелить, она может ее в лучшем случае только замедлить. Постарайтесь не подчеркивать ее отклонения и нелепости, ведите себя с ней так, будто госпожа Меламед совершенно здорова. Не фиксируйте ее промахи, не раздражайтесь из-за ее забывчивости, никуда не отпускайте одну. Не скупитесь, как в молодости на ласку, когда, прошу прощения, вы ее плотски желали...

– Могу каждый вечер отвозить тебя на своем драндулете с работы домой... в Лод, – предложил Жак. – Могу и на работу. Утром. Что мне стоит – встаю рано, бачок у меня всегда полнехонький. Да и сколько тут от моей Ор-Еуды до твоего Лода? Сущие пустяки, – соврал он без запинки. Не соврешь – не охмуришь.

Жак сидел на заднем сиденье и рассеянно смотрел поверх головы Моше Гулько на мелькавшие в ветровом стекле громады зданий из камня и бетона, на старую облупившуюся мечеть с острым, как рапира, минаретом, на броские вывески фирменных магазинов, на лощеные манекены в сверкающих витринах, но против его воли всё это куда-то отодвигалось, растворялось в синем мареве, и из-под видимого, расцвеченного мишурой пласта произвольно прорастали «Харлей»; смущенная Фрида у столика на тротуаре; пустая пиццерия; за ветровым стеклом по-

сверкивало смахивающее на засушенную бабочку-однодневку старомодное пенсне Пекарского; в воздухе роились его беспощадные слова, и перед глазами мельтешили роковые каракули; горбатилась усатая мужеподобная старуха, у которой Фрида в Лодке снимала угол; перемежались, перемешивались, менялись местами времена и лица; наслаивались друг на друга несовместимые события, и от этого смешения, от этого наслаивания не сходств у Меламеда кружилась голова, в горле густыми комками застревала жалость – к себе, к услужливому Моше, к Фриде, которую он, несмотря на почти круглосуточное наблюдение, не уберег. Разве мог Жак подумать, что она, забывшая все на свете, свою улицу, свой дом, даже собственное имя, не умеющая самостоятельно найти в кухонном шкафу солонку или хлебницу, в его отсутствие нашарит в тайнике, куда он столько лет прятал заряженный браунинг, свою смерть?

«Фиат» то выпрыгивал из пробки, то нырял в нее, недовольно отдуваясь выхлопными газами и зверски сигналил. Время от времени Моше по-хозяйски открывал боковое окно и, посасывая с молчаливой злостью сигарету, пускал колечки в дарованное Господом Израилю небо, задымленное не американскими табаками, а каждодневными бедами.

Гулько был единственным человеком, кому Жак без утайки поведал о болезни жены.

Моше, который обожал по дороге потолковать и поспорить с Меламедом о том, о сем, о говенных, по его убеждению, правителях Израиля, в подметки не годящихся прежним – мудрому Бен-Гуриону и непроницаемому Бегину, о ценах и налогах, о кознях двоюродных братьев – потомков Ишмаэля; ждал, когда заговорит Жак, но тот не проявлял никакого желания ввязываться с ним в бесплодные пререкания.

– Твоя очередь, наверно, уже давно прошла, – оправдывался Моше, пытаясь растормошить попутчика. – Сам видишь – битый час ни вперед ни назад.

– Ты что-то мне сказал? – отозвался Меламед.

– Я говорю: твоя очередь к доктору, видно, уже тютю...

– Черт с ней. Если Липкин не примет, запишусь на другое число. Разве это главное?

Жак отвечал равнодушно, он все еще, как из расставленной кем-то западни, не мог выбраться из той подсознательно существующей действительности, в которой не было ни дорожных пробок, ни небоскребов, ни зазывных вывесок, ни профессора Пекарского, а была уютная пиццерия, тряский двухместный «Харлей», ухабистая дорога на Лод, по которой сонные арабы на шелудивых осликах везли на базар апельсины; вылинявшая гимнастерка; заломленный солдатский берет и уцелевшая в Дахау трепетная Фрида, крепко вцепившаяся в его спину. Меламед не торопился возвращаться из того бедного и веселого далека обратно, сюда, к этому громыхающему, лязгающему гурту машин, к этому мельтешению избыточной и холодной роскоши.

– Здоровье, по-твоему, не главное? – удивился доверчивый Гулько, который во всех отделениях больницы Вольфсон (кроме гинекологического) ежегодно обследовался «на предмет своевременного обнаружения какой-нибудь холеры».

– Не главное, – сказал Жак.

– А что же, по-твоему, главное?

– Для кого – собственные страдания, а для кого – не заставляя страдать других.

– А я никогда не заставлял.

– Ну ты, Моше, ангел.

– А ты... ты разве кого-то заставлял?

– Было, Моше, было... Не святой... не праведник, – нехотя признался Меламед и снова замолчал.

Его признание удивило Моше, но он не стал его расспрашивать. Жак не то что в душу – в дом мало кого к себе впускал.

К молчанию Меламеда, длившемуся порой часами, Гулько долго не мог привыкнуть. Он помнил своего однополчанина разбитным парнем, увивавшимся за любой юбкой; славившимся своей говорливостью, редким среди евреев умением много и смачно выпить и не пьянеть – в Рудницкой пуще, как он рассказывал, стакан первача не считался нормой даже для подростка. Отчужденность и молчаливость Жака верный Гулько был склонен объяснять пережитыми им напастями – гибелью родителей, партизанскими лишениями, смертью жены, отъездом в Голландию сыновей, инфарктами и жесткими обстоятельствами службы. На месте Меламеда каждый, чего доброго, стал бы профессиональным молчуном. Хотя в Израиле даже глухонемому не под силу молчать. Но Дуду высмеивал все доводы Моше – твой Меламед, мол, давно в отставке, секреты его устарели, а беды, только копни поглубже – и у каждого их отроешь; самого же Гулько Дуду обвинял в угодничестве – старый человек, а перед Жаком травкой стелется; великий Бегин, мол, и тот в свою канцелярию на автобусе ездил, а Моше возит его повсюду, как пана какого-то. Пускай сынки-беглецы о нем позаботятся – раскошелятся и для удобства купят своему родителю вертолет или наймут шофера... их не убудет.

– Ты, Дуду, не прав. Одно дело, когда мы с тобой молчим, и никому на свете не интересно, почему? А вот когда молчит Жак, все на Трумпельдор почему-то спрашивают друг у друга: «Что с ним происходит?».

Моше подозревал, что Жак скрывает какие-то тайны, и не только служебные, но остерегался лезть с расспросами. Уж если Меламед ничего не рассказывает, рассудил Гулько, то в этом его молчании, как в сейфе, заперто что-то такое, к чему его, Моше, заурядному уму не пробиться. В отличие от Жака, принятого после армии на службу в секретное подразделение, автомеханик Гулько никогда не сталкивался ни с какими тайнами и заговорами, не ломал голову над смыслом жизни; для него главным смыслом было то, чтобы она, эта его жизнь, лишённая всяких

тайн и загадок, катилась гладко, без поломок, как ухоженная машина, кормила его, ссорилась-мирилась с ним, и если он в чем-то всерьез и копался, так это не в своих переживаниях и не в чужих прегрешениях, а в железе – в моторах и тормозах, в аккумуляторах и кондиционерах, ибо только в них и разбирался. Как сел когда-то в польской армии за руль грузовика, так по сей день и рулит, только не на «Студебеккере», а на быстроходном «Фиате». Разбирайся не разбирайся, какой во всем сущем толк, жизнь все равно всех переживет и даже самого большого умника оставит в дураках. Моше ни на кого, кроме арабов, не гневался, не таил ни на кого обиды, даже Господу ни разу не попенял за то, что Тот покарал его бездетностью. Кто знает, может, Все-вышний и не покарал его, а явил свою милость – некому в семье Гулько погибать на войне, не с кем в слезах разлучаться, не от кого дожидаться весточки или звонка из Голландии или Финляндии. Всего двое Гулько и осталось на свете – он и Сара, пошли ей Бог долголетие. Ну и что, что двое? На двоих и поделить все легче – пополам да пополам. И хлеб, и невзгоды, и старость. Не то что Меламеду. Не приведи Господь, умрет Жак, а его голландцы на похороны не успеют. Не успели же они на мамыны; Эли со своей Беатрис из-за нелетной погоды прилетел с какого-то острова в Караибском море только завтра, постоял в скорбной позе над свежим холмиком, положил корзину алых роз и, пробыв в Израиле меньше суток, снова упорхнул на остров отдыхать. Как будто мамы никогда и не было. А Омри застрял из-за стачки авиадиспетчеров в Майами. Он, Гулько, и муж Ханы-Кармелитки Миша сидели с Меламедом поминальную шиву – пусть не все положенные семь дней, пусть с перерывами, но горе честно делили поровну...

Как и Хана-Кармелитка, Моше уговаривал Жака после смерти Фриды попытать счастья еще раз. Случись что, благодарные ему за ежедневный подкорм птички «скорую» по телефону не вызовут. Хорошая женщина, хоть у нее крылышек и нет, тоже летает и под боком приятно чирикает. Была на примете у верного и участливого Гулько подходящая невеста для Жака – Рахель, репатриантка из Одессы, учительница музыки. Приехала с мужем, которого через год похоронила в Нетании. Что с того, что она иврита не знает – общая постель любому языку научит.

– Ты бы хоть краешком глаза взглянул на нее, – не унимался Моше. – Можешь с ней к раввину не ходить, не расписываться. Хочешь, я тебя познакомлю. Интеллигентка в третьем поколении. Дед был клезмер, отец – скрипач Одесской филармонии. Сама консерваторию по пианино закончила. Обеспеченная. Сын в Лос-Анджелесе. Таксист. Дочь – программистка в Германии... Хочешь, познакомлю? Она Сариной племяннице уроки музыки дает.

– Ты думаешь, что я еще способен их брать? – ухмыльнулся Жак.

В своем стремлении женить Меламеда Гулько даже ссылался на статью не то в «Маариве», не то в «Едиот ахронот», где чер-

ным по белому было якобы написано, что после семидесяти умеренные, но регулярные занятия любовью улучшают кровоснабжение сердца и продлевают жизнь. Но, несмотря на все уговоры, Меламеду, видно, не очень хотелось ее продлевать таким способом.

Наконец пробка рассосалась, и «Фиат» выскочил на простор. Жак дремал на заднем сидении, а может, только притворялся, что дремлет, избегая перед визитом к Липкину осточертевших споров о путях и судьбах Израиля, о том, как раз и навсегда решить проблему с арабами. Тишайший Гулько предлагал идеальный, на его взгляд, выход – выкупить на американские деньги всех палестинцев, протянуть железнодорожную ветку до Дамаска и Бейрута, погрузить всех до единого в вагоны и под усиленной охраной вывезти к чертовой матери.

– Американцы на это денег не дадут. И не разрешат, – охлаждал его патриотический пыл Жак.

– Разрешат, разрешат. Не в Освенцим же их повезут. К родне.

Был у Моше и запасной вариант. Если понадобится, можно для этого благого дела использовать и пароходы, и грузовики-тяжеловозы. Моше ради этого был даже готов подрядиться в водители головной колонны.

Посматривая за неподвижным Меламедом в боковом зеркальце, Моше не отважился его беспокоить. Пусть покемарит, ведь он спит даже меньше, чем его подопечные – птицы на мандариновом дереве.

Центр кардиологии – Меламед называл его предкладбищем – был расположен в полуподвальном помещении с низким тюремным потолком и без окон. Дневной свет заменяли стерильные неоновые лампы, которые своим торжественным сиянием навевали скорее какую-то смутную и едкую тревогу, чем покой и надежду. Пока Гулько искал среди орды автомобилей местечко для своего «Фиата», Меламед подсел к секретарше, которая продолжала старательно подпиливать свои длинные и острые, как щучьи зубы, ногти. Наконец она отложила пилочку, повернула к Жаку изуродованное макияжем миловидное личико и впиалась взглядом в голубой экран компьютера.

– Меламед? Жак? Трумпельдор, 3? – пренебрежительно оглядев Жака, строго спросила она, словно тот без пропуска пытался прорваться на военную базу.

– Так точно.

– Шестой кабинет, – сказала она, вручив ему направление на кардиограмму и снова взявшись за пилочку.

До того, как Жак набрел на Липкина, он забраковал трех других кардиологов, которые, как он шутил, по чистой случайности попали из погребальной команды в медики. После визита к каждому из них Жак обычно долго отлеживался в постели и, забыв про своих пташек, напрасно долбивших клювиками оконное стекло, дожидался незваной смерти, у которой он не успеет даже спросить: «Простите, вы ненароком не ошиблись дверью?»

Липкина ему присоветовала Хана-Кармелитка, собиравшая досье на всех врачей их больничной кассы.

– Доктор что надо. Мой Миша от него в восторге. Говорит, что он самого Горбачева в Кремле лечил.

Жак решил довериться Ханиной рекомендации и не пожалел. Он любил ездить к Липкину, острослову и оптимисту, заражавшего его – пусть на короткое время, пусть до возвращения в богадельню на Трумпельдор – верой в то, что сердце после капитального ремонта стучит долго, если не захламлять сосуды.

У Липкина в кабинете Меламед воспарял духом, избавлялся от хандры, забывал про заросший седыми волосами шов на груди, который доктор в шутку называл «молнией» – при первой надобности ее, мол, можно «расстегнуть» снова.

– Жак! – услышал он голос своего повелителя и, волнуясь, юркнул в заветную дверь.

– А я уже, честно говоря, собирался лавочку закрывать. Пробки?

– Да, – виновато буркнул Меламед.

Горбачева, надо думать, доктор принимал не в такой аскетической обстановке – крошечная комнатка; стол с компьютером; на компьютере фотография молодой женщины в рамке, видно, жены; два стула; в углу – кушетка, покрытая дерматином; над кушеткой, на стене застывшая в прыжке скаковая лошадь со всадником – молодым, безусым Липкиным в седле.

– Ма нишма на белом свете? – напялив на переносицу очки, доктор щелкнул клавиатурой компьютера.

– Белый свет, как пьяница – днем шатается от раздоров и пускает в ход оружие, а вечером опохмеляется кровью.

– Что за страсти-мордасти? Лучше я вам свеженький анекдот расскажу. Едут в поезде два еврея. Один достает курицу и начинает ее с наслаждением уплетать. Второй спрашивает: «Простите, вы случайно не из Жмеринки? Как там старый Рабинович?» – «Умер, умер», – не переставая жевать, отвечает тот. – «Как? Неужели умер? А как Рива – его жена?» – «Умерла!» – похрустывает косточкой его собеседник. – «И жена умерла? А дети? Что делают дети?» – «Все умерли», – доедая курицу, отвечает попутчик. – «Нет. Я не могу поверить. Как это так, все вдруг взяли и умерли?» Едок вытирает губы и говорит: «Слушайте, когда я ем курицу, все для меня умерли!» Не правда ли, смешно? Глупо, но смешно.

Липкин никогда не начинал с осмотра больного, сначала присматривался к нему и, как бы делая разминку, потчевал его анекдотами, порой собственной выделки, рассказывал о всякой всячине, о своей коллекции рогов (доктор был не только жокеем, но и заядлым охотником, отправлялся в выходные и в праздники на кабанов в Северную Галилею или на диких козлов в Негев), дотошно расспрашивал Меламеда, какие у того хобби, охал и ахал, узнав, что в память о своем погибшем отце-часовщике тот коллекционирует старинные часы.

– Охота, собирательство, скачки отнимают море времени, но умножают силы. Как хорошенько пораскинешь мозгами – что наша жизнь, если не сумма всяких хобби? Одни из всех сил стараются собрать как можно больше бабочек, другие – денег, третьи – записать на свой счет внушительное количество побед над женщинами, четвертые из кожи вон лезут, чтобы увенчать свои головы лавровым венком. Человек, скажу я вам, так устроен, что до самой смерти только и делает, что охотится за радостями и удовольствиями, а какая у них наружность – денежная, кабанья или Мэрилин Монро – значения не имеет.

Насытившись собственными тирадами, Липкин приступал к делу: прощупывал своими лапищами шею, живот и ноги исхудавшего Жака, прослушивал легкие, сердце, потом грузно опускался на стул и, разглядывая попеременно красотку-жену, скаковую лошадь и светящийся дисплей компьютера, на прощание, как бывалый кок на пароходу, на обрусевшем иврите изрекал:

– Тов! Ваш ежедневный рацион остается без изменений, чему я меод, меод сámeах. Утром у вас в меню – таблетка лопрессора, на обед – оксаар и карття, под вечер – семивил, перед сном – кадур кадекса и половинка вабена. Бесэдер?

– Бесэдер гамур.

Жак и не сомневался, что Липкин ничего нового не пропишет. Уже третий год он покорно глотает пачками одни и те же лекарства. Спрятав в портмоне кардиограмму и листок с утешительными результатами анализов, Меламед неожиданно спросил:

– Скажите, доктор, а летать мне можно?

– Во сне или наяву?

– Наяву.

– На воздушном шаре – нет. Штурманом на истребителе – тоже нет, а вот пассажиром Эль-Аля или Люфтганзы, как говорят, тиса наима – приятного полета. Не вижу никаких противопоказаний, – широкая улыбка искусственным неоновым светом озарила крупное, как с рембрандтовского холста, лицо прямого потомка сталинского наркома.

Легкость, с которой Липкин выдал ему разрешение лететь, обескуражила Меламеда. Кроме растерянности, Жак ничего не испытывал, ибо не был готов к такому повороту. Лучше было бы, если бы Липкин сказал что-то неопределенное, оставляющее некоторый простор для маневра. А тут – пожалуйста, приятного полета, не вижу никаких противопоказаний, годен, словно призывник к строевой службе. Не мог же он Липкину признаться в том, что вовсе не горит желанием ехать в Литву, заново пройти по кровавым, не смытым временем следам. Столько лет обходился без Литвы, обойдется и сейчас. Когда уже сам стоишь одной ногой в могиле, много ли проку шастать по разоренным кладбищам и могильным рвам? Разве соберешь развеянный по городам и весям прах и пепел своих родных и близких?

До Жака долетали слухи о том, что в его отчете крае произошла какая-то поющая и пляшущая революция, что невинно-

ные литовцы на весь мир признали вину своих виновных собратьев и осудили убийц, но Меламед к этим слухам относился с недоверчивым и осторожным любопытством. Казалось, все, что случилось в Литве, не имело к нему никакого отношения. Все равно то, что было, уже не изменишь, да и на кой нам их покаяние, биение себя в грудь – убитых не воскресить, а убийц в защитники поруганного отечества не произведешь.

– Значит, вы считаете, что мне можно... – рассчитывая на то, что Липкин одумается, пробормотал Жак.

– Летайте на здоровье, – опять разочаровал его доктор. – Только не самолетами «Аэрофлота» и не на межконтинентальные расстояния.

– Я не на Марс... на родину, как на Марс... – пояснил Меламед.

– Это, простите, куда?

– В Литву.

– Ах, в Литву! – восторженно простонал Липкин и вдруг зачастил: – Паланга! Рыбалка в Зарасай!.. Копченые угри в Ниде!.. Музей чертей в Каунасе... Чюрлёнис... «Дар по виена», «Тряйёс девинерёс»... Небось, пивали?

– Нет... только самогон в тамошних лесах. И в больших количествах.

– Тогда примите мои соболезнования. Отличные, скажу я вам, напитки!

– Возможно... Не пробовал. Я полвека с лишним там не был...

– Если полетите, обязательно попробуйте «Тряйёс девинерёс». На двадцати семи травах настояна. Рюмка-другая для вашего сердца в самый раз... Ко мне прошу через три месяца... Взятку не беру, но от литовской настойки не в силах отказаться...

Он пожал Меламеду руку и стал переодеваться.

В приемной секретарша с тем же рвением подпиливала ногти. Скучающий Гулько следил по телевизору за наводнением в Мексике: подтопленные дома, спасатели в желтых надувных жилетах, потерпевшие в лодках, дюжие полицейские в форменных фуражках по щиколотку в мутной воде, президент с похоронным выражением на ацтекском лице.

– Пока, ты, Моше, не утонул, поехали, – косясь на экран, сказал Меламед.

– Я давно готов, – быстро поднялся со скамьи Моше. – Что-то ты сегодня заболтался с доктором. Уже стемнело. Опять он анекдоты травил?

Гулько так и подмывало спросить у Меламеда, разрешил ли тот лететь, но он решил сначала подготовить почву и с надеждой поглядывал на Жака.

– Когда нам велено в следующий раз явиться? – искушал Моше своего заторможенного друга.

– Через три месяца, – насупил брови Меламед.

– Значит, можешь лететь?

– Могу... – буркнул Меламед

– Слава Богу! Ты что – не рад?

– А чему радоваться – вдруг грохнусь там? Как говорила моя мама, жить с евреями трудно, но умирать среди них лучше.

– Почему лучше?

– Никто на похоронах не скажет: «жид подох» и твою могилу не обделаает.

– Всему, Жак, свой черед. Календарь не в твоих руках, а Господа Бога. Это не ты, а Он отрывает листочки. Когда последний оторвет, мы и умрем среди евреев, – утешил его Гулько, подождал, пока Жак усядется, захлопнул дверцу, достал из кармана сигареты, закурил, включил стартер, и «Фиат» рванул с места, подпрыгивая на выбоинах. – Слава Богу, ты летишь! – повторил он и от радости помчался с такой скоростью, как в ту пору, когда, хмелея от молодости и от победы, они оба мчались на джипе по выбитой танками горной дороге в Иерусалим на выступление Бен-Гуриона.

Меламед его не умирал, не просил сбавить скорость, мыслями подстегивал Моше, упиваясь гонкой по залитому огнями шоссе, и как бы сам становился подхваченной ветром и летящей в пространстве искрой.

Моше дымил сигаретами, что-то бубнил под нос про то, что весь дом на Трумпельдор поможет Жаку: присмотрит за птицами, кто-то – Сара или учительница из Одессы Рахель – согласится убирать и проветривать квартиру, даже на диванчике ночевать, пусть Жак не волнуется, путешествует себе спокойно, все останется в целости и сохранности; но Меламед не слушал, сидел, нахохлившись и, не отрываясь от окна «Фиата», взглядом суеверно искал в огненном ожерелье, опоясывающем вечерний Тель-Авив, свою призрачную искру, затерявшуюся среди этого огромного, обезличенного сияния.

IV

После смерти Фриды Меламед, отличавшийся отменным здоровьем, стал и сам серьезно прихварывать. До ее кончины он каждый день по вечерам, как Билл Клинтон, совершал оздоровительную пробежку по морской набережной с двухкилограммовыми гирями в руках и к удовольствию зевак на поворотах пускался в причудливый перепляс. Один раз даже принял участие в массовом марафонском забеге в Иерусалиме и, хоть на пьедестал почета не поднялся, все-таки с дистанции не сошел – честно, без остановки отбухал в тридцатиградусную жару сорок два километра. Занимался Жак и йогой – перед завтраком по часу стоял на голове. И вдруг все пошло вверх тормашками – одышка, мушки в глазах, боли под лопаткой. Пройдет сто шагов и хватается за грудь, как лагерный доходяга...

– Ты бы, Жак, моторчик свой проверил, – первым всполошил-ся преданный Моше Гулько.

– Успею, – отнекивался Меламед.

– Береженого Бог бережет, – не отступал однопольчанин. – Я, например...

– Знаю, знаю... Ты с каждым прыщиком к доктору бежишь.

Обширный инфаркт поубавил у Жака самоуверенности. Когда он очутился в реанимации, Гулько счел нужным без его разрешения созвониться с близнецами, и вскоре на Трумпельдор приземлился одетый с иголки, благоухающий удачей Эли, не раз настаивавший на том, чтобы отец перебрался поближе к ним, в Голландию, а если не пожелает жить вместе (а он наверняка не пожелает), то они с Омри готовы в складчину приобрести для него какой-нибудь домишко под Амстердамом или на берегу Северного моря, полтора-два часа езды от их обители, расположенной недалеко от музея Ван Гога; а квартиру на Трумпельдор можно либо загнать – цены на рынке сейчас приличные, – либо сдать в аренду какой-нибудь интеллигентной русской семье, знающей толк в антикварной мебели и в западной живописи девятнадцатого века; за арендаторами дело не станет, вон их сколько понаехало в Израиль, за миллион перевалило. Выгодней, конечно, в аренду, когда и собственность не теряешь, и денежки в кошелек каплют. Кто знает, может, в будущем, когда вы, пап, наконец помиретесь с этими арабами, твоя крыша сгодится внукам, вдруг Эдгар или Эдмонд изъявят желание пожить на Земле обетованной и приглядеть себе парочку: тут такие кобылки пасутся – закачаешься, не все же Меламеды должны на христианках жениться. Перебирайся, пап, сюда, в старушку Европу, где самая плохая новость – не взрывы автобусов, а падение доллара на бирже на две десятых процента.

– Никуда я отсюда не уеду... – отрезал Жак.

– Но почему? Почему? – с наигранным отчаянием вопрошал Эли. – Израиль – не приговор, а ты – не приговоренный к пожизненному заключению. Никто тебя за отъезд не осудит. Люди приезжают, люди уезжают. Тебе еще спасибо скажут.

– Интересно – за что?

– За службу. За то, что столько лет головой рисковал. Военных преступников выслеживал. Эйхмана по всему свету искал. Или ты считаешь, как большевики – кто уехал, тот предал родину?

– Да. Я так считаю...

– Выходит, мы с Омри...

– Не знаю, как выходит, – перебил сына Меламед. – Но лучше рисковать головой, чем совестью. Я отсюда – никуда. Ни жить, ни умирать...

– Воля твоя, – пожалев о несостоявшейся сделке, сулившей отцу немалую выгоду, бросил Эли и через неделю укатил к своей Беатрис и алмазам.

Оставаться дольше и уговаривать отца не было никакого смысла.

Больше всего на свете Меламед-старший дорожил своей независимостью и тяготился всякой опекой. Все попытки перема-

нить его были обречены заранее. Так после самоубийства матери в Амстердам с Трумпельдор ни с чем вернулся и младший брат Омри. Омри даже заподозрил, что у отца есть кто-то на примете – в ту пору он был еще в самом соку и мог привести в дом женщину – что называется, начать жизнь по новой.

Доля нахлебника и захребетника в тюльпановой Голландии его не прельщала. Единственное, что понаторевшему в тяжбах и посредничествах сыну все же удалось тогда добиться, так это убедить отца на время покинуть Израиль и приехать в Амстердам в гости, чтобы поостыть от горя – если день-деньской смотреть на стены, увешанные фотографиями давнишнего счастья, ложиться в опустевшую супружескую кровать, пахнущую тленом, открывать платяной шкаф с почти ненадеванными вечерними и дневными нарядами покойной, есть из свадебного сервиза и винить себя в ее гибели, то и рехнуться немудрено.

– Ну что ты себе вбил в голову? В чем твоя вина? Ты, что, Альцгеймером ее заразил, память у нее отнял? Вложил ей в руки браунинг? – утешал его Омри. – Мы тебе советовали отдать ее в дом престарелых, чтобы оба не мучились, – ты не отдал. Просили нанять помощницу на круглые сутки – не нанял, сам, дескать, справлюсь, на чужих руках она скорей умрет. Ты несчастную и таскал на себе, и одевал, и мыл, менял памперсы, песни ее любимые пел...

– А разве могло быть иначе? Но все это не оправдывает меня, – твердил Меламед.

– Ну что ты на себя наговариваешь...

– Только тебе и Эли я могу в этом признаться... Когда становилось неважно, когда нервы подводили, я даже желал, чтобы она... – И он осекся.

Омри догадывался, чего он желал матери – чтобы поскорей кончились ее (а, значит, и его) мучения.

– Все, что ты, пап, делал, ты, по-моему, делал из любви и сострадания... И тебе не в чем себя упрекнуть, – Омри не терпелось перейти к делам сегодняшним. Виноват отец, не виноват, мать все равно не вернешь. – Что было, пап, то было. Сейчас ты просто обязан сменить обстановку. Не хочешь к нам – поехали со мной в Швейцарию... Не страна, а генеральная репетиция рая на земле. Альпы, озера, тишь... В городах, представь себе, от асфальта не смолой разит, а, как в парикмахерской, одеколоном и дезодорантами пахнет.

Меламеда не устраивали ни Альпы, ни голландские достопримечательности, ни малословные невестки, как бы укрывшиеся от мирской суеты в свое молчание. Швейцария с ее пахнущим дезодорантами асфальтом и озерами, конечно, земной рай, но Жак все-таки выбрал шумный, загазованный Амстердам. В земном раю у него не было ни одной близкой души, а в вольнодумной Голландии все-таки проживали его внуки. Пока он, словно цепью, был прикован к больной Фриде, Жак даже помыслить не мог о том, чтобы поехать к малышам.

До этого его память питалась не живыми впечатлениями, а эрзацами – роскошными цветными фотографиями. Квартира на Трумпельдор была превращена в сплошное детское фотоателье. Стены в гостиной, спальне и на кухне были увешаны двумя боровичками в кепочках, шортиках и сказочных сапожках; внуки красовались на письменном столе, на телевизоре и казались не двоюродными, а родными братьями, тем более, что и родились почти что одновременно. Меламед часами с печальным восхищением глядел на снимки и в душе гневался на сыновей за то, что они, как бы сговорившись, ослушались его и в угоду своим благоверным называли мальчиков чужеземными именами: старшего – в честь барона Ротшильда, а младшего – и вовсе в память о каком-то американском поэте-пропойце, стихи которого для какого-то местного журнала переводила жена Эли – белокурая Беатрис. Как бы назло им Жак в письмах и на людях называл внуков так, как и предлагал, когда они только на свет родились: первого – Менделем, а второго, сына Омри и Мартины, – Шимоном. Пускай невестки дуются на него, жалуются мужьям, шушукаются – сам, мол, не Яков, а Жак, так чего к другим пристаёт. Но он стоял на своем – пока он жив, внуки для него всегда будут Мендель Меламед и Шимон Меламед. Какое ему дело до моды на чужие имена, до миллионщика барона Ротшильда и этого виршеплета из Америки! Ведь только доброе имя, унаследованное живыми, продлевает жизнь мертвых. Он расскажет Менделю и Шимону, только краем уха слыхавшим о своей родне – о часовщике Менделе из Людвинаваса и пекаре Шимоне из Катовиц. Он расскажет им на мамэ-лошн или на иврите о родовом местечке на польско-литовской границе, которая проходила по еврейскому кладбищу, где до войны покоились их далекие предки; о подвале на Мясницкой; о Рудницкой пуще, о боях за Иерусалим, а Эли и Омри переведут все это на понятный им язык.

Жак и отправился в Амстердам, надеясь, что ему удастся сделать то, что из-за своей вечной занятости и погони за прибылью упустили Эли и Омри – приблизить внуков к началу начал, к фамильным истокам, без чего никакое подлинное родство невозможно, ибо из постоянного состояния и потребности души оно, утратив связь с предтечами, вырождается в пустопорожнюю и обесмысленную повинность. Встреча в аэропорту обнадежила Меламеда. Поцелуи, объятия, радостные возгласы, огромный, завернутый в целлофан букет пылающих роз, нетерпеливый лай Шерифа, рыжего, дружелюбного эрдельтерьера, ожидавшегося гостя на заднем сидении просторного, шестиместного «Рено», а дома – искусно сервированный стол: румяный гусь в яблоках; хумус; яичная маца, оставшаяся после пасхи; нехмельное кошерное вино – то ли с Голанских высот, то ли с Иудейских нагорий; многоэтажный торт с приветствием «Брухим а-баим», выложенным на иврите вишенками; французский коньяк полувековой выдержки; начищенный до блеска пол; позолоченные семисвечники на комод; вид на Храмовую гору над камином на

одной стене, а на другой – Христос в окружении апостолов и обе невестки, снятые во весь рост с маленькими Эдмондом и Эдгаром на фоне Собора парижской Богоматери.

– Знакомьтесь, ребятки, – сказал по-английски начинающий полнеть и лысеть Омри. – Это ваш дедушка... наш с Эли папа.

Почтительное молчание.

– Ну, кто первым из вас скажет, как вашего дедушку зовут? Эдмонд?

Эдмонд смутился и пальчиком выколупал из приветствия две начальные вишенки.

– Эдгар? – напирал Омри.

– Как это вы забыли? Позор, ребятки, позор! Дедушку зовут Жак.

– А я сижу на одной парте с Жаком, – смущенно произнес Эдмонд.

Церемония знакомства обескуражила Жака – вот тебе и на, внуки до сих пор не знают, как зовут их живого или, лучше сказать, еще живого деда. Но он не показал виду, сидел, лениво выковыривая из гуся яблоки, и косился на стены. Невестки, как бы высеченные из скальной породы, наперебой предлагали ему отведать приготовленные и специально купленные в израильском магазине кушанья, протягивали наполненные хрустальные бокалы; Жак с подчеркнутой любезностью чокался со всеми, но его не покидало ощущение, будто он сидит на званом ужине, где хлебосольный хозяин спешит познакомить собравшихся гостей друг с другом, пока те не приступили к трапезе, не принялись потрошить фаршированного яблоками гуся, осушать бутылки кошерного вина, обмениваться визитными карточками и к полуночи разъезжаться на машинах по своим домам. То было чувство неожиданного чужеродства, и Жак даже подумывал, не сократить ли свое гостевание наполовину, не сменить ли билет и вернуться на Трумпельдор к своим птичкам и шахматам, привычным страхам и сиротству.

Так бы, наверно, он и поступил, если бы не привязанность младшего внука – Менделя-Эдмонда, которому Жак позволял вытворять с собой все что угодно, как с поролоновой куклой, и которого не учил уму-разуму, не вдавливал в голову, что он не голландец, а еврей, и что все его предки по отцовской линии – евреи, прожившие в Литве двести пятьдесят лет. Но и привязчивый Мендель-Эдмонд не смог бы его удержать, если бы Жак не боялся окончательно порвать с сыновьями. Улететь под каким-нибудь предлогом раньше, разругаться с Эли и Омри – ну а что в итоге? С чем он после такого внезапного разрыва и бегства останется? Со своей уязвленной гордыней? Надо стиснуть зубы и терпеть.

– А ты... ты у нас останешься? – подсев к деду на диван простодушно спросил по-английски Эдмонд, уставившись на него своими плутовскими голубыми глазами. Такой голубизны в Меламедовом роду ни у кого не было – у всех зияла чернота ночи.

– А ты, Мендель, как хочешь?..

– Хочу, чтобы ты остался со мной навсегда.

– Зачем?

– С папой скучно. Он все время куда-то звонит и летает... Знаешь, сколько у него телефонов? Три! Один в гостиной, один на веранде и один в ванной. А мама меня каждый день ругает...

– А если и я тебя буду ругать?

– Ты не будешь... Ты старый... Старые все время спят. Как бабушка Кристина. Останешься?

Ах, если бы его так упрашивали сыновья! Поди объясни мальцу, что те ломают свои мудрые головы над тем, чем в промежутках между бесконечными полетами в Лас-Вегас и Гонконг, в Барселону и Милан, в Кейптаун и Москву занять своего отца, в какой музей или фешенебельный ресторан повести, чтобы только не обременять жен, освободить их от готовки, а его невестки по углам только шу-шу-шу да шу-шу-шу, а вслух, нисколько не чинясь, по-голландски жалуются мужьям на то, что свекор намеренно коверкает имена внуков. Только два существа в доме и довольны им – Мендель-Эдмонд и Шериф, которого Жак выгуливает в парке, где поутру наркоманы и пьянчужки досматривают на скамейках свои розовые, настоянные на травках сны.

– Ты будешь со мной после школы в футбол играть. Умеешь?

– Умею, но плохо...

– Плохо – это, дед, тоже хорошо, – сказал внук. – Я тебя научу. Ты будешь стоять в воротах и отбиваться, а я буду на тебя нападать... Хорошо?

У Жака не хватило духу отказаться. Каждый день он охотно переоблачался в поношенный тренировочный костюм Эли и вставал на лужайке в импровизированные ворота, боковые штанги – ракетка и кустик можжевельника, а верхняя – пасмурное голландское небо. До самого отъезда в Израиль Меламед под ликующий смех внука отражал его меткие удары.

– Гол! – пританцовывая, как индеец, вопил Мендель-Эдмонд.

– А почему ты, дедушка, не падаешь? Все вратари в телевизоре падают, а ты стоишь и пропускаешь все мячи. Падай!

Ликование и индейские танцы нападающего то и дело прерывала бдительная мама Беатрис.

– Ты замучишь дедушку своим футболом! Не забудь – тебе еще сегодня на теннис.

– Mamochka! Еще пятнадцать минут... ну десять.

Беатрис была непреклонна:

– Дедушка приехал к нам не голы забивать, а отдохнуть.

– Это я забиваю. Я... – гордо отвечал Мендель-Эдмонд и размазывал по лицу боевитые слезы.

Хотя Жак и не падал, как того требовал внук, он действительно сильно уставал, но эта усталость, эти мучения доставляли ему удовольствие. Боясь повторного инфаркта, Меламед после двух продолжительных таймов объявлял перерыв и устраивался на узкой кушетке, а, когда все куда-нибудь уезжали – на теннис,

за покупками, в гости, – он от усталости засыпал и ненадолго приманивал, как птичек на Трумпельдор, чужеземные сны. Перед самым отъездом в Израиль ему приснился странный и бестолковый сон, будто стоит он на лужайке в черных трусах и в желтой майке иерусалимского «Бейтара» с девятым номером на спине не в футбольных – в огромных кладбищенских воротах, и в него со всех сторон летят не кожаные мячи, а, как в замедленной съемке, надвигаются те, кого он когда-то любил, с кем вместе воевал и чей прах истлел в Израиле или на чужбине – Мендель и Фейга Меламеды, страдалица Фрида, соратники Шмулик Капульский и Моси Блувштейн, младшие сержанты Нохем Дудак и Хаим Фишер; он протягивает к ним руки, старается дотянуться до них, притронуться, остановить, но все они, бесплотные, парящие над землей, с какой-то печальной торжественностью проплывают, проскальзывают мимо, мимо, мимо...

– Фрида! – вскрикивает он.

– Ты кого, дедушка, зовешь? – дергает его за рукав Мендель-Эдмонд. – У нас никакой Фриды нет...

Меламед продирает глаза, смотрит на испуганного внука, прижимающего к майке футбольный мяч, и говорит:

– Фрида – твоя бабушка. У тебя две бабушки. Та, которая живет в Мехелене – Кристина, а другая – Фрида...

– А где бабушка Фрида живет?

– На небе, Мендель. На небе.

– И я хочу на небе...

– Не дай Бог! Небо не для маленьких мальчиков, а для нас, старых-старых стариков, – сказал Жак и, загнав комок из горла в желудок, бросил: – Пошли играть!

Всю дорогу из Амстердама в Тель-Авив он вспоминал только эту игру – лужайку, начинавшуюся сразу же за стеклянной верандой, на которой он спал; ворота из ракетки и можжевелевого куста; Менделя-Эдмонда в кедах, разбегающегося для удара по мячу, и наставительные окрики Беатрис из гостиной. Вспоминал кучерявого Шерифа: пес-гуманист на пороге бросился гостю на грудь, облизал шершавым языком морщинистую шею, прощально, запанибратски залаял.

Откинувшись в кресле и глядя на проплывающие в иллюминаторе облака, Жак с какой-то прогорклый жалостью думал, что у него так и не хватило ни времени, ни упорства для главной цели – приобщить внуков к латаной-перелатаной, битой-перебитой судьбе их предков, о которых юные Меламеды – голубоглазые Мендель-Эдмонд и Шимон-Эдгар – понятия не имели.

Стоило ему уединиться с внуками и начать рассказ о своей родословной, о гетто, о рвах, как тут же бдительные невестки находили какой-нибудь благопристойный повод, чтобы разлучить его с мальчиками – очень они, дескать, впечатлительные, им еще рановато рассказывать об ужасах, которые в Европе пережили евреи, – вырастут и обо всем узнают. Приедут в гости, побывают с нами в музее Катастрофы «Яд ва-Шем».

– Попросите дедушку, – верещала Батрис, – чтобы спел вам какую-нибудь песенку на идиш или рассказал об Иерусалиме... Замечательный город! Дедушка привез чудные слайды... Сядьте и посмотрите вместе. Виа Долороса... Храм Гроба Господня! Стена Плача! Фантастика!

Жак не заметил, как «Боинг» нырнул в облака, как в салоне над головами зажглась красная полоска «Застегнуть ремни», как, услышав скрежет шасси, завозились пассажиры. В отличие от них, Меламед никуда не торопился – сидел и сокрушался, что полет вот-вот кончится и через час-другой он окажется на Трумпельдор и снова окунется в тот же коловорот дрызг и горестных гаданий, будет теракт или не будет, где и когда, на юге или на севере; тут, в вышине над облаками, Меламед наслаждался покоем и незыблемостью мира, и ему хотелось, чтобы лайнер не снижался, а набирал и набирал высоту, только бы не приземлялся, летел бы и летел, неважно, куда и к кому, лишь бы подальше от этой кровавой кутерьмы, выморочных надежд и давно сплюсшившейся веры в опошленное счастливое будущее. На что уж всемогущ Господь Бог, но даже Он не решился поселиться на земле, которую сотворил для всех тварей, кроме самого себя...

Вернувшись на родную, загаженную собаками улицу, Жак еще долго отхаркивал налипшей на душу горечью и укорял себя за то, что так и не сумел увлечь внуков тем, что ему дорого и что бесповоротно канет в небытие вместе с ним. Эли и Омри, относившиеся к своим выкорчеванным в войну корням с ласково-равнодушным любопытством, не тратили попусту время. Прошрое, уверяли они, не фетиш – его не стоит превращать в нечто похожее на морг, переполненный давно опознанными мертвецами – негоже, мол, туда день-деньской ходить на опознание, а еще хуже – насилу за собой тянуть других. Так, мол, недолго и самому превратиться в мертвеца.

Жака возмутило это сравнение с моргом, он спорил с сыновьями, доказывал, что человек до тех пор человек, пока он помнит, но тщетно. Их оценки навели его на мысль, что и в Литве с его детьми и внуками никакого чуда не произойдет. Отдадут, как говорят, последнюю дань мертвым, и через две недели укатят из этого морга кто куда – на биржи в Гонконг и Барселону; к письменному столу – к неоконченному переводу стихов очаровавшего Беатрис американца; на всемирную конференцию психотерапевтов (Мартина); к теннису и урокам. Еще не было такого случая, чтобы человек за две недели изменился настолько, чтобы прикипеть душой к тому, что он когда-то легкомысленно отринул. В самом деле, каким откровением после склоняемых на все лады и уже набивших миру оскомину Освенцима или Дахау станут для его удачливых сыновей и избалованных внуков серый вильнюсский бульжник, по которому гнали на смерть их предков; разграбленные деревянные халупы в Людвинавасе, скучные, заросшие быльем рвы в Понарах? В каком окошке они увидят тех, кто тут веками, не разгибая спины, трудился ради их

будущего и молил Всевышнего, чтобы Он даровал им силу и счастье? Может, поэтому Меламед по-прежнему уповал на то, что задуманный ими вояж в последнюю минуту сорвется. Известный мастер сюрпризов Эли вдруг звякнет, извинится, сошлется на то, что миллиардер мистер Тони Джекобс как назло перенес свою встречу с ним на середину июня из Москвы на Азорские острова; что Мендель-Эдмонд и Шимон-Эдгар, к сожалению, уезжают на месяц на французскую Ривьеру, в международный лагерь скаутов, а Мартину пригласили на симпозиум психотерапевтов в Иокогаму.

Эли, однако, не звонил, ничего не отменял, и Жак волея-неволей начал готовиться в дорогу. Первым делом он запасся лекарством; заручился выпиской из истории болезни на английском языке; купил подарки для вдовы Шмулика Капульского, для своего однокашника – гида по еврейскому разору и горю Абы Цесарки и для Казиса, партизанившего с ним в одном отряде в дремучих лесах Белоруссии; съездил в «Flying Carpet» к Мире за билетами и страховкой, из которой узнал, что его дражайшая жизнь в базарный день стоит неполные сто пятьдесят тысяч долларов, чуть больше, чем его трехкомнатная квартира; договорился с Сарой Гулько о птичках, они-то из-за его странствий страдать не должны...

Неизбежные дорожные приготовления не требовали от него никаких душевных усилий. Куда сложнее обстояло дело с его готовностью через полвека столкнуться с той, почти забытой и перечеркнутой действительностью, с которой он так трагически расстался и которая вызывала в нем такие смешанные чувства. Обычно они накатывали на него по вечерам, перед тем, как завалиться до утра в немилую постель, а заваливался он далеко полночь, когда все окна на Трумпельдор занавешивала стеклянная тьма, и тишина за ними сгущалась в сплошную неразгаданную тайну.

Еще в партизанской Рудницкой пуще, изрезанной извилинами тропами и просеками, ночь была для него не временем снов и отдохновения, а своеобразной исповедальней, вечным двигателем воспоминаний, воплощением свободы; Жак, бывало, выбирался с автоматом из землянки и, прислушиваясь к шуму деревьев и сторожкому шагу зверей по бурелому, отыскивал на небе какую-нибудь яркую звезду и самовольно присваивал ей дорогое имя, чаще всего своих близких – отца Менделя и матери Фейги или погибшего от шальной пули по дороге к партизанской базе Шмулика Капульского. С каждой ночью число таких переименованных звезд возрастало, и в бесконечных горних высях одна за другой возникали улочки родного Людвинаваса: Рыбачья, Садовая, Столярная, Речная, дома, лавки, синагога, школа со всеми их обитателями. Не сводя глаз с огромного бархатного полотна, разостланного Всевышним над пущей, он тихо, чтобы никто не услышал, окликал по имени земляков, которые из дальней дали, оттуда, где начинается рай, подмигивали ему.

– Ты, что там, Яков, ищешь наверху? – застал его как-то врасплох заспанный заместитель командира отряда «Мститель» капитан Мельниченко, выбиравшийся из землянки не на звезды смотреть, а помочиться. – Все хорошее, братец, внизу – бабы, водка, боевые товарищи. А там, – Мельниченко головой боднул небосвод, – там только боженька...

Боженька для Мельниченко боевым товарищем не был, с ним нельзя было ни бутылку распить, ни фрица укокошить. Капитан вообще не терпел умников и во всех объяснениях усматривал намеки на скромность своих умственных способностей. Только начни ему объяснять, что по Млечному пути гурьбой евреи ходят, он тут же три раза покрутит заскорузлым пальцем у виска и громко и суеверно плюнет через плечо.

С тех давних партизанских пор Жак любил перед сном распахнуть окно и уставиться на усыпанное звездами небо. А звезд над Трумпельдор было во стократ больше, чем над Рудницкой пущей – там не только Людвинавас, там все литовские местечки могли поместиться, а, может, и белорусские и польские со всеми их жителями – мясниками и бакалейщиками, кузнецами и балагулами, часовщиками и швеями, синагогальными служками и почтенными раввинами. Когда Фрида покончила с собой, он и ее туда подселил, и не где-нибудь на отшибе – в созвездии Большой Медведицы. Так они все, рядышком с его родителями Менделем и Фейгой Меламедами, да будет благословенна их память, и переливались светом на этом нерушимом и необозримом кладбище, которое видно отовсюду, и Жак безошибочно различал сияние каждого из них.

Наступало утро, и полуночник Жак не знал, куда деваться от безделья. Снова сидеть на набережной и глазеть до заката на море, грызть семечки и судачить о том, о сём с такой же старой рухлядью, как он, или играть дома с собой в шахматы, листать альбомы, глотать по предписанию Липкина одну таблетку за другой, гоняться за прыткими, живучими, как смерть, тараканами, затыкать уши от хозяйского голоса Фриды, докатывавшегося до него в плодящей химеры тишине?.. Но ведь другого выбора у него и не было...

Неожиданный утренний звонок Шаи Балтера, с которым после операции на сердце Меламед прожил целую неделю в одном номере реабилитационного центра, расположенного в тель-авивской гостинице «Базель», нарушил это косное однообразие.

– Послушай, дружище. Я хотел бы послезавтра к тебе захватить. Примешь? Какая, к черту, ночевка? Люблю спать в своей постели. Не беспокойся. Я на машине. На чем приеду, на том и уеду.

– Валяй, – прохрипел в трубку обрадованный Жак, который не мог взять в толк, что заставило его товарища по несчастью бросить все дела и через три с половиной года приехать к нему на Трумпельдор.

V

С Балтером, владельцем небольшой мебельной фабрики в Ришон ле-Ционе, судьба свела Меламеда не в павильоне распродаж дешевых двуспальных кроватей и обеденных и кухонных столов, а в кардиохирургическом отделении больницы «Рамат а-марпе» в Петах-Тикве, где ему и Шая в один и тот же день предстояло перенести сложную многочасовую операцию. Почти одновременно в кабинете доктора Голана они подписали бумагу, в которой оба обещали в случае летального исхода, а в просторечии – кондрашки, никому с того света никаких претензий не предъявлять.

– Мне клапан меняют, а у вас что? – после подписания короткого, как выстрел, документа с каким-то улыбчивым задором осведомился Балтер, когда медсестра – бухарская еврейка провела их перед распилкой груди в тесную душевую, вручив каждому по тюбику жидкого, пахнущего сиренью мыла и по бритвенному «Жиллету», чтобы от шеи и до пупа выкосить лелеемый годами газон.

– Четыре сосуда, – ответил Меламед, стоя перед зеркалом в выложенной розовыми кафельными плитками душевой.

– Забавно, – сквозь задиристые капли воды процедил Балтер. – С тех пор, как у меня в Шяуляй семьдесят пять лет тому назад оттяпали крайнюю плоть, никто ко мне острыми предметами не прикасался. Если выживу, то сделаю больнице подарок – пришлю для приемного покоя шведский комплект мебели.

Шая выжил, но комплекта не прислал. Не потому, что был жадный, а потому, что забывал все свои обещания из-за их немеренного количества.

– Да, да, я обещал, – оправдывался он. – Но я не обещал, что свои обещания выполню.

Балтер был вальяжный, компанейский мужчина с пышными кудрями и бакенбардами, которые он слегка подкрашивал. Шая стремился нравиться всем независимо от пола и возраста, даже тем, кого он весело и увлеченно обманывал. Как и Меламед, Балтер когда-то бежал из гетто, но не в лес к партизанам по канализационным трубам, а на глухой хутор на Виленщине, и до прихода Красной Армии прятался у какой-то одинокой польки: днем – в силосной яме, ночью – в хозяйской постели. После победы Шая из благодарности женился на милосердной пани Стефе, но брак быстро распался – до хутора докатились слухи, что родилось еврейское государство, и Балтер, выправив за взятку свидетельство о рождении в Ченстохове, репатриировался как довоенный польский гражданин в Жечь Посполиту, а оттуда – на Землю Обетованную.

– Отец меня, Жак, всегда учил: главное для еврея – вовремя уйти от фараона. Даст Бог, мы с тобой и отсюда, из этой мясопилки, благополучно выберемся. Пусть только нам целыми кости оставят и для обзаведения немножко филе.

Вопреки своему обыкновению, он свое обещание приехать выполнил – явился в срок с бутылкой «Абсолюта» и кочевой коробкой конфет, которая, видно, не раз уже переходила из рук в руки. Он облапил Меламеда, отдышался, вытер пот со лба и водрузил бутылку с коробкой на стол.

– Закуска есть?

– А ты что – всерьез собрался бражничать? – уставился на него Меламед.

– А что, по-твоему, с водкой еще делают?

– Разве доктор тебе не запретил пить?

– Запретил. Но мне и жить было ферботен. Скажи мне лучше, что у тебя в холодильнике?

Балтер обладал одним удивительным свойством – всюду чувствовал себя хозяином. Даже в «Рамат а-марпе» незадолго до операции Шая вел себя так, будто это не ему через час вскроют грудную клетку, а он сам вот-вот наденет стерильный халат и перчатки и встанет со скальпелем у операционного стола – на границе между жизнью и смертью.

– Есть пастрома, копченая скумбрия, маслины... – виновато перечислил Жак.

– Ого! Тащи-ка все свое богатство сюда.

Пока Меламед возился с продуктами, Балтер причесал холерные кудри и взглядом судебного исполнителя окинул гостиную.

– Да у тебя прямо-таки художественная галерея! – воскликнул он. – И кому все это добро после твоего ухода достанется? Народу?

– Кому-нибудь достанется.

Балтер откупорил бутылку, налил водки, перестукался с Жаком рюмками и, не упуская инициативу, быстро произнес:

– Первый тост – за наших врагов! Чтобы все они во главе с Яшкой Арафатом сдохли!

Он долго жевал пастрому, шевелил гладко выбритыми скулами, толстыми окольцованными пальцами выуживал маслины и ждал, когда Жак выпьет.

– Ты чего не пьешь? Пей! Ни один еврей еще от водки не очокурился. Истории такие факты неизвестны. А коли дадим дуба, то войдем в историю.

И Балтер засмеялся.

Меламед поднес к губам рюмку, пригубил и закашлялся. Развязность Шаи коробила его, но он старался не выдать своего раздражения, глупо улыбался, наблюдая за тем, как Балтер ловко расправляется с «Абсолютом».

– Не забудь, Шая, тебе еще обратно добираться.

– Уже гонишь?

– Да нет... – уклонился от прямого ответа Меламед.

– Ладно. Перейдем к делу. Я звонил в Мосад, и там мне сообщили, что ты вроде бы в Литву наладился, – начал Балтер с шуток. – Сам знаешь – данные проверенные. Все-таки наша разведка – лучшая в мире.

– Липкин настучал?

– Липкин-шмипкин... Это правда или нет? – наседал порозовевший гость.

– Дети зовут. А тебе-то что?

– Надо. Тебе такое имя Хацкель Лахман что-то говорит?

– Нет.

– Мой первый учитель иврита... Был в гетто знаменитостью – сидел с пауками на чердаке и составлял какие-то словари. Не то литовско-русский, не то наоборот. Между прочим, и председателя нашего Кнессета до войны натаскивал – языку царей и первосвященников... Ему сейчас около девяноста. Одинок, как перст, почти ослеп.

– Лекарства возьму...

– И триста долларов... И письмо от благодарного ученика Шай Балтера.

– Нет проблем.

Меламед отвечал односложно, с испугом смотрел на то, как Шая все время подливает себе водки, довольно фыркает после каждой рюмки, обмахивает себя вышитым носовым платком; гостевание явно затягивалось, больше говорить было не о чем, в шведской и итальянской мебели Жак ничего не смыслил, ставить клейма на популярных политиков, давать им соломоновы советы, как править неуправляемым Израилем, остерегался и в собутельники не годился.

Балтер уловил нетерпеливость Жака, отодвинул рюмку, встал, прошествовал в туалет, долго и громко мыл руки, выглянул в окно, не угнали ли его «Субару» и, обернувшись к Меламеду, сказал:

– Пора и честь знать.

Перечить ему Жак не стал, но из приличия все же выдавил:

– Ты всегда в бегах.

– Пойми, не для себя стараюсь. Сам я туда – ни за какие коврижки... Если бы мне лет эдак десять тому назад предложили поехать, я бы согласился, но при одном условии, – пробурчал Балтер, – только с автоматом в руках. Думаешь, эти сволочи погромного возраста, которые грабили и убивали нас, они, что – все вымерли?

– Кто-то, наверно, еще жив, – Жак глотнул водки. – Но я же не к ним еду.

– А к кому же? – съехидничал Шая.

– К себе, – выдохнул Жак.

– К себе? Но ты никуда со дня рождения от себя и не уезжал.

– Я в том смысле, что еду к тому, кем когда-то был... Может, к тому, кем не был, но каким я себе снюсь. К Янкеле Меламеду. А тебя, автоматчика, я очень хорошо понимаю. У меня у самого всю семью перебили. Но, по-моему, при помощи огнестрельного оружия со злом не справишься.

– А чем же? Судебными приговорами? Тюрьмой? Пусть, мол, это там зло погибает от старости.

– Не знаю, Шая, не знаю.

– Что же тогда мне говорить. Ты ведь по этому делу спец...

– По-моему, вся беда в том, что выкорчёвывают не корень зла, а его всходы. А зло таится именно в нем, в корне. В него, увы, из автомата не пальнешь. А если, Шая, в невинного угодишь?

– Бандитов надо убивать, а не философствовать. Мы, евреи, уже нафилософствовались до минуса в шесть миллионов. Только не говори, что лучше философствовать, чем самим в убийц превращаться...

Меламед слушал его, не перебивая, осторожно подбирая слова, чтобы не погрязнуть в трясине спора.

После выпитого Шая как-то потяжелел, шаг его лишился упругости, карие глаза запрудила дремота, и Жак уже собирался предложить ему отдохнуть часок перед дорогой на диване, но сообразительный Балтер, угадав намерения хозяина, вдруг выпрямился, стряхнул с себя сонливость и твердой походкой отправился к выходу. У массивной двери он неожиданно обернулся, поблагодарил Меламеда за гостеприимство и, заговорщически подмигнув ему, сказал:

– А не прихватить ли тебе, Жак, на всякий случай в Литву вместе с лекарствами для Лахмана и свой маузер? Адью!

В Вильнюс по договоренности с сыновьями, которые, как обычно, задерживались из-за срочных дел в Голландии, Жак прилетал на один день раньше, ночью. Небо над аэропортом было усыпано крупными, словно цыганские мониста, звездами, и Жак, припав к иллюминатору, не сводил с них в волнении глаз. Чтобы как-то справиться с нахлынувшим чувством, теснившим грудь, он извлек из кармана джинсовой рубашки «противопожарную», быстрого реагирования, таблетку и отправил ее в рот. Пока самолет шел на посадку, Жак пытался понять, почему он так разволновался, и внезапно зацепился за мелькнувшую мысль о том, что не только встреча с отчим краем его взволновала – какое сердце от этого не встрепенется в груди! – а что-то другое. И вдруг в начавшейся на борту возне его осенило – звезды!.. Конечно же, звезды! Здешние, почти забытые... Вот по Млечному пути, погоняя свою каурую, катит двухметровый балагула Хаим по прозвищу Бублик; а вон над Орионом взмыли голуби Гирша Цесарки – отца Абы; а там, на Большой Медведице, на родное крыльцо поднимается с ханукальными подарками мама – Фейга Меламед-Гандельсман... Жак зажмурился, на миг открыл глаза, но видения сменяли друг друга, не исчезали – все приближались к нему и приближались, и он снова зажмурился.

Меламед на мгновенье представил себе, что за командирским штурвалом сидит внук часовщика Менделя Меламеда – Эли Меламед, летчик первого класса, который, невзирая ни на какие команды с земли, ведет свою машину через окровавленные Понары, зависает над безымянными могилами, заросшими быльем, и машет им стальными крыльями. Машет и шепчет:

– Привет, дед Мендель! Привет, бабушка Фейга! Привет вам, дядя Гирш и голуби! Здравствуйте, дядя Хаим! Мы живы! Наша взяла! Наша!..

Самолет выпустил шасси и вскоре легко коснулся посадочной полосы.

Жак встал в очередь, тянувшуюся к окошку паспортного контроля, и стал терпеливо ждать, когда его пропустят на бывшую родину. Желающих туда попасть была уйма – старики, заспанные дети, представительные мужчины с внушающими завистливое почтение кейсами, женщины с младенцами в колясках. Все спешили поскорей пройти пограничный контроль и очутиться у конвейера с багажом. Меламеду торопиться было нечего – все его вещи уместились в одной дорожной сумке, переброшенной через плечо.

– Ponai! Ponai!¹ – призывал темпераментных и неуступчивых гостей к порядку рослый пограничник в новехонькой форме.

Жак смотрел на его здоровое крестьянское лицо, на его резкие и решительные жесты, прислушивался к его бесстрастному, не терпящему возражения голосу и силился вспомнить, кого он ему своей неприступностью напоминает – не того ли молоденького веснушчатого полица, который, упиваясь своей властью, гнал когда-то колонну с Конской на станцию разгружать немецкие вагоны с углем?

Наконец пришла очередь Меламеда, и он протянул в окошко свой заграничный паспорт. Миловидная проверяльщица в опрятной гимнастерке с каким-то значком на лацкане несколько раз придиричиво скосила на снимок свой бдительный взгляд, затем столько же раз перевела на того, кто на нем был изображен, и, видно, удовлетворившись сравнением, вежливо сказала:

– Пожалуйста.

Она вернула паспорт, открыв Жаку, приговоренному полвека тому назад в Вильнюсе к смерти, путь в Литву.

На остановке такси Меламед сел в первую попавшуюся машину и, бросив водителю «Гостиница «Стиклю», прильнул к боковому стеклу.

Таксист слушал Майкла Джексона.

Юркнув под железнодорожный мост и свернув у костела Острая Брама к базару, такси под любовные всхлипы и заклинания прославленного Майкла въехало на Завальной в колонну, медленно и нестройно двигавшуюся под конвоем к вокзалу. Жак сразу же увидел в ней себя, девятнадцатилетнего, с желтой латой на спине, остриженного наголо, в задубелой полотняной рубаше и широких штанах, а рядом, в том же четвертом ряду, – Шмулика Капульского в заштопанном свитере и в шапке с треснутым посередине козырьком. Время от времени конвоиры скидывали вверх свои автоматы и, заглушая голосистого Джексона, покрикивали:

¹ Ponai! Ponai! (литовск.) – Господа! Господа!

– Быстрее! Быстрее! Коли вам еще жить охота! Не в синагогу же плететесь!..

Старая «Волга», переделанная в такси, рассекала колонну, но Меламед ничего, кроме Хоральной синагоги, вокруг не узнавал – все было перестроено, перекрашено, перемещено. Кажется, он попал в другой город, где само время было расколото на части, которые сталкивались, сдвигались, сближались, соединив несовместимое, чтобы через мгновение снова распасться и разлететься. Меламеда против его воли перебрасывало из одного измерения в другое, из сегодняшнего дня на десятки лет назад: из такси, полностью отданного во власть альбиносу Джексону, – в колонну, счастливую в своем несчастье только тем, что гонят ее не к гибельным пригородным оврагам и перелескам, а на товарную станцию разгружать уголь или менять пришедшие в негодность рельсы и шпалы.

Еще на Трумпельдор он готовил себя к тому, чтобы не давать волю своим чувствам, не поддаваться слабости и не окунаться с головой в то, что давным-давно миновало. Прощание с прошлым, уговаривал он себя, не означает прощания с жизнью. Ведь от воспоминаний, самых горестных и скорбных, никто еще не умирал. Правда, острослов Липкин относил безудержную склонность к раскопкам прошлого к разряду опасных, но не смертельных заболеваний и признавал, что течение их порой бывает очень тяжелым. Но как Меламед себя ни уговаривал не развинчиваться, не обмякать, а все воспринимать, что называется, холодным рассудком, его мучило предчувствие, что поездка в Литву обернется для него испытанием, которое он вряд ли выдержит. Стоило ему ступить на землю Литвы, как у него окрепло тревожное ощущение, что с ним что-то обязательно случится. Ему казалось, что это не Эли и Омри заставили его покончить с отшельничеством и сесть в самолет, а сама судьба вытолкнула из дому, чтобы вернуться в Литву и лечь рядом со своими никем не оплаканными родителями.

– «Стиклю», – скорее неумолчному Джексону, чем Жаку сказал таксист.

– Сколько с меня? – спросил Меламед, удивившись тому, что в опустошенных закоулках памяти еще сохранились черепки литовского языка. Последний раз он в жемайтийском исполнении слышал вживе литовскую речь в сорок третьем из уст того веснушчатого забияки-конвоира. (Интересно, жив ли?)

– Двадцать четыре лита.

– Литов у меня покамест нет. Можно долларами?

Таксист кивнул.

За шесть долларов водитель довез его до гетто – гостиница находилась на стыке самых густонаселенных его улиц – Стекольщиков и Мясницкой, Немецкой и Рудницкой. Меламед расплатился с поклонником Джексона, хлопнул дверцей и, как в американских детективах, профессиональным взглядом окинул окрестность. Вокруг в этот ранний час не было ни души. Только

бездомная кошка со вздыбленной шерстью и обрубленным хвостом скреблась лапками о подворотню и жалобно мяукала, надеясь, что кто-то ее, голодную, впустит.

В двухстах метрах от выкрашенных в ядовито-желтый цвет ворот начинались щербатые ступеньки, по которым Меламед каждый день после выгрузки вагонов спускался в свой подвал и под вздохи мамы смывал с себя въедливую угольную пыль. Жак постоял в раздумьи и направился не к гостинице, а к своему прежнему жилищу, но возле ворот что-то его остановило – то ли до прибытия сыновей он решил не своевольничать и, дождавшись их, установить время и очередность посещений всех памятных мест, то ли не рискнул в одиночку подвергать опасности свое здоровье. Мало ли что может случиться – сожмет, и второй раз до верхнего кармашка с «противопожарной» таблеткой не дотянешься. Кошка уловила его замешательство, бросилась к нему, ткнулась замурзанной мордочкой в штанину, благодарно замыкала, и Меламед, как бы отработывая незаслуженную им благодарность, торкнулся в ворота и распахнул их – мурка прыгнула в каменную горловину подворотни и скрылась.

Измученный бессонницей и ночной пересадкой в Варшаве, Жак счел за благо отложить до полудня хождения по городу и отдохнуть – побриться, принять душ и, если удастся, смежить на час-другой воспаленные веки. Кукольная регистраторша в муаровом платье, на котором красовался жетон с королевским именем «Диана», встретила его с дежурным гостиничным радушием, вручила ключ и на сопротивляющемся английском сказала:

– Пожалуйста, на второй этаж. Счастливого Вам проживания!

– Ačiū.¹

В холле было пусто, и Диана, млея от скуки, видно, жаждала общения.

– Вы говорите по-литовски?

– Когда-то говорил.

– Как приятно.

Она собиралась умножить свои похвалы, но Жак откланялся и поднялся в свой номер.

Номер был и впрямь роскошный – с минибаром, телевизором, безразмерной кроватью, удобным письменным столом и голубым джакузи. В таких номерах в европейских и южноамериканских столицах Меламед когда-то, выполняя спецзадания, останавливался под вымышленным именем – Жак Пассовер. Расставив по полкам и ящичкам свое добро и подарки, Жак разделся, сунул ноги в легкие шлепанцы, вошел в ванную и стал шумно и смачно плескаться.

Посвежевший, раскрасневшийся, он лег на кровать, накрылся чистой, хрустящей, как первый снег, простыней, и попытался уснуть. Но сон не шел. Под отяжелевшими веками мельтешили разные картины, мелькали чьи-то лица, скорей похожие на по-

¹ Ačiū (литовск.) – Спасибо.

смертные маски; то исчезая, то снова возникая, перемешивались обрывки разговоров и речей, ключья чувств и мыслей, и Жаку чудилось, что всего этого вообще не было, что он это придумал, что только бездомная кошка, осаждавшая подворотню, и регистраторша Диана с ее круглосуточным радушием были неопровержимо реальными, невымышленными существами, а все остальное – фикция, призраки, наваждение. Да и сам он уже давно был одним из таких призраков, приехавшим из-за тридцати земель в поисках себе подобных.

Неизвестно, сколько бы он провалялся в таком раздерганном состоянии, если бы в номере не раздалось громкое треньканье. Накинув на себя простыню, Меламед кинулся к телефону. От волнения трубка выскальзывала из рук, простыня падала с плеч, но он и не старался удержать ее – стоял в чем мать родила и голый повторял:

– Я... Я... Что случилось, Омри?

– Ровным счетом ничего, – проворковал сын. – Нам просто, пап, захотелось узнать, как ты долетел? Как твое самочувствие?

– Долетел хорошо. Самочувствие нормальное, – как космонавт, докладывал Меламед.

– Нормальное или хорошее? – требовал ответа Омри.

– Хорошее... Патология в норме... Что у вас?

– Все о'кей. Завтра наш десант в полном составе высадится в Литве. Береги себя. Никуда один не ходи и не езди... Дождись нас. Слышишь?

– Слышу... – выдохнул Жак. Надо было радоваться, благодарить Бога, что дети о нем беспокоятся, но радость была какая-то нутужная, головная, не затрагивавшая сердце. Меламед положил трубку и почувствовал, как у него на глаза вдруг навернулись слезы. Сначала они застыли в глазницах и только замутили взгляд, но потом легко и вольно потекли вниз по щекам, по шее. Жак тцился понять, отчего он так раскис – неушто от усталости? Ведь плакать он давно разучился – после похорон Фриды не обронил ни одной слезинки и был уверен, что весь их запас вышел, и надо же, тут, в Вильнюсе, ни с того, ни с сего – струйкой по морщинам... Он стоял посреди номера, голый, озябший, в лучах карабкающегося на небосвод неповоротливого северного солнца, сжимая в руке конец простыни и не вытирая глаз, ибо не стыдился того, что от рождения дадено каждому смертному – ни своих слез, ни своей наготы.

VI

Когда Жак среди бела дня задернул на окнах тяжелые шторы и, разморенный усталостью, уснул, ему приснилась Фрида.

Она сидела на диване в махровом халате и незрячим взглядом, как гипсовое изваяние, смотрела на большой экран «Хитачи».

– Это ты в Италии... – говорил Меламед, показывая ей ролики об их путешествиях по Европе. – Развалины Помпеи... Коли-

зей... Венеция... Ты в гондоле со своей сослуживицей Ширли... А это – Эйфелева башня. Помнишь, как мы с тобой поднялись на самую верхотуру и заорали: «Бокер тов, Париж!». А это мы в Копенгагене. Наша гостиница «Александр»... Парк «Тиволи»... Стрелковый тир – слева ты... целишься в пехотинца. Узнаешь себя? А это – Букингемский дворец...

Ролики были цветными. Все в них было залито солнцем. Даже пасмурный Лондон...

Фрида не двигалась, куталась в халат, покорно слушала бойкий закадровый голос мужа, и вдруг – такое бывает только в сновидениях – раздраженно сказала:

– Жак! Я не слепая... Я все это уже двадцать раз видела и помню наизусть... Во сне я все прекрасно помню... Все... И без таблеток твоего профессора Пекарского, которому ты платишь за визиты сумасшедшие деньги.

Меламед вздрогнул, заворочался, продрал заспанные глаза, в смутении раздвинул штору, выглянул в окно и ужаснулся: столько дрыхнуть! Что же он ночью будет делать? Небо было усыпано неяркими звездами; внизу, в ресторане, хрипел саксофон; клубилось сладострастное аргентинское танго. Голодный, растерянный, Жак застелил постель, достал из сумки модный бестселлер – биографию Черчилля, но англо-бурская война не надолго разлучила его с приснившейся Фридой. Меламед потушил лампу, растянулся на кровати и, прислушиваясь к любовным стенаниям саксофона, до самого утра пролежал с открытыми глазами, то и дело возвращаясь к странному сновидению.

До отставки Меламед такими глупостями, как толкование снов, не занимался, ему вообще редко что-нибудь снилось, а если и снилось, то он этому не придавал никакого значения, либо наутро все начисто забывал, словно кто-то нарочно засвечивал пленку...

– У меня не то что для сновидений – для сна времени не хватает, – жаловался он и уверял, что даже в молодости, в землянке, на нарах в Рудницкой пуще молил Бога, чтобы Отец Небесный смилостивился и хотя бы во снах оставил ему, Янкеле Меламеду, в живых его родителей; но Всевышний мольбам не внял, ибо свою милостивую длань Он простирает прежде всего над теми, кто молится, а не над теми, кто воюет.

Сновидения – одно страшней другого – обрушились на Меламеда, когда он, по его собственному выражению, стал бездельником и когда Фрида захворала Альцгеймером. Каждое из них, как ему казалось, предвещало что-то страшное и неотвратимое. Эти сны угнетали Жака, и он чем дальше, тем больше стремился найти им какое-то объяснение в хиромантских книжках. Первый старинный сонник с картинками, изображающими дьявола-искусителя и ангелов, по его просьбе раздобыла на польском языке Хана-Кармелитка, ежегодно ездившая в Краков на поминки, а второй, переведенный со старонемецкого на идиш, он сам обнаружил в Яффо в арабской антикварной лавке.

То, что Жаку приснилось в Вильнюсе, озадачило и насторожило его. Неужели во сне у Фриды с памятью все было в порядке, и она впрямь помнила эти незамысловатые кадры, снятые любительской камерой – стрелковый тир в копенгагенском парке «Тиволи», где она подсекла пехотинца несуществующей армии, помнила гондолу в Венеции, и лестницу, ведущую на вершину Эйфелевой башни, и профессора Пекарского, которому он платил сумасшедшие деньги?

Жак спустился к завтраку, сел в углу за отдельный столик и стал лениво расправляться с обильной, противопоказанной ему из-за холестерина литовской снедью. Фрида не отпускала его. Казалось, она примостилась рядом, за тем же столиком и, потягивая кофе с молоком, осыпает его укоризненными вопросами. Что такое память? Благо или Божья кара? Она лечит или калечит? Неужели отлетевшие в небеса души ничего не помнят? Разве мертвые все забывают? Что и кого мы вспоминаем по ту сторону бытия?

Поковыряв огромный, как подсолнух, омлет, Меламед выпил стакан апельсинового сока и – с неотступной Фридой – вернулся в номер. Сон по-прежнему витал над его головой, будоражил и истязал догадками и, чтобы как-то избавиться от его наплывов, Жак надумал позвонить в Каунас однокашнику Абе Цесарке. На другом конце провода долго не отвечали, но вскоре Меламед услышал мощное, трубное «Алло!», и, когда назвал свое имя, в ответ прогремели три пушечных залпа:

– Янкеле! Янкеле! Янкеле! – отсалютовал Аба. – Шестьдесят лет мы друг друга не видели. И еще живы! Живы, черт побери! Здравствуй! – Цесарка не давал Жаку вставить ни одного слова. – Хочешь, я сегодня же к тебе прикачу на своем шарабане? Только не упади в обморок – на меня страшно смотреть: я лысый, как днище медного таза, и толстый, словно у меня под сердцем двойня... А как ты, красавчик?

– Увидишь, – вклинился в образовавшуюся щелочку Жак, пока Цесарка гоготал. – Мои приезжают завтра. Тогда, Аба, и устроим с тобой конкурс красоты. Мы – в гостинице «Стикпю»...

До прилета близнецов оставалось двенадцать часов, и Меламед решил отделаться от поручения Шай Балтера – передать лекарства и доллары Хацкелю Лахману.

Лахман жил в той части Вильнюса, которую исстари называли Зверинцем. Свое название район получил в позапрошлом веке от цирка-шапито, привозившего в Литву редких зверей из русских лесов и степей и облюбовавшего стоянку на пустынном берегу живописной и томной Вилии. Взяв с собой посылочку Шай, Меламед через весь город и отправился туда пешком.

Возле костела на Доминиканской, в котором он когда-то вместе со своим соплеменником Иисусом Христом пережидал облаву, Жак остановился и застыл в изумлении. Все тут было, как прежде, в то далекое ливневое утро сорок третьего года – и прочные стены, защищавшие паству от всех мирских грехов и

скверны; и устремленный в небо крест; и отражавшиеся в окнах витражи. Казалось, даже расписание богослужений было прежним; только массивная дверь храма была заперта на ключ и на противоположной стороне улицы не извивалась колючая проволока, отделявшая евреев от всего остального человечества.

Глядя на запертую дверь, Меламед поймал себя на мысли, что, не угоди он тогда прямо на заутреню, в битком набитый костел, сгнил бы в свои девятнадцать в гиблых панеряйских ямах. Ему вдруг захотелось постучаться в монастырскую калитку и спросить у привратника, жив ли еще тот ксендз с тяжелым кропилом. Но в последнюю минуту Жак от своего намерения отказался. Он еще сюда придет, и не один, он приведет сюда всю свою «мишпаху» — своих невесток — Беатрис и Мартину, полукровок-внуков и верующих только в удачу сыновей, пусть постоят в боковой нише, напротив алтаря, там, где он, Янкеле, под истошные крики полицаев для отвода глаз осенял себя крестным знамением и просил еврейского Бога, чтобы Он простил ему это кощунство и сохранил жизнь, которая всегда благо и всегда Вседержителю угоднее, чем смерть. Если же окажется, что настоятель помер, он закажет в его память поминальную мессу, а Эли и Омри отстегнут из своих алмазных денег малую частицу и пожертвуют ее для костельных нищевродов и убогих.

Жак шел по городу, в котором, в сущности, не жил. Его, провинциала, под конвоем пригнали из уютного Людвинаваса в Вильнюс и поселили не в городе, а в выгородке, в загоне для двуногого скота. Кроме отведенных для жителей гетто участков, роковой улицы Завальной и железнодорожного вокзала, с которого евреи имели право уезжать только в одном направлении — на смерть, Жак ни разу в другое пространство не попадал. Всё — площади и скверы, холмы и парки, мостовые и реки — было для него «Streng ferboten!» Мимо него сновала деловитая, неспешная, красиво одетая толпа; Жак жадно всматривался в нее, пытаясь в ее пестроте и текучести выделить чье-то знакомое лицо, но лица были отрешенными и чужими, знакомой и понятной, хотя и навевавшей невеселые воспоминания, была только неторопливая, изобилующая свистящими и шипящими литовская речь. По обе стороны широкого проспекта Гедиминаса возвышались благоустроенные жилые дома и серые чиновные громады, среди которых вздымалась и та, где немцы пытали мятежного Ицика Витенберга и где ему, дезертиру Янкелю Менделевичу Меламеду, гэбисты заочно вынесли смертный приговор.

— Консерватория Фельки Дзержинского, — наставлял его перед самым полетом Шая Балтер, — расположена рядом с консерваторией настоящей. Всех арестантов допрашивали под звуки скрипок и фортепиано. Как только издали услышишь вальс Штрауса или ноктюрн Шопена, остановись: перед тобой тот объект, который ищешь и в котором тройка отвесила тебе девять граммов свинца. Остановись и покажи ему две увесистые еврейские фиги. Одну за себя и одну за меня. И еще одну за Рабиновича...

– За какого Рабиновича?

– Сидел же там какой-нибудь Рабинович, – огрызнулся Балтер. – Рабинович не мог не сидеть.

Тогда наводка Шаи рассмешила Жака, но как же он был удивлен, когда на подходе к площади услышал доносившиеся из окон обрывки скрипичного концерта Чайковского. Жак остановился и уставился на безжизненные окна охраны.

Внизу на входной двери было выведено: «Исследовательский Центр геноцида литовского народа».

Засунув руки в карманы, Меламед прошествовал дальше, не выполнив наказа Балтера. Наказ наказом, а фигу надо показывать вовремя...

Хацкель Лахман жил один, в небольшом одноэтажном доме, недалеко от караимской молельни – кинассы. Узкая, невытопанная тропинка вела к дощатой двери с приколоченным почтовым ящиком, из которого торчала свернутая в трубочку еврейская газета и на котором крупными буквами на листке в клетку по-литовски было написано: «Звоните, пожалуйста, громче, извините, что вам не сразу откроют». Во дворе не было видно ни кошки, ни собаки, ни побирающегося под окнами воробья. Только в самой его глубине тихо покачивал ветвями хилый низкорослый клен, напоминавший своей благостной обреченностью мандариновое дерево на Трумпельдор.

Меламед несколько раз дернул цепочку звонка, и на пороге появилась поджарая женщина средних лет – в руке кухонный нож, передник в рыбьей чешуе, волосы растрепаны.

– Я из Тель-Авива, – представился Меламед. – Привез уважаемому Хацкелю приветы и лекарства...

– Проходите, – сказала она и исчезла на кухне.

Лахман сидел, склонившись над какой-то рукописью. В полу-мгле комнаты, сплошь заваленной книгами, светляками посверкивали его очки с толстыми стеклами в роговой оправе. Старик не обращал на вошедшего никакого внимания, и у Жак подумал, что тот глуховат. Наконец Лахман отложил в сторону увеличительное стекло, которым водил по выцветшей, бог весть какой давности бумаге, и тихо сказал: – Здравствуйте... Садитесь.

Говорил он так тихо, что, казалось, и сам не слышит своего голоса.

– Я привез из Израиля посылочку, – так же тихо сказал Меламед. – Ваш ученик Шая Балтер посылает вам лекарства и триста долларов.

– О! Этот сорванец, этот жизнерадостный двоечник Шая! От него всего можно ожидать. За лекарства спасибо, а деньги ответите, пожалуйста, обратно... Все деньги за уроки, которые я ему когда-то давал, я давным-давно получил. В литах.

– Деньги не помешают, – несмело возразил Жак.

– Нет, нет, незаработанные деньги всегда мешают... Как говорила моя жена, да будет благословенна ее память, они портят сон и желудок. Юдита! – позвал он свою кормилицу.

– Чаю или кофе? – из проема кухонных дверей спросила женщина.

– Чаю, – в один голос сказали хозяин и гость.

Юдита принесла ароматный цейлонский чай, бисквитное печенье, нарезанный дольками яблочный сыр и имбирные палочки собственного производства.

– Говорят, перед войной вы учили председателя нашего парламента... – промолвил Жак.

– Всех учеников и не упомнишь. Кто погиб, кто уехал... Сейчас у меня только один остался – я сам, старый-старый, как Мафусаил... – и Лахман улыбнулся.

Голос Лахмана гармонировал с его неяркой, как карманный фонарик, улыбкой, и с морщинами, которые сороконожками расползлись по лицу, похожему на старинный пергамент. Что-то детское, не тронутое порчей было во всем его облике, в доверчивых, не потерявших своего пронзительного блеска глазах.

Несмотря на весь свой опыт общения с людьми, Меламед не мог освободиться от какой-то скованности и старался говорить как можно меньше. Но и распрощаться с Лахманом он не спешил: медленно пил чай, нахваливал яблочный сыр, собирался даже попросить для Ханы-Кармелитки рецепт его приготовления, откусывал пощипывающий имбирь и только когда молчание грозило стать неприличным, он негромко, в тон Лахману, спросил:

– А вы... вы сами в Израиле были?

– Нет, на Святой земле я не был, – спокойно ответил старик.

– У вас ведь там столько друзей, – Жак отодвинул на краешек стола пустую чашку. – Каждый с радостью бы вас принял. Тот же сорванец Балтер. Да и я готов... милости просим: три комнаты с балконом. Кондиционер... лифт...

– Очень вам благодарен. Но я уже давно, как раньше говорили, невыездной, – пробормотал Лахман и бросил в полумглу: – Юдита, будьте так добры, принесите нам с господином...

– Жак Меламед, – спохватился не представившийся гость.

– Принесите нам с господином Жаком еще этой еврейской водки – чаю... Или вы хотите чего-нибудь покрепче?

– Нет.

– Все мои гости из Израиля задают мне тот же вопрос, что и вы, – уловив в словах Меламеда какой-то подвох, сказал старик. – Почему я, знаток и учитель иврита, тут торчу? Почему до сих пор не уехал? Что меня в Литве держит? Деньги, почет, слава, несуществующие могилы убитых моих двух детей и жены?

Он подождал, пока запыхавшаяся Юдита не разольет по чашкам еврейскую водку и не удалится на кухню, из которой знакомо и аппетитно пахло рыбой, лавровым листом и морковкой.

– Некоторые, услышав мой ответ, посмеиваются надо мной. Ну и пусть смеются на здоровье. Ведь смех – это лучшее, что Господь придумал для человека, – он помолчал и продолжил. – Добряк Шая вам, наверно, рассказывал, что я – лексикограф, проще говоря, составитель словарей – литовско-русского, рус-

ско-литовского... когда-то мечтал составить и издать литовский-идиш, но не успел... — Он облизал пересохшие губы. — Что меня тут держит? Слово! Хотите — с большой буквы, хотите — с маленькой. Держит и никуда не отпускает.

— Слово? — силясь не выдать своего удивления, переспросил Меламед.

— А что в этом удивительного? Слово, если угодно, это отдельная страна, моя страна, из которой меня никто не выдворит и которую никто до смерти не отнимет. Я прописан там до конца своих дней, там я, простите за высокопарность и нескромность, как бы верховный главнокомандующий и президент... В самые тяжкие годы, когда я прятался с семьей на чердаке от немцев; при Сталине, когда мог угодить на каторгу, — эта страна помогла мне устоять, она и сейчас, чтоб не сглазить, не дает мне рухнуть, и я, простите, на другую ее не променяю... даже на ту, что очень и очень мной любима... В этой моей стране и умру.

Лахман отхлебнул из чашки и покосился на Меламеда, пытается понять, как на гостя подействовало его признание.

— Ну что вы, что вы! Живите до ста двадцати, — растроганно сказал Жак. — Но только ради Бога не обижайтесь на мою глупость, разве вы не могли избрать своей страной другое слово — не литовское, а наше... родное. Вы же говорите на таком высоком и прекрасном иврите! Мой вашему в подметки не годится.

— Мог бы, конечно, мог бы... Вы правы, — обезоружил его своей искренностью Лахман. — Но судьба распорядилась иначе. Ей, как балагуле, не прикажешь: «Стой! Я переседаю из тарантаса в расписанный золотом фаэтон».

— Что правда, то правда, — сказал Жак.

Наступил момент, когда надо было откланяться. Но Лахман, не избалованный гостями, задержал Меламеда.

— В Литве вы, господин Жак, наверно, не первый раз?

— В том-то и дело, что первый. С тех пор, как бежал из гетто, я сюда не приезжал.

— Бежали? Из Каунасского?

— Нет. Из Вильнюсского. Вместе со Шмуликом Капульским. Слышали, наверно.

— Как же, как же, — закивал Лахман. — Герой. Его вдова живет по соседству с нами... — Старик взял имбирную палочку, надкусил, пожевал вставными зубами и, откашлявшись, задумчиво произнес: — Честь и хвала беглецам. Но мне почему-то кажется — вы со мной, по-видимому, не согласитесь, — что вся наша жизнь есть ни что иное как гетто, с колючей проволокой или без, разницы никакой, и что только смерть позволяет от него освободиться. Не согласны?

— Не совсем, — мягко возразил Меламед. — С вашей точкой зрения и поспорить можно.

— Вы имеете дело с закоренелым единомышленником Экклезиаста, — рассмеялся Лахман и миролюбиво спросил: — Что же вы так поздно выбрались?

– На то были всякие причины.

– Сейчас тут от туристов отбоя нет... Кто в Друскининкай, кто в Палангу...

– Но я приехал не на солнышке загорать, не в море купаться. Чего-чего, а солнца у нас вдоволь, и морями нас Господь не обделил.

– Понимаю, понимаю... Лично я, кстати сказать, к ямам не хожу. Зачем? Все эти церемонии – для государственных чиновников, киношников и благотворителей. Много ли израненному сердцу отца или сына скажет воздвигнутый к юбилею общий памятник или выцветший жестяной указатель к братской могиле? Тех, кого мне хотелось бы увидеть, я уже никогда не увижу, а то, что хотелось бы найти, я уже никогда не найду...

Он снял очки, вытер их бархоткой, снова водрузил на переносицу, взял увеличительное стекло, высыпал на письменный стол из пакета привезенные лекарства, внимательно рассмотрел каждое и, как бы прощаясь, произнес:

– Самое ценное – капли для глаз! Три пузырька такого богатства хватит на целые полгода. Хватит, если до этого Юдита их не закроет...

Он подошел к Меламеду, обнял его за плечи и, по-старчески топая по тусклому, вытертому паркету, вывел его из своей раскинувшейся на просторах литовско-русских словарей страны...

На улице, названной в честь Адама Мицкевича, Жак купил в киоске бутылочку минеральной воды, достал неразлучную «противопожарную» таблетку и запил ее судорожными глотками. Короткая встреча с Лахманом разбредила ему душу. Жесткие, неудобные мысли старика перекликались с его собственными и, в каком-то смысле, сводили на нет и обесценивали все его путешествие. Если такой человек, как Лахман, лишившийся в войну близких, до сих пор не разморозивший душу от тогдашних переживаний и страха, избегает прикосновений к декоративному, ничейному горю, застывшему в бронзе, что уж тогда говорить о его, Меламеда, внуках и сыновьях? Горе не может быть ничейным, будь оно даже общим. Не может. Безликого горя не бывает. И тут Жак вспомнил про жену Шмулика Капульского, которая, оказывается, живет по соседству с Хацкелем. Жаль, что Меламед об этом раньше не знал, а то бы прихватил подарок и зашел бы и к ней, ведь столько километров под землей по трубам проползли, раненый Шмулик на ее руках скончался, а она, беременная, добралась до Рудницкой пуши и в лесу, прямо под елкой, девочку родила. Елочкой и назвали.

Жак немало удивился, когда вдруг увидел перед собой гостиницу. Дошел без всякой подсказки. Профессионал, он и на старости профессионал.

– Вас ждут, – встретила его Диана. – В кафе.

Меламед тряхнул головой.

Диана ему нравилась. Надо будет подарить ей какой-нибудь сувенир, подумал он и направился в кафе.

VII

В кафе было многолюдно, но Жаку не составило никакого труда выделить из всех посетителей Цесарку – его лысина сияла, как пароль. Аба сидел спиной к входу, всецело погруженный в изучение какой-то статьи в местной газете. Когда Меламед на цыпочках подкрался к нему сзади и по-мальчишески щелкнул по холмистому затылку, Цесарка вздрогнул и обернулся.

– Янкеле!

– Аба! Сосиска!

Не чинясь публики, они обнялись, потрепали друг друга по щекам.

– Ты помнишь мое прозвище? – пробурчал Цесарка.

– Помню. А еще помню, что шестьдесят лет тому назад у тебя столько пудов не было.

– Не было, не было... Но и у тебя голова не была в известке. Тоненький, рыжие кудри, глаза голубые. Гроза всех девок в местечке – Миреле, Сореле, Фейгеле, Двойреле... – поглаживая от удовольствия лысину, затараторил Аба. – Чего-нибудь выпьешь?

– Соку, – сказал Жак... – Но ты, брат, рановато приехал... Мы сперва облазим Вильнюс, а уж потом двинемся по Литве... в Людвинавас. Ты давно там был?

Аба властным жестом подозвал официанта и попросил два стакана сока.

– Давно, – сказал он Меламеду. – За те десять лет, что я занимаюсь этим бизнесом, ни одного заказа на Людвинавас не поступило. Видно, из людвинавцев остались только ты да я... Ни Миреле, ни Сореле...

– Всех извели, – вздохнул Меламед

– Сок! – отрапортовал подавальщик и поставил на столик полные стаканы.

– А бизнес твой как... ничего? – поинтересовался Жак.

– Весной и летом о'кей. А зимой совсем швах. Поначалу думал – прогорю; что это, мол, за заработок – чужая память? Оказалось, вполне даже приличный. Пока там... у вас... в Израиле и за океаном, в Америке и в Канаде, кто-то кого-то и что-то будет помнить, на мой век работы хватит. Спасибо тебе, Янкеле, что разыскал меня... благодаря тебе побываю на нашей родине... я готов тебя везти на край света... И даром... ни гроша не возьму... и, пожалуйста, засунь свои возражения в одно место... ни гроша... Слово Абы Цесарки, как топор: сказал – отрубил; твоя память – моя память... Кто чинил мои первые в жизни часики? Твой отец – Мендель Меламед! Кто баловал своими вкусными тейглех – твоя мама Фейга! Кто говорил, что у моего отца-голубятника Гирша – голубиное сердце? Кто? Ты, Янкеле!

Растроганный Жак не прерывал однокашника, а тот, благодарный за готовность выслушать, продолжал с прежним пылом и откровенностью изливать перед ним душу. Время от времени

Аба замолкал и, задумавшись о чем-то, начинал как бы стариться прямо на глазах – даже лысина его вроде бы тускнела. Задумчивость придавала его лицу какую-то несвойственную мертвенность. Но через минуту-другую он спохватывался и снова, словно кремнем, высекал из своих монологов искры радости и дружелюбия. – Если бы не деточки, я бы, может, еще пуще развернулся. Была у меня одна задумка. Я даже для этого специально английскому подучился, все расчеты сделал. Подсчитал дебит и кредит, но мои караимы гевалт подняли, мол, в местечках сейчас ни одного целого еврейского кладбища нет, какой, мол, еврей-иностранец туда поедет?

– А при чем тут еврейские кладбища и караимы? – скорее с испугом, чем с удивлением спросил ошарашенный Жак.

– Ты спрашиваешь, Янкеле, при чем? Почти в каждом местечке валяются наши надгробья. Не целые, конечно, у одного верх сбит, у другого низ покалечен, имена стерты. Вот я и подумал: одна у евреев родина – общая память; что если заманить сюда иностранцев, родственников тех, кто тут погребен, ведь у каждого из погибших в мире есть родственник. И, может, при солидных деньгах. Только литваков, говорят, больше полумиллиона... Пожелай треть из них, чтобы тут появился хоть какой-то каменный знак об их погубленном роде, я бы, Янкеле, славненько на этом заработал, с лихвой вернул бы все затраты... Но Маляцкасы – ни за что, такая, дескать, фирма – бред сивой кобылы, месяца не пройдет, как лопнет.

– Маляцкасы?

– Это твои – Меламеды. А мои, представь себе, не Цесарки, а Маляцкасы. Не пришлось по душе им моя птичья фамилия.

– Господи! Что творится в Твоем хозяйстве? – воскликнул Жак. – У одного – дети караимы, у другого – внуки голландцы...

– Так уж вышло, – вздохнул Аба. – Сын и дочь на фамилии матери – Галины... Короче говоря, все, что со мной было, это небольшой сюжет для Голливуда... Ты лучше мне скажи, правильная была моя задумка или нет?

– Затрудняюсь тебе ответить. Я всю жизнь другим делом занимался... – Меламед взглянул на часы: – Ого, как время летит! До прилета моих башибузуков – три с половиной часа.

– Не беспокойся. Будем на месте тютелька в тютельку. Чем же, если не секрет, ты, Янкеле, все время занимался?

– Теперь это уже не секрет. Ловил тех, кто в войну ловил нас только за то, что мы евреи.

– И многих поймал? Может, этого... Эйхмана?

– Эйхмана – нет. А вообще все это, как ты говоришь, еще один сюжет для Голливуда.

Распространяться о своей службе Жак не любил, но, уловив в хмыканьи Цесарки недовольство, он неохотно добавил:

– Если коротко: я тоже все делал ради памяти. Наши отцы и деды на краю ямы молили Господа, чтоб мы не забывали тех, кто расстреливал их и ушел от правосудия.

Меламед полез за кошельком, но Цесарка опередил его:

– Не нарушай закона – платит не гость, а хозяин.

– Ладно, – процедил Жак. – Пора ехать, хозяин...

– Мой новенький «Форд-транзит» к твоим услугам. Полгода как самолично из Кельна пригнал... А «Волгу» – «Волгу», мать родную, продал одному цыгану.

Меламед быстро собрался, и они укатили в аэропорт.

К радости Цесарки, самолет опаздывал на полтора часа; приедут дети Янкеле, и кончатся все исповеди, при них по душам не поговоришь, а ведь за шестьдесят лет разлуки у каждого скопилось столько, что года мало, чтобы все друг другу выложить. Аба предложил вернуться в гостиницу или подъехать в Понары – от аэропорта до мемориала рукой подать, его форд так знает дорогу, что сам, без водителя довезет, но Меламед отказался от Абиного предложения.

– Твоих тоже там убили? – спросил он.

– Отца и мать – в Каунасе. На девятом форту... А братьев – в Эстонии, в Клоге замучили. Лежать бы и мне в каком-нибудь эстонском рву, если бы за два дня до войны отец не послал меня в Паневежис к кожемяке-караиму за товаром. Послушай, – вдруг оборвал он свою историю. – Чего это мы с тобой в этом душном зале толчемся? А не махнуть ли нам по Минскому шоссе в какой-нибудь соснячок. Подышим хвоей, земляничку поклеем и к самой посадке вернемся.

– Что ж, неплохая идея. Поехали!

Форд-транзит плавно вырулил со стоянки, на которой грудились машины с заманчивыми, не то из железа, не то из латуни, вычеканенными зверьми и птицами на капоте, и зашуршал по свежееуложенному, еще пахнущему смолой асфальту.

Сосняк был старый. Под ногами, словно на огне, потрескивал валежник. Аба, как заправский следопыт, шел впереди, а Меламед плелся сзади.

– Мы не заблудимся?

– Это, тебе, Янкеле, не Рудницкая пуца, – прыснул Цесарка и, не давая маловверу Жаку опомниться, в продолжение начатого в гостинице разговора выдохнул: – Это правда, что у нас, у евреев, не биографии, а судьбы? Ты меня слушаешь?

– Да, да, – машинально ответил Жак, хотя слушал он Цесарку рассеянно, не в силах сосредоточиться на чем-то другом, кроме как на опаздывающем рейсе из Амстердама. Сказали, что самолет задерживается из-за нелетной погоды. Но как знать – может, с ним, не дай Бог, что-то произошло... Ломается мир, ломаются самолеты...

– Слушай, слушай... – подогревал интерес Жака к своим злоключениям Аба. – Кроме тебя, мне уже и рассказывать-то некому... Казармы под Паневежисом бомбят, евреи из города драпают, а я сижу у кожемяки и наворачиваю чебуреки, кебаб... А что дальше делать, ума не приложу. Думал, думал и застрял. Кожемяка – звали его Иосиф – и говорит мне: «Останься, Абка, у

нас, только носа никуда не высовывай, немцы тут же тебя укошат. Будешь для всех Галькиным женихом... караимом из Тракай... Раецким... глухонемым от роду и немного того... с комариками в голове. Ни с кем ни слова... Му да му... Как корова. Коров никто не трогает...» Я совсем растерялся. Не соглашаться? Лезть в петлю? Сам понимаешь, для сохранения жизни не то что коровой – камнем станешь... пнем... Ты меня слушаешь?

– Слушаю, слушаю...

– У тебя, Янкеле, под ногами земляника, а ты ее топчешь, как дикий кабан, – пристыдил однокашника Цесарка. – Тебе что – лень нагнуться? Так и быть, я за тебя их сорву. Ягодки-красавицы! Сами в рот просятся. Так вот, превратился я, стало быть, с легкой руки Иосифа в женишка этой засидевшейся в девках Гальки, поскольку другого караима для его дочери в округе не нашлось. Даже свадьбу для блезиру справили. Песни ихние пели, плясали. А после я как законный муж мало-помалу, ясное дело, принялся и свои супружеские обязанности исполнять. Не весь же мой организм при немцах замолк. Исполнял, исполнял, и к концу войны у нас с Галькой уже было двое мальцов – Леон и Вениамин. Я чувствую, Янкеле, что не это у тебя сейчас на уме... Да ты не волнуйся – прилетят, прилетят. Дыши поглубже, дыши! Наш паек воздуха уже кончается, а новый Господь Бог вряд ли выдаст. Мы уже как та стершаяся покрывка – еще один пробег, еще два и – ш-ш-ш-ш – стоп...

Цесарка спешил выговориться – шутка ли, без малого шестьдесят лет не виделись, только недавно нашли друг друга и разок-другой по телефону перемолвились, а за такой срок шесть раз и умереть и воскреснуть можно. Аба, наверно, еще долго потчевал бы однокашника своими рассказами, но пора было возвращаться в аэропорт. Не успели они подъехать к стоянке и выключить мотор, как из громкоговорителя донесся голос диктора: «Уважаемые пассажиры, самолет Литовских авиалиний из Амстердама совершил посадку в аэропорту Вильнюса...»

– Прибыли, – подтвердил Цесарка и спросил:

– С чего, Янкеле, завтра начнем – с Понар или, может, сперва в Людвинавас махнем?

– Посоветуюсь с ребятами, – сказал Меламед. – Сейчас не мы рулим, а они...

– Понял, – неожиданно сник Цесарка. – Сейчас у детей вожи, а у отцов от их езды – мороз по коже. Ну ладно, куда прикажут, туда и поедем... Если поедем...

– Почему ж не поедем? Договор дороже денег.

– Договор договором. А вдруг забракуют?

– Машину?

– Водителя. Скажут – слишком стар для руления... Молодого подыщут. – И, не дожидаясь ответа, Цесарка быстро и взволнованно бросил: – Но я, чтоб не сглазить, на здоровье не жалуюсь. И зрение у меня отличное... недавно у профессора проверялся... Десять лет езжу, и должен тебе сказать – ни одной царапины...

– Ладно, расхвастался, – успокоил его Жак. – Тут автотранспортом командую я.

Пассажиров было мало, и, как только они после паспортного контроля и получения багажа стайкой выплыли к встречающим, по-соколиному зоркий Цесарка тут же вычислил Жаковых близнецов, хотя раньше их в глаза не видел: поражала одинаковость роста, походки, прически и одежды братьев; джинсовые куртки и фирменные кеды только подчеркивали ее; сзади с зачехленными теннисными ракетками, вразвалку, в шортах и в майках с изображением чемпиона Уимблдонского турнира Андре Агасси шли внуки Меламеда. Казалось, вся мужская поросль семьи выбралась в Литву не на поминки, а на спортивные соревнования.

– Карета подана, – сказал Меламед, обняв и расцеловав всех подряд, даже невесток, не избалованных поцелуями и объятьями свекра.

Беатрис и Мартина вынули из сумочек пудреницы, на ходу попудрили разрумянившиеся во время полета щеки и, одаривая неизвестно кого неживыми телевизионными улыбками, двинулись вслед за Цесаркой, впрягшимся в груженные доверху тележки, к форду.

– Прошу любить и жаловать, – промолвил Меламед, когда все сели в машину. – Наш поводырь – Аба Цесарка.

– Очень приятно, – за всех ответил Эли, но водителю никого по имени не назвал.

– Это – Эли, а это – Омри, – поспешил загладить неловкость Жак. – Мои невестки: Мартина, Беатрис. Внуки: Мендель, Шимон.

– Скорее бы в гостиницу и под душ, – простонала Беатрис.

Цесарка включил мотор, и через минуту форд чиркнул колесами по асфальту.

– Жены и детишки изъявили желание после дороги отдохнуть. Да и нам, чего греха таить, не мешает на часок-другой приклонить голову, – уладив в регистратуре все дела с миловидной Дианой, произнес Эли. – Встретимся, пап, за ужином.

За ужином так за ужином. Жак возражать не стал. Он не собирался требовать, чтобы они следовали его прихотям, был готов ко всяким неожиданностям, даже самым непредсказуемым. Мало ли чего могут родственнички отчебучить. Невестки, чего доброго, заупрямятся, и никуда из Вильнюса не поедут, будут ходить по магазинам и галереям, охать при виде какого-нибудь замшелого монастыря, возить Менделя и Шимона куда-нибудь на тренировки – не даром же они прихватили с собой ракетки. И как бы в подтверждение его опасений Эли, перед тем как расстаться до ужина, обратился к отцу с просьбой:

– Как ты, пап, знаешь, мы с Эдгаром не большие знатоки древнего литовского языка, вернее, мы на нем ни бэ ни мэ... Не можешь ли ты нам помочь?

– Помочь? Чем?

– Узнать у здешней принцессы Дианы, где тут у них платные корты, чтобы мальчики могли мячики покидать.

– Сделаем, – с наигранным энтузиазмом пообещал Жак.

Внуков можно понять, не мотаться же им две недели подряд со взрослыми от могилы к могиле; корты, конечно, интереснее, чем кладбища и панеряйские рвы – там мячики не покидаешь.

– Если тебе, пап, тяжело, могу, в конце концов, и сам спросить, – уловив в голосе отца досаду, процедил Эли, – по-английски принцесса говорит с сильным акцентом...

– Сделаем, – повторил Меламед... – Но не пора ли сказать Цесарке, когда и куда мы поедем?

– Это решим за ужином под приятную музыку и телятину в винном соусе. А твой Цесарка где остановился? Тоже в «Стик-лю?»

– Почти. Внизу, под окнами... В своем драндулете, – объяснил Меламед. – Разве это имеет значение?

– В жизни, пап, все имеет значение. Я думаю, выспимся всласть и отправимся в главный пункт – Людвинавас. Лучше начинать с колыбели, чем с кладбища.

Они и начали с колыбели.

Солнце косыми лучами било в окна форда. Но никто не задергивал их свернутыми в рулоны цветными, ручного шитья, занавесками. Гости не отрывали взгляда от мелькающих мимо застенчивых перелесков, озер в камышовом обрамлении и постарчески горбатившихся холмов, на которых, как куры на насесте, примостились избы с нахохлившимися от ветра соломенными крышами. Беатрис и Мартина наперебой терзали слух мужей своими восторженно-тоскливыми восклицаниями:

– Господи! Какая красота! Но какая бедность!

– Смотрите, смотрите – аисты! – захлебываясь, вторили им Мендель и Шимон.

На проплывающие за окнами дивные красоты, подпорченные позапрошлоговековой бедностью, поглядывали и мужчины, но их мысли то и дело возвращались к Людвинавасу. Эли и Омри поделовому расспрашивали отца, не остались ли там, среди литовцев, какие-нибудь его знакомые, не сохранилось ли в Людвинавасе какое-нибудь Меламедово имущество. Может, одна-другая семейная реликвия. Близнецы корили себя за то, что своевременно не заставили его навести справки. Жак слушал и задумчиво отвечал «Не знаю». Не рубанешь же с плеча, что долгие годы у него в голове было не имущество, не знакомые, не реликвии в Литве, а совсем другое, чему и названия не найдешь. И даже сегодня, принадлежи ему тут обширные угодья и недвижимость, он вряд ли бы стал о них хлопотать, а всё это охотно променял бы на то, что у него в войну живьем отняли...

– Был же у бабушки и дедушки дом? – сухо осведомился Эли.

– Был... Старый, крытый соломой, с флюгером... Его бабушке Фейге перед смертью завещал ее отец – Рувим Гандельсман...

– Неважно, с флюгером или без флюгера. Меня интересует, стоит ли он до сих пор и есть ли на него у тебя бумаги? – пресекая наперед всякую патетику, сказал неумный Эли.

– Аба! – через головы невесток и внуков обратился к Цесарке Жак. – Ты не помнишь, дом наш в Людвинавасе на Басанявичяус еще стоит?

– Дома наши не тронули, – не оборачиваясь пробасил Аба. – Их просто присвоили... Когда в сорок шестом я первый и последний раз туда приехал, голуби моего отца еще вылетали из нашей голубятни; я задрал голову и, как в молодости, позвал их, и птицы, я даже от этого ошалел, узнали мой голос. Закувыркались в небе, и вниз... – Он посигналил ехавшему по обочине бо-соному велосипедисту. – Ни отца, ни матери, ни сестер, а сизари и витютени как летали над местечком, так и летают. Тогда я еще подумал – могли же мы все в Людвинавасе родиться голубьями...

Словно задохнувшись от воспоминаний, приунывший Цесарка замолк и нажал на газ.

Притихли и близнецы. Насытившись великолепиям литовской природы и откинувшись на сиденье, вздремнули нащелкавшие из окна уйму замечательных кадров Беатрис и Мартина. Только Мендель и Шимон шумно продолжали играть в рубикс, передавая друг другу брикет модной карманной игры, изобретенной не то венгром, не то румыном, заработавшим на ней миллионы. Жака так и подмывало попросить Омри или Эли, чтобы они перевели слова Абы внукам и невесткам, но что-то его от этого удерживало: поймут ли те, что имел в виду Цесарка, вспыхнет ли у них что-то от его рассказа в сердце? Меламед зажмурился и вдруг под размеренный шелест колес вспомнил своих соседей по Трумпельдор. Господи, обожгло его, в какую стаю можно было бы собрать после войны убитых родичей Ханы-Кармелитки из Кракова, Моше Гулько из Мукачево, Дуду бен Цви Коробейника из Ясс, родись они не евреями, а голубями. Собери их отовсюду, сколько бы их летало над немилосердной Европой!..

Перед самым въездом в Людвинавас по крыше форда застучали крупные горошины проливного июльского дождя. В ветровом стекле показались первые опрятные избы городка (в начале семнадцатого века он так и назывался «Тробос» – «Избы»), и Жак, проглотив усмиряющую волну пилюлю, впился глазами в околицу. К его удивлению, он ничего не узнавал. Дворы, крыши, палисадники – все было ново и незнакомо. Поначалу ему почудилось, будто Цесарка привез их не на родину, а совсем в другое место.

– Аба, – не выдержал он, – мы уже в Людвинавасе?

– Да. Через пару минут будем у тебя дома. Уже виден ваш каштан...

За отвесными полосами дождя виднелась только верхушка дерева, и Меламед взглядом, как дворниками, нетерпеливо расчищал его от пелены.

Машина остановилась.

Невестки раскрыли зонты, укрыли съехившихся внуков, а Жак вместе с близнецами быстрым шагом направился к избе.

Возле калитки Меламед обернулся и крикнул высунувшемуся из кабины Цесарке:

– Не жди нас, Аба. Поезжай к себе...

Меламед дернул за ржавеющую проволоку колокольчика, и через миг в его перезвон вплелся хриплый бабий голос:

– Кто там?

Вскоре в сопровождении упитанной коротконогой дворняги появилась и его рослая обладательница.

– Чего господам нужно? – прохрипела она.

– Я тут, поне, родился и жил до войны с родителями. – Меламед обвёл указательным пальцем избу, двор и деревья... – И вот сегодня... после долгого перерыва вместе... с моими родными приехал в наш дом, – тоже по-литовски ответил Жак.

– В ваш дом? – женщина и дворняга глянули на незнакомца с пренебрежительным удивлением.

– Сейчас это, конечно, ваш дом, – успокоил ее Жак. – У нас, слава Богу, есть свое жилье. Но этот каштан посадил мой прадед... Генех... И этот колодец он вырыл...

– Но на нашей земле, – не уступала литовка. – Мы живем тут уже сорок лет... – перешла она на русский.

Дождь усиливался.

– Живите еще сто... Мы ничего не собираемся у вас забирать. Приехали посмотреть. И, если разрешите, немножко посидеть в избе... В долгу не останемся...

– Ну что ты, пап, мелешь? Это кто, извини меня, перед кем в долгу? Мы или... – Эли не договорил. – Брось унижаться, – сердито произнес он на иврите...

Жаку и самому опротивело кланяться, чтобы их впустили ненадолго в избу, где он родился и сделал свой первый шаг. Чего, собственно, эта баба боится? Они ж не воры, не грабители и не следователи, которые пытаются доискаться правды о том, кто в сорок первом спал на перинах Фейге и Менделя Меламеда, носил их одежду, ел и пил из их посуды. Зайдут, посмотрят, как в кино, на стены, на пол, на потолок, и – поминай как звали. Жак понимал, что эта баба с дворнягой тут не первая хозяйка и что кто-то должен был вселиться в пустовавшую прадедову избу, обжить ее и переделать на свой лад. Не стоять же ей чуть ли не целый век заколоченной крест-накрест, не ждать, пока из какого-то неведомого края нагрянут ее настоящие владельцы. Так уж испокон веков повелось – никому не запретишь пользоваться брошенным колодцем и черпать из него воду или собирать плоды с высаженного тобой, но покинутого дерева. Проще всего было бы прекратить торг, повернуться и навсегда укатить отсюда, но бессильная обида и стыд перед детьми заставляли Меламеда не отступать и, что называется, ломиться в закрытые двери.

– Я должна спросить у мужа, – наконец снизошла литовка и на весь двор закричала: – Гранас, Гранас, иди сюда! Какие-то неизвестно откуда взявшиеся евреи просятся в гости.

– Так что ты держишь их на дожде? Веди в избу: не видишь – льет как из ведра? – ответил вышедший на крыльцо Пранас.

Та не посмела послушаться и засеменила к избе. За ней поплелась деbeatая с намокшими, отвислыми, как картофельная ботва ушами, дворяга.

Пранас, простоволосый, крепко сбитый мужчина, встретил приезжих в расстегнутой холщовой рубаше и в галифе, заправленных в солдатские кирзовые сапоги. Ему было около шестидесяти, но выглядел он гораздо моложе. Озерный блеск его пронзительно голубых глаз смягчал небритое, со шрамом над губой, лицо. Выслушав сбивчивый рапорт жены, он против всех ожиданий пригласил приезжих в дом, распорядился накрыть на стол, принести деревенского хлеба, сыра, свежих огурцов, меду и, когда Меламеды уселись на деревянную лавку, сказал:

– Я знаю – свинины вы не едите, так, может, по чарочке кошерного самогона?

– Благодарим, – сказал Жак.

– Dėkojame, – произнесли первое литовское слово в жизни Эдгар и Эли.

– Я и по-русски умею, – похвастался хозяин. – Служил в Бодайбо. Механиком в авиаполку... Старший сержант Пранас Кавалаяускас.

То, что этот сержант Кавалаяускас не был, как выражался неумолимый Шая Балтер, «погромного возраста», обрадовало и расковало Меламеда. Во время еврейской резни он-то уж точно еще в пеленках лежал.

– Вы тут, в Людвинавасе, первые из Израиля, – сообщил Пранас. – Оттуда к нам никто не едет. Сколько здесь живу, ни одного не видел

– Почему? – не притрагиваясь к снеди, щекотавшей ноздри, процедил Жак.

Пранас замялся и вместо того, чтобы ответить, принялся, как на базаре, нахваливать дары своего хозяйства:

– Прошу отведать наш творожный сыр! И мед! Не стесняйтесь, мажьте его на хлеб, макайте в него огурцы! Настоящее, скажу вам, объединение! Такого меда в Израиле нет. Липовый, только из сотов. Ну-ка, мальчики, покажите пример своим мамам и папам!... Пища самая натуральная. Без всякой химии, – агитировал он. – Может, для полноты ощущений по капелюшечке нашего самогона? Продукт, доложу вам, из отборной пшеницы...

– Спасибо, спасибо, но мне все же интересно, почему никто к вам не едет, – рискуя его дружелюбием, спросил Жак.

– Хм... Как будто сами не знаете... Знаете, – пропел он, извлек из кармана галифе сигареты, размял пальцами гильзу, вложил в рот, но почему-то не закурил. – Какой же нормальный человек к нам поедет?

– Да, но почему же ...

– Ведь ваши люди считают, что мы все поголовно головорезы – и я, и моя жена, и детишки, – не дал ему договорить Пранас. –

Правда, кое-кто из ваших не брезгует и приезжает на воды в Друскининкай или к дешевому морю в Палангу. А большинство – большинство все равно против нас. Но, коли вы не погнушались и приехали в Людвинавас, то, может, считаете иначе.

– Что было, то было. Вы же сами не отрицаете, что среди вас были такие, которые опозорили Литву, – увильнул от прямого ответа Меламед, не решаясь заступить за дозволенную черту. – Может, вы знавали такого людвинавца Жвирдаускаса? Напротив костела жил...

– Нет. Мы нездешние. Приехали сюда из Дзукии.

– Этот Жвирдаускас в сорок первом из этого дома на смерть погнал нас... мой отец два года учил его часы чинить... Тихий, смирный Юозялис хотел стать часовщиком, а стал служкой у дьявола...

– Жвирдаускасы есть повсюду. В любой стране. И у вас, и у нас... – беззлобно заметил бывший авиамеханик. – Есть ли такое место на свете, где бабы рожают только святых? Нет... – Он пожевал губами незажженную сигарету и, возвращая разговор в прежнее, безопасное, русло, прогудел: – Угощайтесь, пожалуйста, ешьте. Куда в такой потоп спешить, посидите, прошлое повспоминайте. Что было, как вы говорите, то было. Я понимаю, можно побелить стены, перекрасить ставни, но память побелить нельзя. Когда утихнет дождь, я вам наш сад покажу, баньку – милости просим попариться, пристройки. А сейчас, прошу прощения, должен вас оставить – скотина голодная ждет...

После ухода Пранаса над столом неподвижным, начиненным печалью облаком повисла тишина. Все сидели так, словно только что вернулись с похорон. Утомленные поездкой и иноязычной абракадаброй внуки украдкой облизывали ложки, выуживая из миски тягучий, цвета полевой ромашки мед и виновато оглядываясь по сторонам; Мартина не сводила глаз с розовощекой Богородицы, топорно написанной сельским богомазом, и приводила в порядок свои льняные, влажные волосы; Беатрис перезаряжала камеру, а Эли и Омри попеременно доставали мобильные телефоны и с деланным безразличием просматривали поступившие сообщения. Порой все дружно переводили взгляд на неподвижного, мертвенно бледного Жака, который сосредоточенно вслушивался в тишину, полнившуюся неслышными звуками, никем, кроме него, не осязаемыми запахами и давно оставшимися в прошлом и пережившими свое первоначальное значение словами.

В углу стрекотал мамин «Зингер».

У подоконника на столе, как шестьдесят лет тому назад, кучки лежали часы с замершими стрелками.

Из кухни пахло рыбой.

За дверьми мяукала кошка.

За окном сумасшедший Авремке размахивал над кудлатой головой березовой палкой и на всю улицу что есть мочи кричал: «Евреи! Бог умер! Завтра в четыре похороны! Плачьте, евреи!»

Жак не двигался, уставившись, как слепец, на томившихся внуков, на скучающих от безделья невесток, на приунывших близнецов, так и не притронувшихся к еде, и в его ушах тихо перекатывалось: Бог умер, время умерло, Бог умер, время умерло, плачьте, евреи!..

– Пап, – вдруг заканючил Эдмонд. – Когда уже мы поедем в гостиницу?

– Поедем, поедем, – утешил его Эли.

– Когда? – требовал не утешения, а точности мальчик.

– Скоро. Еще немножко побудем в гостях у дедушки Жака и поедем. В этом доме дедушка Жак родился, качался в люльке, маленьким по этому двору бегал, ловил в огороде бабочек, лущил спелые каштаны, катался на санках. Вон в том углу – ты, Эдмонд, не туда смотришь – твоя прабабушка Фейга ему на швейной машинке рубашечки и штанишки шила, а там, у подоконника, где цветочки в вазе и побольше света, прадедушка Мендель больные часики лечил. Часы тоже болят. Как люди... Давай попросим мамочку, чтобы она это все сняла.

– Что сняла? Как дедушка Жак в огороде бабочек ловит? – прыснул Эдмонд.

– Или как прадедушка Мендель часики от кашля лечит? – съехидничал Эдгар.

– Вы правы, – сказал Омри. – Это снять уже невозможно. Нет такого аппарата. Кроме памяти...

Беатрис встала из-за стола и принялась крупным планом снимать для Амстердама Богородицу; бегонии в вазе на подоконнике; угол, где стоял «Зингер»; миску с искрящимся цветочным медом; душистый деревенский хлеб; ссутулившегося, как бы озябшего от воспоминаний Жака и хозяйку, которая внезапно выросла на пороге с корзинкой белого налива.

– В дороге пригодится. И хлеба нашего возьмите, – промолвила она, не то вежливо выпроваживая их, не то заботясь.

При этих словах в кадр успел попасть и хозяин – бывший сержант Советской армии Каваляускас, появившийся вслед за своей благоверной.

– Ну и погодка! Всю неделю солнце светило, а сейчас – конец света.... Не повезло вам, – посетовал он. – В такой ливень никуда не пойдешь и не проедешь.

– А нам никуда... кроме кладбища... уже и не надо, – сказал Жак.

– Все дороги развезло. Боюсь, увязнете в грязище, – предупредил Пранас. – На машине не доберетесь. Разве что на тракторе...

– Может, обойдемся, пап... Как подумаешь, для нас тут все вокруг сплошное кладбище, – проворчал Эли. – Пора на базу возвращаться... В Вильнюс.

– Что ваш сын сказал? – по-хозяйски спросил Пранас.

– Мой сын говорит, что для таких, как мы, тут все кругом – кладбище.

– Для вас – наверно... – Он сел за стол, положил на скатерть свои большие, узловатые, как корни, руки и, глядя в оконце стрелковой камеры, выдохнул: – Может, все-таки на посошок по чарке?..

Господи, мелькнуло у Жака, уедем отсюда и даже кадиш не скажем? Ведь там, на пригорке, за перелеском, за дождем похоронено двести лет жизни всего Меламедова рода...

– За помин всех, кого убили невинно. Ваших и наших, – сказал Пранас и, не дожидаясь согласия, принес бутылку и стаканы.

Они выпили по чарке крепкого, пшеничного самогона и стали прощаться.

Хозяйка положила им в дорогу сыру, хлеба, яблок, а Пранас проводил их до мокнущего под проливным дождем форда.

Только Жак немного задержался. Он доковылял до старого каштана, который, как и в детстве, по-кошачьи царапал своими ветвями окно избы, прислонился щекой к его корявому, двустворчатому стволу и стал без запинки говорить кадиш: «Да возвысится и освятится Его великое имя в мире, сотворенном по воле Его; и да установит Он царскую власть свою... Устанавливающий мир в своих высотах, да пошлет Он мир нам и всему Израилю...» Крупные капли дождя бесшумно падали с царственной кроны вниз, и Меламед, не переставая шептать поминальную молитву, подставлял под них свои шершавые ладони, словно хотел собрать в пригоршню его неземные слезы и увезти их с собой на Святую землю...

VIII

Дорога на Вильнюс была пуста, но из-за неистового летнего ливня, нещадно хлеставшего мелькающие за окнами минибуса трепетные перелески, ветхие избы, доверчивых коров, застрявших на укромных равнинных пастбищах, – езда по ней ничего хорошего не сулила. Первыми всполошились знавшие толк в вождении Мартина и Беатрис, которые о чем-то решительно и нервно попросили мужей. Те смущенно переглянулись, и Эли, тронув отца за плечо, сказал:

– Может, пап, остановимся и где-нибудь переждем этот милый дождик?

– Надо было не на базу спешить, а заночевать у этого Пранаса. Места там хватило бы на всех. – Жак вдруг поймал себя на том, что говорит с излишней горячностью, за которой сквозит затаенная обида на сына. Ведь это он, Эли, всех торопил и не позволил отцу даже поклониться родным могилам. «Все вокруг – кладбище!» Для Эли, может, оно и так, но на каждом кладбище есть холмик, мимо которого грешно пройти. Если кто-то и делает родину родиной, то мертвые, а не значки на карте.

– Так что ты, пап, предлагаешь? Вернуться? – спросил тот.

– Это уж как вы с братом решите, – боясь, что близнецы снова ему откажут, промолвил Меламед.

Братья посоветовались с женами и объявили:

– Хорошо бы пристать к какому-нибудь мотелю и там переждать до конца света...

Другого исхода переговоров Меламед и не ждал. Он был уверен, что обратно в Людвинавас они не вернутся: зачем, мол, мотаться туда-сюда; посмотрели все, что могли; полакомились литовскими деликатесами, даже пшеничного самогона хлебнули, по всем покойникам отец кадиш сказал, а что не успели сходить на кладбище, это, конечно, плохо, но замшелые полуразбитые надгробья никому здоровья не прибавят, да и ребятишек нечего травмировать. Впереди еще не одна могила и не одно кладбище.

– Аба! – окликнул Цесарку Жак. – Как только на пути появится какой-нибудь постоянный двор, тут же, пожалуйста, остановись. Хоть ты и ас, однако в такой потоп лучше судьбу не искушать.

– Понял!.. Таких заведений, Янкеле, теперь в Литве полным-полно! Почти на каждом километре. Капитализм!

Постояльный двор, к которому они подъехали, назывался на иностранный манер мотелем. Мотель представлял собой двухэтажный деревянный дом, окруженный яблонями, гнущимися под тяжестью беспризорных плодов. Залитая асфальтом тропа вела к большому пруду, по гладкой, пузырившейся поверхности которого скользила вымокшая под дождем утка со своим кордебалетным выводком.

Постояльцев было немного, и Меламеды быстро разместились в чистых, обставленных с деревенским шиком комнатах: дубовая мебель, на столах – первые яблоки, в вазонах – луговые цветы.

– Вы как хотите, а мы пошли спать, – сказал Омри. – Увидимся завтра.

– Спать? Так рано? – удивился Эли.

– А что в такой дождь делать? Пиво пить? В карты играть? Спать, только спать. – Омри вопросительно покосился на отца, как бы ожидая его согласия.

– Отдыхайте, отдыхайте, – зачастил Жак. – А мы с Абой, пожалуй, пивка выпьем, цеппелинами побалуемся. Кто знает, когда еще придется отведать.

Мартина и Беатрис кокетливо помахали свекру ручкой, а внуки бросились деду на шею и трижды чмокнули в щеку.

– Папа, у тебя литы есть? – спросил Эли и полез за портмоне.

– У меня есть все валюты мира – литы, доллары, шекели и даже ваши гульдены.

– Смотрите, все не пропейте, Малость оставьте, чтобы утром было на что опохмелиться, – усмехнулся Эли и удалился.

– Хорошие у тебя, Янкеле, дети. Хорошие...

– Все дети – хорошие, – промолвил Меламед.

– Не говори, не говори... Мои, например, не такие ласковые. А невестки просто ведьмы... Регина, жена младшего, Вениамина, та однажды меня даже жидом обозвала, а я взял да закатил ей оплеуху. С тех пор у меня с ними война... Как у вас с арабами.

В уютном ресторанчике мотеля было пусто. Над столиками, застеленными льняными скатерками, плыл усталый, буравящий душу голос Шарля Азнавура и время от времени раздавались чьи-то бурные, запертые в динамик аплодисменты.

Однокашники заказали цеппелины – литовское блюдо в виде знаменитого летательного аппарата из тертой картошки, начиненной мясом, пиво и поджаренный черный хлеб с чесноком и приступили к вечеру. Сумрак, подсвеченный настольными светильниками, смахивающими на старые керосиновые лампы, отсутствие посетителей, дождь, упрямо, как дятел, долбивший крытую дранкой крышу, располагали к доверительному общению. Жак и Цесарка сидели в углу под огромным фикусом и молча, словно уступая друг другу право первым начать разговор, потягивали пенистое ячменное пиво.

Чем пристальней Меламед вглядывался в прочерченное морщинами лицо Абы, в его карие, ищущие не то понимания, не то сочувствия глаза, тем больше убеждался в том, что у него с Цесаркой – как это ни странно – сейчас куда больше общего, нежели с собственными сыновьями. Неужели родство по памяти куда сильнее родства по родительской крови? Может, он, Жак, зря скитается со своими голландцами по этой глухомани и упрямо, изо всех сил тшится передать им по наследству свою кровоточащую память, как квартиру на Трумпельдор, в которую вряд ли кто-нибудь из них захочет когда-нибудь вселиться. Зачем им эта квартира, кишущая призраками и вурдалаками, заваленная трупами?

– Еще по пивку? – под шквал аплодисментов Азнавуру спросил Цесарка.

– Я – пас, – отряхиваясь от своих раздумий, сказал Меламед.

– А я рискну. Пивка выпил – через час слил...

После второй кружки Аба стал разговорчивей.

– Угадай, Янкеле, кого я в Людвинавасе в закуской встретил? – выпалил он, вытирая с губ пивную пену. – Юозялиса!..

– Какого Юозялиса? – опешил Меламед.

– Жвирдаускаса... Еле узнал. Безрукий, беззубый, весь, как бледная поганка... подходит к столику, смотрит в упор и говорит: «Абка? Живой?» Я говорю: «Абка... Живой!» «Дай, говорит, бедному человеку на сто грамм! Не будь жмотом» Ну я и полез в карман. Дал на пол-литра... Помнишь, мы с ним в одной команде в футбол играли... он левым крайним, а я правым... Он же из вашего дома не выходил. Вам было бы что вспомнить... Жаль, что разминувшись.

Жак слушал его, не перебивая.

Ему не хотелось ничего рассказывать Цесарке и лишний раз подкармливать свою и без того не утихающую боль. Что изменится, расскажи он, как Юозялис на третий день войны ворвался с друзьями-белоповязочниками в дом к своему учителю, для начала прошел в спальню и вспорол штыками перины: «Зачем они вам, коли скоро уснете навеки!»; как Жвирдаускас гнал голу-

бятника Гирша, отца Абы вместе с другими евреями местечка на бойню в Мариямполе. Пусть громила Жвирдаускас останется для Цесарки Юозялисом, левым крайним команды «Железный волк», прилежным учеником часовщика Менделя Меламеда. С Абы хватит и того, что он об этих ужасах знает. И ему, Жаку, считай, подфартило, что лило как из ведра, что он до срока уехал из Людвинаваса, ведь встретить он случайно эту безрукую и беззубую образину, то вполне мог бы от неожиданности грохнуться замертво.

— Мы из-за этой паршивой погоды так и не побывали на родных могилах, — вдруг пригорюнился Аба. — В какой-нибудь солнечный денек съездим заново.

Жак усомнился, что когда-нибудь еще выберется в Людвинавас, но решил, что перед отлетом в Израиль он обязательно оставит Цесарке деньги и попросит его привести в достойный вид их могилы, если таковые сохранились.

— Я думаю, на сей раз наши прадеды, да светятся их имена на небесах, нас простят. Это живые обидчивы и злопамятны, а мертвые, те умеют прощать, — промолвил Меламед и зевнул.

— Спать хочешь? — спохватился Цесарка.

— Нет. Это от нервов. Зеваю, как бегемот...

— А чего нервничать? Все идет по порядку...

— Как я понимаю, у нас, Аба, еще два пункта — Понары и землянка в Рудницкой пуще. А потом — гуд-бай!

— Будь моя воля, я бы тебя вообще не отпустил. У нас тут, как тебе известно, евреев уже раз два и обчелся. Кто на тот свет перебирается, кто на полное содержание к немцам, кто по матери в литовцы записывается. Мои Вениамин и Леон тоже упорхнули отсюда. Старший в Москве, младший в Гданьске... А Галька от меня, плешивого, к кудлатому татарину ушла... Оставайся, Янкеле. Есть у меня на берегу озера под Меркине хутор. Отведу тебе мансарду. Вид оттуда — закачаешься! Полгода будишь жить в своем Израиле, полгода в Литве! Будем рыбу ловить, грибы собирать, картошку сажать, сено косить...

— Нет, уж лучше ты ко мне на Трумпельдор. Солнце сияет, как невеста, море теплое, фрукты...

— Солнце — это замечательно, но что мне, бывшему директору колхозного рынка, там под его лучами делать? С кого брать хабар? — ухмыльнулся Цесарка. — А потом, я тебе честно скажу, мне не очень нравится, когда евреи кого-то убивают.

— А когда евреев убивают, тебе больше нравится?

— Совсем не нравится. Я в прошлом году в Судный день по этому вопросу даже записочку написал.

— Кому?

— Господу Богу. Чтобы Он нас в покое оставил и избрал своей мишенью какой-нибудь другой народ.

— И что?

— Жду, Янкеле, Его положительной резолюции...

И оба дружно захохотали.

Дождь обессилел, ветер перестал хлопать ставнями; в далеком Париже под крики «Бис!» отклонялся невидимка-Азнавур, хозяин принес счет, собрал со стола тарелки; где-то неподалеку от мотеля в теплом, настоящем на полевых травах сумраке за-тявкала вспомнившая о своем сторожевом долге собака.

Жак расплатился, похвалил цеппелины и пиво и по скрипучей лестнице вместе с Абой поднялся на второй этаж. Пожелав друг другу спокойной ночи и не зажигая света, они юркнули в свои кельи. Ночь выдалась и впрямь спокойной, но Жак долго не мог уснуть, смотрел на стены, белевшие в тусклом свете выкатившей на небосклон северной луны, и думал о том, не вернуться ли ему на Трумпельдор раньше времени, сославшись на скверное самочувствие (после Людвинаваса оно и впрямь ухудшилось), но досрочное возвращение казалось неосуществимым — Эли и Омри затаскают его по докторам, запретят посещать Понары и Рудницкую пушу, заставят отменить все встречи со старыми знакомыми, начнут, чего доброго, уговаривать, чтобы он полетел с ними в Амстердам и в тамошних клиниках прошел все необходимые обследования.

Меламед лежал в отсыревшей постели, боясь признаться самому себе, что от этой поездки, которая для детей и внуков на поверку превратилась в докучливую автомобильную прогулку, он ждал куда большего. Он угрызался тем, что сам не испытал никакого душевного трепета (чего же требовать от своих чад?) и во всем винил не только непогоду и долгий — в целую жизнь — разрыв между ним и бывшей родиной, но и свое давно зачерстневшее в разлуке сердце, уже не взыскующее ни отмщения, ни справедливости. Жак поехал в Литву, как он и уверял Шаю Балтера, не мстителем с автоматом в руках, не свидетелем обвинения на суде над такими, как Юозялис Жвирдаускас, а на свиданье с самим собой, с тем, каким он, Янкеле Меламед, был в детстве и молодости и каким себе долгие годы снился — не узником гетто, не партизаном, а рыжеволосым, отчаянным семнадцатилетним отроком. Но тот Янкеле, как он его не вызывал, на свиданье не явился. Даже в родительском доме, под бревенчатым потолком с довоенными бессмертными пауками, он себя того, еще никого не хоронившего, ни с кем насмерть не воевавшего, не нашел. И не потому, что все в избе — мебель, занавески на окнах, стены, пол, воздух — было чужим, а потому, что от всего увиденного он не только не молодец, а еще больше старился, и эта чадающая истлевшими воспоминаниями старость, застила все, кроме ветвистого каштана и затянутого тучами неба, кроме грязи по колено за окнами и распутицы, сержанта Советской армии Пранаса в потертом галифе и его испуганной половины, оберегающей свое имущество и пытающейся липовым медом и деревенским хлебом подсластить долголетнюю, потаенную тоску пришельца по разоренному дотла крову.

Всю ночь Жак промучался между явью и сном. Он то проваливался в небытие, то просыпался и в страхе оглядывал погру-

женную во тьму комнату, прислушиваясь к шороху шнырявших под кроватью мышей и шевелению веток на яблонях.

По мышинному шороху и возне ветра в яблоневых ветках он стремился определить, сколько осталось до рассвета, и в душе поругивал ни в чем не повинное время за его ленивый и слишком размеренный ход. Томясь бессонницей, Жак перебирал в памяти всех, с кем встречался и с кем еще должен встретиться – Лахмана, Абу, новых хозяев его родного дома, вдову и дочь Шмулика Капульского, минера Казиса – и, не дожидаясь конца поездки, уже спешил подвести итоги. Хотя он вначале зарекался в Литву не ехать, теперь был благодарен Эли и Омри за то, что те вытащили его сюда из берлоги на Трумпельдор и дали возможность – пожалуй, последнюю – прикоснуться взглядом к небесам, под которыми он сделал первые в жизни шаги; ступить на эту, когда-то родимую, землю, вымокшую впоследствии в их крови и слезах. Отправляясь в Литву, Жак не питал никаких иллюзий, знал, что за прошлым, как за отсверкавшими молниями, не угнаться, но тут нет-нет да вспыхивали его, этого прошлого, дальние, полузабытые зарницы, откликалось давно умолкшее эхо и на короткий миг воскресали мертвые, которым никуда не суждено было уехать от своей судьбы – ни в Израиль, ни в Германию, ни в Америку – и от которых ни следа не осталось, ни звука, ни надписи на камне. Горе стране, мелькнуло у Жака, где у ее граждан дважды отнимают имя – сперва у живых, а потом у мертвых, и ему до боли захотелось, чтобы Аба на людвинавском кладбище нашел хоть одного Меламеда, чтобы вернуть ему не дом, не лавку, не швейную машинку «Зингер», а имя... И еще он подумал о том, что на все и на вся хватило бы и пяти дней, ибо море все равно ложкой не вычерпашь.

До Вильнюса форд домчался быстро.

Город встретил их разбитным, запанибратским солнцем, которое светило над узкими улочками, где теснились уютные а la Monmartre ресторанчики, сувенирные лавочки и реставрированные под старину гостиницы.

– Что, пап, сегодня за программа? – поинтересовался Эли, когда очаровательная Диана, не снимавшая круглые сутки с лица оплаченную улыбку, протянула им ключи.

– Понары...

– Может, отложим на другой раз. Сегодня у Беатрис день рождения... Тридцать семь старухе стукнуло.

– Что же ты мне раньше не сказал? Побреюсь, умоюсь и побегу за подарком... – засуетился Жак.

– Бежать никуда не надо. Я подарок от тебя еще в Амстердаме припас – вечером преподнесешь имениннице золотую брошь с подвесочкой.... Очень оригинальная штучка... Беатрис будет очень рада – она обожает всякие броши, цепочки и колье. И чем они дороже, тем лучше... Смотри только – никаких встреч не назначай. У нас сегодня не национальный, а семейный праздник, – усмехнулся Эли и направился в свой номер. За ним двинулся

было Жак, но Диана, кокетничая и скаля свои белые зубки, вдруг остановила его:

– Мистер Меламед! Одну минуточку. Пока вас не было, к вам приходила одна симпатичная дама.

– Да? – подстраиваясь под ее кокетливый тон, произнес Жак.
– Может, она визитку оставила?

– К сожалению, только фамилию. Елена Зарембене.

– Зарембене? – повторил Жак. – Не имею чести знать. Наверно, ошибка.

– Она обещала прийти еще раз.

Как оказалось, ошибки никакой не было. Под вечер высокая, гладко причесанная женщина, в черном платье, с серебряным крестиком на смуглой шее, вошла в просторный, обставленный с излишним шиком холл, и попросила Диану соединить ее с господином Меламедом.

– Не узнали? – без упрека спросила она, когда он спустился вниз.

– Каюсь...

– Неудивительно – это я в шутку. Столько воды утекло. Да и я вас живого никогда не видела, хотя вы когда-то и носили меня на руках.

– Ого! Чем могу служить?

– Моя мама мне много о вас рассказывала... Она даже письма в Израиль писала, просила вас прислать вызов на постоянное жительство.

– Ваша мама? – Жак вскинул брови. – А она, простите за вопрос, кто?

– Моя мама – Рут Капульская

– Вы – Елочка! – воскликнул Меламед. – «В лесу родилась Елочка, в лесу она росла...» – запел он вдруг. – Ну и ну! – Меламед нагнулся и быстро и судорожно поцеловал ее руку с толстым обручальным перстнем... Очень приятно, очень приятно.

– А вы, Янке, – мой крестный отец. Юдита, соседка, сказала, что вы у них недавно были, но где вы остановились, не знала...

– Был у них, был...

– Я все гостиницы обзвонила, пока не услышала в трубке: «Есть такой Меламед!» Можно, я закурю?

– Курите, ради Бога, курите, – затараторил Жак. Он и сам от волнения готов был закурить! Кто бы мог подумать! Солидная, расфуфыренная дама с крестиком на груди и – Елочка!

Гостья достала из сумочки пачку длинных французских сигарет и, чиркнув зажигалкой, глубоко затянулась: – Мы вместе с вами, это было незадолго до моего рождения, по канализационным трубам в Рудницкую пущу пробирались, – пуская колечки дыма в потолок, продолжала Зарембене. – Этот кошмар я пережила в чреве матери и, в отличие от вас, не задыхалась от вони, не ужасалась несметным полчищам крыс и не утопала в нечистотах...

– Да... Лучше это не вспоминать. Может, что-нибудь закажем – кофе, мороженое, рюмку коньяка?

– Спасибо. Я ненадолго. С удовольствием пригласила бы вас к себе, но мама совсем плоха... третий инсульт...

– Бедная, бедная! А я собирался к ней зайти... Юдита дала мне ваш адрес. Хотел даже кое-что оставить... я слышал, что простым людям тут очень несладко...

– Что вы, что вы... Мы ни в чем не нуждаемся. У нас с Витаутасом вполне приличный оклад.... Дети устроены... Миндаугас – компьютерщик. А Эгидиус, тот в Риме, на третьем курсе духовной академии...

– Но он же... – Меламед вовремя осекся.

– Вы хотели сказать – еврей?..

– А разве это не так?

– Так-то так, да не совсем... У нас в доме все, кроме мамы, крещеные. Меня крестила моя кормилица Антанина. Помните ее?

– Помню... Деревня на опушке леса, где она жила, кажется, называлась Бяржай.

– Не Бяржай, а Пабяржай... Но это неважно. Если бы не Антанина, я бы не выжила. У мамы сразу же после родов, которые принимал весь отряд, воспалилась грудь, пропало молоко, а коров в пуще не было, вокруг одни волки... Антанина мне и имя дала – Эленуте... А ксендз в костельную книгу Еленой Стоните записал, подкидышем... После войны обе матери из-за меня судились-рядились – поделить не могли. Для Антанины я была ее дочерью Стоните, а для мамы – ее дочерью Капульской... Первый инсульт и случился с мамой как раз в районном суде, который присудил девочку не богомолке Антанине, а партизанке-радистке Рут за боевые заслуги... Мне тогда еще и пяти не было...

– А папа? Его могилу так и не нашли?

– В пуще не то что мертвого – живого не найдешь. Но мы папу не забываем. Каждый год в день гибели деда Эгидиус служит мессу не только по нему, но и по всем погибшим евреям. Он член общества Литва–Израиль.

– Но сам евреем быть не захотел? – вырвалось у Жака. – Хотя по закону он имел полное право. Как я... как вы...

– Имел. – Она погасила о дно пепельницы сигарету, достала другую. – Можно?

– Курите.

– То, что я скажу на прощание, наверно, причинит вам боль, мне и самой, поверьте, об этом нелегко говорить, но в нашем сумасшедшем, кровавом мире евреем быть опасно, и я... – Елочка прикусила сигаретную гильзу, – не хочу, чтобы когда-нибудь моим детям и внукам, как и их деду и бабушке, пришлось уползать от смерти по вонючей, крысиной канализации в лес. Не хочу...

– Может, Бог милует. Но, по-моему, в этом озверевшем мире опаснее всего быть человеком...

Елочка согласно заморгала, открыла сумочку, вытащила оттуда какой-то конверт и, глядя на сгорбленного, заснеженного напастями Меламеда, сказала:

– Эту фотографию мама вынесла по трубам из гетто. На ней вы, Янкеле, и мой отец Шмулик Капульский на Конской улице. Возле Еврейского театра. У вас за спиной афиша на идише. Я на идише, к сожалению, не читаю... Но вы наверняка все легко прочтете.

– Обязательно прочту...

– Вот я и подумала: пусть останется у вас на память от нашей благодарной семьи... – Елочка протянула Меламеду конверт. – Возьмите! Фотографий с папой у нас много. Но эта... с вами – единственная.

– Тронут, очень тронут. Но не могу взять в толк, за что же вы меня так благодарите?

– За то, что пять километров тащили меня в наволочке по лесу к Антанине и, чтобы я не умерла с голоду, вы по дороге кормили меня жижицей, разбавляя ржаную муку родниковой водой.

Гостья, сложив пальцы с наманикюренными ногтями, трижды перекрестила его и заторопилась к выходу.

– Постойте! – остановил ее Жак. – Я вам тут кое-что привез. Передадите маме.

Он поднялся в номер и вскоре вернулся с маленьким свертком.

– Спасибо. Мама будет очень рада.

И Зарембене зашагала к выходу.

Войдя в номере, Меламед надел очки и принялся рассматривать снимок.

Фотография была любительская, на плохой бумаге, с загнутыми, покоробившимися от времени краями; Шмулик Капульский был в своем излюбленном свитере и летней кепочке набекрень, а он, Янкеле Меламед, – в ситцевой рубашке с расстегнутым воротом, в чесучовых брюках и чешских ботинках на толстой подошве.

– Ты что это, как сыщик, рассматриваешь? – оторвал его от снимка Эли, появившийся на пороге с подарочной шкатулкой в руках...

– Себя. – Жак поднял на сына усталые глаза и сказал: – Посмотри!

Эли впился в фотографию.

– Вылитый Аль Капоне перед ограблением века, – пошутил он.

– Не похож?

– Похож... на Эдмонда или, вернее, Эдмонд на тебя... – сказал сын. – А рядом кто? Как пить дать – молодой Меир Ланский, вожак нью-йоркских гангстеров.

– Это Шмулик.

– Ничего не скажешь – бравый парень... А что там за афиша?

– Сейчас прочту. «Завтра, 23 сентября, в большом зале состоится концерт. В программе – фантастическая симфония Чайковского «Франческа да Римини». Дирижер Хаим Курнов. Начало в 17 часов»...

– Вы со Шмуликом на нем были?

– Нет. Концерт не состоялся – утром в Понары увезли весь оркестр... Брошь принес?

– Да... Можем идти?

– Можем...

– Фотографию прихвати, пусть дети посмотрят, каким в молодости был их дед. Но ничего при них не рассказывай... Они такие впечатлительные...

– Хорошо, Эли, хорошо. Будет так, как ты хочешь...

Слышно было, как внизу, в ресторане, музыканты настраивают инструменты; как, готовясь к ночному музыкальному марафону, певица теплым молоком прочищает соловьиное горло и пробует взять верхнее «до»; как официанты, насвистывая попури из Фрэнка Синатры и Элтона Джона, разносят по столикам меню в кожаных переплетах; как к подъезду одна за другой подкатывают лимузины с прожигателями жизни. Жак со шкатулкой для невестки медленно, с какой-то скорбной торжественностью шел по лестнице, но перед его глазами маячила не именинница Беатрис, а стояли Шмулик в свитере и полотняной кепочке, и щедушный, почти бесплотный дирижер Хаим Курнов, который в черном, переливавшемся, как чешуя, смокинге с желтой звездой на спине яро размахивал своей волшебной палочкой над разнужданной какофонией звуков, множившихся с каждым мгновением на исконно еврейской улице Стекольников, где торговали кошерным мясом, плескавшейся в больших деревянных чанах рыбой, талесами и серебряными семисвечниками, дармовыми мечтами и вековой мудростью – оптом и в розницу, в рассрочку и наличными, на месте и навывнос, сегодня и всегда.

IX

День рождения Беатрис с его неотъемлемыми слагаемыми – букетом чайных роз по числу прожитых лет, французским шампанским, здравицами на голландском и на иврите – ничем особым не запомнился бы, если бы не звонок из далекого Мехелена от бабушки Кристины.

– Тебе мама звонит, – сказал Эли и передал имениннице мобильный телефон, и из Мехелена по невидимому руслу в Вильнюс потек неторопливый ручеек родной речи. Смачивая его теплыми струйками гортань, дочь с улыбкой отвечала на мамины приветствия и вопросы, пока на другом конце Европы не раздался тоскливый собачий лай.

– Шериф! – радостно возвестила Беатрис. – На таком расстоянии узнал меня! Бог мой, что за любовь, что за преданность! Как же ты по нас соскучился, бедненький! Успокойся, миленький! Мы скоро вернемся... мы тебя любим... любим. И Эдмонд, и Эдгар.

Оставленный на попечение бабушки Кристины эрдельтерьер залился лаем пуще прежнего.

– Дай мне! Дай мне! – перебивая друг друга, потянулись к трубке мальчики.

– Мама, тебе хочет сказать пару слов Эдмонд, – объявила осыпанная с ног до головы ласковыми прилагательными Беатрис.

Но старший внук хотел сказать пару слов не столько любимой бабушке, сколько любимой собаке.

– Шери! Шери! – заорал он в трубку. – Это – я. Эди... Не скучай, дружок. Мы уже скоро приедем. А теперь я передаю трубку Эдгару... Пусть и он тебя услышит. Бай!

– Шериф тебя слушает, Гарри, – перевела собачий лай на голландский бабушка.

– Хэлло, Шери! Как поживаешь, дружок? Знаешь, кто с тобой говорит?

– Эдгар, – ответила за пса бабушка Кристина.

– Что тебе, Шери, привезти? – допытывался у него Эдгар.

– Привезем ему вкусенького литовского окорочка, сынок, – засмеялся Омри. – А теперь закругляйся. Дома всласть наговоритесь.

– Чао, Шери! – скривился Эдгар.

Жак смотрел на внуков, на сыновей и невесток и не мог надивиться всплеску их радости и отзывчивости. Со мной бы так, как с Шери, с грустью подумал он и без всякой связи с эрдельтерьером, изнывающим от скуки в Мехелене, вспомнил другое животное – ослика, впряженного в скрипучую, заваленную рухлядью телегу, ее возницу-араба в бесхвостой, без помпончика, феске, который, отгоняя от своей скотины оголодавших мух, объезжал каждую неделю округу и монотонно и жалобно, как муэдзин, выводил:

– Альте захен! Альте захен! («Старые вещи! Старые вещи!»)

Каждый раз, когда фальцет старьевщика, взывающий к бессонному еврейскому великодушию, насквозь перерезал крохотную улочку Трумпельдор, у Жака возникало почти неодолимое желание высунуться из окна и крикнуть:

– Эй, Ахмед! Остановись! Меня возьми! Меня! Со старым холодильником в придачу!

Порой – особенно после смерти Фриды – ему и впрямь хотелось сказать своим детям и внукам: «Возьмите меня! Я буду стеречь ваш дом. Могу еще, если понадобится, и лаять, как ваш Шериф, и кусаться, и оружием еще, слава Богу, владеть умею».

В такие минуты Меламед ненавидел себя за малодушие. Чего юни распустил?

Все идет как положено. У детей своя жизнь, а у него, у их родителя, даже одной шестнадцатой жизни уже не осталось. Спасибо Господу за то, что хоть столько дал. Проси не проси, Он никому ни на один денек визы не продлит. Кончился срок – и отправляйся в лучший из миров. В Голландии Всевышний сговорчивей не будет. Жак знал: стоит ему только заикнуться, и Эли с Омри сделают все, чтобы он переехал к ним, продадут квартиру на Трумпельдор, вывезут в Амстердам картины, и примут его, пусть не с распростертыми руками, пусть скрепя

сердце, но примут, ведь отец, плохой ли, хороший ли, всегда отец. Но Меламед не обманывал себя – за их снисходительную доброту и вымученное самопожертвование он должен будет обменять свободу на милосердный плен, а страну, которая была для него и впрямь обетованной и за которую он был готов без колебания сложить голову, – на какое-нибудь предместье Амстердама.

Жаку казалось, что и эта поездка в Литву, устроенная близнецами, была с их стороны скорее трогательным жестом, чем естественным зовом крови. Ему очень не терпелось освободить их от этой ноши, избавить от лишних хлопот. Уже в Людвинавасе он уразумел, что все его надежды рухнули, что не обремененная прошлыми несчастьями память не в состоянии отзываться на них ни вздохами, ни слезами. В кучах остывшего пепла невозможно разглядеть чей-то взгляд, наклон головы, улыбку, профиль. Жак сам удивлялся тому, что в родном когда-то доме, даже у него не потемнело в глазах, что он не упал в обморок, когда жена бывшего сержанта Кавальяускаса открыла ему дверь. Что уж говорить о тех, кто пришел на свет после войны и знает о смерти только по фотографиям и фильмам, о тех, для кого все мертвые – на одно лицо... Еще на обратном пути из Людвинаваса он решил в Рудниковскую, как ее в своем письме называл Эли, пуцу отправиться только с Абой и минером Казисом, если тот еще жив.

Без Казиса они там просто заблудятся. По всей пуце, и на белорусской, и на литовской стороне разбросано столько землянок, что со счета собьешься! Не таскать же туда детей и женщин – в туфельках на высоких каблуках и в сандалиях по заваленному буреломом лесу долго не походишь.

За столом именинницы переливался благодный звон бокалов с шампанским; на затемненной площадке под всхлипы оркестра кружились пары; счастливая Беатрис ерошила русые волосы Эдмонда; Мартина колдовала над недоеденными устрицами, которые, казалось, вот-вот выползут из миски; некурящие Эли и Омри с греховным наслаждением потягивали сигары; Жак отсутствующим взглядом смотрел на вышколенных, по-снайперски метких официантов и белоснежной бумажной салфеткой отмахивался от престижного сыновнего дыма.

– Пап, – зажав пальцами непривычную сигару, сказал Омри. – Почему бы тебе, скажи, пожалуйста, не тряхнуть стариной и не пригласить на танец мою Мартину?

– Или именинницу? – вставил Эли.

– Я бы с радостью, но забыл, как надо ноги правильно переставлять.

– Они тебе напомнят, – хохотнул Омри.

– Нет, нет, – заартачился Жак. – Партнер из меня – курам на смех.

– А это не тебе судить. Оценку поставит жюри... И вообще – почему ты сегодня такой грустный? – поинтересовался Эли.

– Как говорил один мой знакомый: я не грустный – я задумчивый.

– И о чем же ты, пап, думаешь? – Омри дунул в сторону отца греховным дымком.

– О вас... Я думаю, не подскочить ли вам на денек-другой в Палангу или на Куршскую косу. Позагорать, покупаться... Чего болтаться в Вильнюсе?

– А как же Понары?... Твое партизанское стойбище? – пролепетал Омри.

– Это я беру на себя. Нечего вам в пуще делать.

– Что ты, прости за грубость, мелешь? Быть в Литве и не побывать в Понарах? Какие же мы тогда евреи? – воскликнул Эли.

– Ладно, ладно, насчет Понар мы как-нибудь договоримся... – уступил отец.

Жак встал, пожелал всем сладких снов и, протиснувшись сквозь толпу танцующих, вышел из ресторана.

Было тихо и звездно. Меламед быстрым шагом прошел мимо гостиницы с приглашенными окнами и направился на Мясницкую. Когда Жак завернул за угол, он услышал жалобное мяуканье. У запертой на засов подворотни на задних лапах сидела кошка, та же, что и в первый день приезда. Ее желтоватые, роковые глаза горели, как два уголька, которые только что выгребли из натопленной печи.

– Не пускают? – спросил Жак.

Кошка кинулась к нему и, не переставая мяукать, стала тереться о штанину. Ей, по-видимому, хотелось сказать ему что-то важное – такое, чего она давно никому не говорила.

– Не надо шлаться допоздна, – пристыдил он ее, взявшись за скрипучий засов. – Может, твои хозяева отсюда давно уехали, а ты, дурочка, царапаешь и царапаешь подворотню.

Меламед отодвинул засов, распахнул ворота, и кошка сиганула в проем.

А я? Разве я не царапаюсь в закрытую подворотню – уже все ногти в крови? Мысль падучей звездой сверкнула в голове Жака и потухла.

Дом на Мясницой, в котором Жак жил с родителями в гетто, был капитально перестроен. Подвал и весь первый этаж занимал ювелирный магазин. В огромной, светящейся витрине за пуленепробиваемым стеклом красовались прославленные швейцарские часы.

Жак долго стоял у витрины и глазами отца-часовщика Менделя Меламеда рассматривал корпуса, изящные циферблаты с римской и арабской нумерацией, браслеты, золотые цепочки и брелоки. Все вызывало восхищение, но эти замечательные часы показывали чужое время.

Он вернулся в гостиницу под утро и проспал бы до обеда, не разбуди его Аба, который по телефонному справочнику разыскал Казиса Вайшнораса, минера партизанского отряда «Мститель», и привез его к Янкеле в «Стиклю».

– Никогда бы тебя, Яша, не узнал, – поздоровавшись, испуганно признался Казис. – Подумать только – что эта паршивка-жизнь делает с человеком! А какими мы были, когда на одних нарах спали. Кудри – во! – Вайшнорас поднял вверх, как чарку, большой палец. – Бицепсы – во! – снова поднял. – Женилка – во! Мустанги!.. – Высокий тучный литовец явился в полном снаряжении: в брезентовой куртке и резиновых – на случай дождя – сапогах, с рюкзачком за спиной и походной флягой на ремне. – Но ты, Яша, не расстраивайся. Я тоже на себя не похож.

– Похож, похож, – пожалел его Меламед. – Ты лучше скажи – до вечера мы обернемся?

– Если найдем то, чего ищем... И если, – Вайшнорас широко улыбнулся, – не сядем и не клюкнем за встречу... Все-таки век пролегал между нами...

– Разве нашу землянку так трудно найти?

– Водку найти легче, – ответил Казис и снова улыбнулся. – Наши землянки, Яша, давно тут из моды вышли. Сейчас в Литве в моде другие землянки...

– Какие? – выпучил глаза Меламед.

– Я тебе это позже объясню. А сейчас – вперед к победе коммунизма! Только не забудь своему водителю сказать, чтобы где-нибудь на выезде остановился. Надо заправиться...

– У Абы полный бак, – заверил Вайшнораса Меламед. – Он только вчера залил сто литров.

– Это, Яша, очень хорошо, но я бензин и солярку пока не пью.

На выезде из города Цесарка остановил машину, купил в придорожном магазинчике бутылку финской водки, итальянскую минеральную воду, буханку хлеба, загрузил все в багажник, и форд-транзит взял курс на Рудницкую пущу.

Живчик Вайшнорас приготовился было к долгому разговору, но Жака быстро укачало, и вскоре его негромкий прерывистый храп слился с мерным гулом мотора.

Проснулся Меламед на асфальтированной стоянке возле самой пущи.

– Дальше проехать нельзя, – как по громкоговорителю возвестил Цесарка. – Придется топать пешком.

Они высадились, выгрузили из багажника еду и напитки и по просеке побрели в глубь леса.

Впереди вразвалку шел широкоплечий, длинноногий Казис, за ним едва поспевал сухопарый Меламед, а замыкал цепочку Аба с сумкой, набитой провизией.

Своей строгостью и величием пуща напоминала необозримый храм. С высоких, как античные колонны, мохнатых деревьев, размахивая тяжелыми крыльями, то и дело взмывали беспокойные птицы с ярким оперением; дорогу перебежали суетливые зайцы; из зарослей орешника, высекая копытами дробь и пыля упавшей с сосен хвоей, выпрыгивали боязливые косули; ветер, как заправский органист, играл в густой, обрызганной солнечными лучами листве свои фуги, и все вокруг вторило ему немолчным гудом.

– Ты уверен, что мы идем правильно? – после тщетного кружения по гудящей пуще осведомился Жак.

– Идем мы, Янкеле, правильно. Мы всегда правильно шли. А найдем ли то, что ищем, вот это б-а-а-льшой вопрос... – протянул Вайшнорас. – Сейчас в Литве все изменилось. Даже в пуще...

– Ты это про что? – отозвался Жак.

– Про землянки... Мы с тобой против кого боролись?

– Как против кого? Против немцев... – сказал Меламед и поправился, – ну, против фашистов.

– Это ты так думаешь, а на поверку вышло – против независимой Литвы. Русские, то есть советские, были оккупанты, мы с тобой – еврей и литовец – их пособники, а немцы, оказывается, – освободители от кремлевского ига...

– Постой, постой! Я чего-то тут не понимаю.

Вайшнорас вздохнул и, с робкой надеждой косясь на Меламеда, выдавил:

– Вот, вот... Без пол-литра тут ни хрена не поймешь. Давай сделаем привал и разберемся.

Он вынул из рюкзака клеенчатую скатерку, расстелил ее, поставил бутылку и несколько бумажных стаканчиков, нарезал хлеб, достал двух копченых лещей и шмат свиного окорока.

– Ого! А говорил – надо заправиться, – подначил его Меламед.

– Лишней водки никогда не бывает.

– Так что – послушать тебя, выходит, мы сюда зря поехали? – спросил Жак.

– Так, брат, и выходит. Патриоты-лесничие наши землянки на дрова разобрали, землей засыпали. Если что и найдем, то какой-нибудь бункер лесовиков, которые с Красной Армией воевали. Сегодня – они герои; в чести не наши, а их имена. – Вайшнорас закашлялся, долго и судорожно заглатывал воздух, пока не перевел дух. – Твое счастье, что ты смылся и чистеньким остался – в партии не состоял, не привлекался, родственников имел не за границей, а в Понарах... А я столько пятилеток ишачил. Мне некуда было драпать. Не было у меня Израиля. Выпьем!

– После операции на сердце воздерживаюсь, – сказал Жак. – Аба поддержит.

– Я – за рулем, – перестраховался Цесарка. – Но один стаканчик могу.

– От одного глотка, Яша, сердце не остановится... За встречу! Меламед выпил, вытер ладонью губы, ухнул, как сова.

– Закуси. Или у вас на свинину табу?

– Я не ем, – сказал Меламед.

– А когда-то в этой пуще ты ее за обе щеки наворачивал, брат, – только подавай...

– Тебе, как я вижу, несладко. Пенсию хоть получаешь?

– Слезы... – пробасил Казис и пропустил стаканчик вне очереди. – Сейчас таких, как я, в Литве не жалуют. Откуда мне было

знать, когда я пускал под откос поезда, что через полвека и вся моя жизнь полетит под откос, что надо было бороться не с немцами, а с русскими. Кто мог предвидеть, что дорога к светлому будущему ведет не из советской землянки, а из послевоенного бункера. Кто мог знать...

Меламед слушал Вайшнораса, и сочувствие смешивалось у него с недоумением. Как же не радоваться тому, что Литва свободна и от тех, и от других оккупантов. Казису, храброму минеру, в той Литве с ее райкомами, КГБ и праздничными шествиями мимо кумачовых трибун, конечно, жилось лучше. Но разве довольному своей участью рабу дано судить – что лучше?

Рассиживаться за бутылкой искатели не стали – летний день таял, от него понемногу отваливались краски, небо над пущей темнело, и времени хватило только на то, чтобы добраться до опушки, на которой под боком у вековых дубов и берез приютилась крохотная деревушка Пабяржай, куда Жак когда-то принес завернутую в партизанское тряпье трехмесячную Елочку Капульскую.

Изба Антанины была заколочена досками.

– Померла Антанина, померла. Хорошая была баба, царствие ей небесное... У нее в баньке весь отряд наш парился. А вот взять к себе евреечку отказывалась. Еле уговорил, – заглядывая в слепые окна хаты, разговорился захмелевший Вайшнорас. – По маминой линии она мне троюродной теткой приходилась... Спасибо тебе, Яша, что вспомнил о ее хуторе... А я уже переживал, думал, подвел товарища, зря в эту пущу поехали... А вышло – не зря...

Заполночь они вернулись в Вильнюс.

Еще в Израиле, на тишайшей улице Трумпельдор, Меламеду пришла в голову странная мысль: если здоровье не подкачает, он часть пути из столичной гостиницы пройдет до Понар пешком. Пройдет так, как в то роковое сентябрьское утро под конвоем шли его родители Мендель и Фейга. Жак даже собирался на рубашку желтую латушить, но, поразмыслив, от этого намерения отказался. Раздаст сыновьям и внукам купленные в Тель-Авиве ермолки, подьедет вместе со всеми до развилки за городом, велит Абе остановиться, вылезет из машины и через какие-нибудь полчаса стариковским шагом доберется до места. Тем более что куда-куда, а к тем рвам никогда не опоздаешь.

Ему хотелось как можно дольше побыть со своими, еще живыми, родителями, пройти с ними бок о бок по земле эти последние метры до могильной ямы, увидеть их лица, услышать их голоса..

Эли и Омри воспротивились его причуде, предлагали в попутчики себя, но в конце концов вынуждены были уступить. Уж если отцу что-то втемяшится в голову, он от этого не отступится.

Жак раздал сыновьям и внукам шелковые ермолки и, когда машина подъехала к развилке, сказал Цесарке:

– Ждите меня у входа.

Мендель-Эдмонд и Шимон-Эдгар помахали деду ручками, невестки понимающе склонили головы, а сыновья захлопнули за ним дверцу.

Меламед медленно брел по обочине шоссе, мимо с ревом проносились машины; над ними, приближаясь к посадочной полосе близкого аэропорта, пролетали самолеты; но сквозь этот рев и гул он слышал, как молится мама, как благодарит Всевышнего за то, что с ними нет их бен-йохиды, их надежды и гордости – Янкеле; как отец, повторяя за ней слова благодарности, сетует на то, что не успел до облавы возратить отданные ему в починку часы и просит за это у заказчиков прощения, словно с часами на руках им было бы спокойней и легче умирать.

Кроме Абы и его пассажиров, никого в Понарах не было. Дождавшись Жака, они дружно двинулись за ним к сооруженному без вычурности, но и без выдумки памятнику, который возвышался вблизи расстрельных ям. Скромная надпись свидетельствовала о пролитой тут анонимными злодеями невинной крови. На постаменте сохли сиротливые астры.

Беатрис вынула из сумки камеру и навела объектив на сгорбившегося свекра, который положил к подножью охапку гвоздик. Эдмонд и Эдгар не сводили глаз с его спины и все время поправляли сползающие с головы непривычные ермолки; Мартина шляпкой отгоняла шмеля, веселое жужжание которого не вязалось со скорбной тишиной; Эли и Омри стояли по бокам обелиска навтыяжку, как в почетном карауле; Аба с ожесточением комкал в руке большую сосновую шишку и подозрительно шмыгал носом.

– Дети! А ну-ка встаньте рядом с дедушкой! Ближе, ближе! Вот так, – скомандовала Беатрис.

Жак обнял внуков.

– Дивно! Эдмонд, спроси-ка у дедушки о чем-нибудь!

– Деда, а дед? – начал внук. – Это дом твоего папы?

– Какой дом?

– Ну этот, – Эдмонд ткнул кулачком в памятник. – Бабушка Кристина говорит, что у каждого мертвого есть свой дом – могила.

– У каждого, но не у евреев. Оглянись вокруг: сколько в этих рвах тут бездомных...

– Почему? – не унимался Эдмонд.

– Когда-нибудь, малыш, узнаешь, когда-нибудь узнаешь.

– Какие кадры! – воскликнула Беатрис. – Фантастика!

После Понар дальнейшее пребывание в Литве как бы исчерпалось, и первыми в дорогу заторопились утомленные странствием по родительскому прошлому близнецы, которые не захотели купаться в Паланге и загорать в ветреной Ниде. Оставив пачку зелененьких для безотказного Цесарки, они улетели на три дня раньше.

– Дай, папа, слово, – сказал на прощание Эли, – что ты, наконец, образумишься и переберешься к нам. Израиль и так должен сказать тебе спасибо...

– Еще неизвестно, кто кому должен... по-моему, мы все – его должники.

Через три дня из Вильнюса улетел и сам Жак.

В аэропорту Бен-Гурион его неожиданно-негаданно встретил Гулько.

– Как это ты тут очутился? – удивился Меламед. – Мы вроде бы не договаривались.

Моше ничего не ответил, подхватил чемоданы и потащил их к машине.

– Ну, что у вас слышно? – пристегнувшись, выдохнул Жак.

– А с чего прикажешь начать – с хороших новостей или с плохих?

– С хороших.

– У Ханы-Кармелитки пятый внук родился. Ариэль. В честь Шарона назвали, – как диктор, чеканил слова Гулько. – Сара моя в лотерее три тысячи выиграла. Если бы одной цифрой не ошиблась, то, представляешь, – возил бы тебя к Липкину миллионер!

– И что, на этом все твои хорошие новости кончаются?

– Ни одного, барух а-шем, за это время теракта не было.

– А что было?

– Что было? – Моше замялся. – Коробейник... Дуду бен Цви на прошлой неделе умер... Метастазы в легкие пошли... Теперь ты по утрам сможешь свистеть сколько тебе угодно... Только... Только если твои птички снова вернутся...

– А куда они денутся?

– Дерево-то во дворе спилили. Нет больше нашего дерева... Ну вот мы и приехали!..

Гулько выключил мотор, занес на второй этаж чемоданы, подождал, пока Меламед откроет дверь и зажжет в квартире свет.

– Между прочим, о тебе эта одесситка Рахель спрашивала... Хочешь, познакомлю?

Жак его не слышал. Он подошел к окну, распахнул створки и уставился в темноту. В темноте, на спиленном дереве, пели истосковавшиеся по нему птицы. Когда займется утро, он снова свистнет им, и они снова слетятся на карниз, и он снова насыплет им хлебных крошек – пусть все вокруг знают, что Жак вернулся туда, где есть дом для живых и для мертвых; и где прошлого, как ему, старику, порою казалось, больше, чем будущего.

Май 2002 – октябрь 2003

Пётр Межурицкий
И УТРО ДНЯ, И ВЕЧЕР НОЧИ

СОБАКЕ КАЧАЛОВА, КОМУ Ж ЕЩЁ

Дай, Джим, на лапу счастье мне,
Пока коррупция в стране,
Пока не поздно,
Ведь лихоимец должен пасть,
И праведник войдет во власть –
Нет, я серьёзно.

Смотри же и запоминай:
Бульвар Моше, кафе «Синай»,
За тайной тайна,
И как ни вреден труд в наём,
Мы не случайно тут живём –
А где случайно?

Отчизна тем и дорога,
Что, может, пустишься в бега
По разным меккам,
Где оклемаешься вполне –
Дай, Джим, на лапу счастье мне,
Будь человеком.

РИСТАЛИЩЕ

Материей востребованной самой,
Возможно, не является нетленка:
И Бродский, и физрук, и папа с мамой –
Все сочиняли лучше Евтушенко.

Их так и не узнал народ-кормилец –
Лик физрука давно уже не светел –
У Бродского хоть был однофамилец,
Которого старик Господь заметил.

А я не спец и не слагаю книжки,
И просто не могу смотреть с балкона,
Как во дворе гоняют мяч мальчишки:
Там каждый третий – сущий Марадона.

ПАМЯТИ ПЕРВЕНЦА

Ов. Д.

Я же не ученый, не моё и дело –
Усыпили клона глобалисты в белом –
Пусть им и не спится! Родственник мой, что ли,
Выведен в пробирке для житья в неволе
И в конечном счете на алтарь возложен
Не корысти ради, может быть? Но всё же
Сам себе казался я таким же клоном
И умом, и сердцем, и в смятении оном
Сам и догадался, что попутал враг нас,
А невропатолог подтвердил диагноз,
Так мне и сказал он: «Что за чушь овечья –
Вовсе не такая участь человечья,
А совсем другая, скажем, эти звёзды,
Эти грозы, скажем, или этот воздух,
Истины моменты, времена и нравы,
Но и пациенты не всегда неправы:
Сам себе порою я казался клоном,
Только не овцою, а Наполеоном,
Хоть рулить страной не имею шансов,
Впрочем, Бог со мною, тут не до нюансов».
И едва на волю выбравшись из клетки,
Стал я сам собою принимать таблетки,
Говорить с луною, слушать запах серы,
А невропатолог выбился в премьеры.

КОГДА-НИБУДЬ СЕЙЧАС

Я с роду не назарей,
Зато навсегда усёк:
Когда-нибудь на заре
Бог вырубит свет – и всё!
Он свой не упустит шанс
Остаться, покуда цел,
И жаль нам не будет нас –
Ни душ, ни тем паче тел.

НАСТАВЛЕНИЕ

О, юноша: лук, стрелы, щит и меч
Годятся для солидного мужчины,
А ты пока надень шахида пояс.

И УТРО ДНЯ, И ВЕЧЕР НОЧИ

1.

Совершая труд полезный,
Катит дворник бак железный
С мусором всего двора –
Это пять часов утра,
Это город в Палестине
На еврейской половине,
И в округе – свят, свят, свят –
Муэдзины голоса
Под трезвон колоколов:
У монахов свой улов,
И свои у них приколы,
Дворник думает: «Нацболы –
Это мы, а вот меньшинства
Чинят всякие бесчинства,
Допекли, хоть свет туши,
Да и наши хороши,
Чтобы не сказать, что наши,
Между нами, хуже даже –
Это дискурс виноват...»,
Дворник чистит автомат,
Ладит лук и точит саблю,
В склад сдаёт метлу и грабли,
А за сим из-под песка
Поднимаются войска –
Астматические танки,
В танках всяческие панки,
Впрочем, бывшие уже
И в натуре, и в душе –
Молодёжь как молодёжь –
Пусть врага бросает в дрожь,
А не только пап и мам:
Аз воздам!

2.

Как знает жук, куда ползёт?
Он слышит голос, что зовёт,
И в этом смысле – словно Жанна,
А Жанна в той же мере жук,
Но я такого не скажу,
Блюдя политкорректность жанра.

3.

А как же дворник? Жив ли он,
Пал смертью или взят в полон —
Всё это частности, а в целом
Такой выходит брудершафт:
Политкорректность хороша,
Политконкретность портит дело.

ЕЩЁ НОКТЮРН

Повисло мясо на костях
И появилось в новостях.

Но их не смотрит полуночица —
В далёком прошлом озорница —
Война и без неё не кончится,
Но всё равно не спится.

Её товарищ полуночник
Внимает шороху газет,
Вчерашней жизни переносчик
Он полунаг, полуодет
И к худшему готов уже,
Как есть, при полном неглиже.

А за окном висячим садом,
Весь из классических колонн,
Лицом к Луне и к ней же задом
Слезам не верит Вавилон.

На площадях и на бульварах
В ночи светло, как на пожарах.
Мутясь рассудком, Ост и Вест
Жуют один и тот же текст,
Где промелькнут видеорядом
И дальний мир, и тот, что рядом,
Являя сонмища красот,
Но только Богу ведом тот
Сегодня конченный подлец,
А завтра нации отец.

Короче говоря, не спится
Народу, а в календаре,
Как предпоследняя страница,
Мечеть на Храмовой горе.

Дэвид Маркин

ПРИНАДЦАТАЯ НУПЬ

Главы из романа

Адам родил Каина

1.

Пекло.

Поляна имела ухоженный вид, как будто травяной ковер подвезли совсем недавно, и зелёные рулоны развернули и уложили со знанием дела. А кусты, напротив, выглядели неважно: листья на них пожухли от жары и даже не пожелтели, а побурели. Были на поляне и цветы, рассыпанные островками здесь и там: левкои, крокусы. Жароустойчивый розовый куст пламенел сочным вишнёвым огнём, птичка-колибри с изогнутым чёрным носом неподвижно, как приклеенная, сидела на ветке – то ли спала, то ли оцепенела. Тишина на поляне была бы полной, если б не мухи: эти твари, суетливо перелетая с места на место, нарушали покой и зудели, зудели... Подлетали они скопом и к яблоневоу дереву посреди поляны, и вились, и мужчина, храпевший в траве, никак на них не реагировал, а женщина, сидевшая рядышком с мужчиной, но не вплотную к нему, лениво отмахивалась.

– Морсу дай, – глядя на спящего, пробормотала женщина. – Пить умираю.

Но мужчина даже не пошевелинулся, только недоумённо наморщил влажный от зноя лоб и всхрапнул переливчато.

Крона яблони почти не давала тени: полдневные солнечные лучи без помех, отвесно проходили меж свернувшимися в какие-то коричневые стручки листьями засохшего дерева. Ствол его был костляв, вид – угрюм. С нижней ветки свешивалось одно-единственное яблоко, довольно крупное, с горячечно румяной щекою, но дряблое на вид, так и не набравшее кисловатой звонкой силы. Привалившись плечом к тёплому стволу дерева, женщина лениво глядела на плод.

Женщина под яблоней была по-своему привлекательна: ореховые глаза под молодым чистым лбом, короткий нос с круглыми крупными ноздрями и гривка рыжих волос падает на плотные плечи. На крепких бугорках грудей своевольно торчат розоватые маленькие соски.

– Спит и спит, – горько сказала женщина и, прицелившись, резко взмахнула рукой. Муха гундосо зажужжала в кулачке охотницы. – Хоть бы сказал что-нибудь...

Медленно, с осторожностью женщина принялась разгибать палец за пальцем, заглядывая в кулёчек кулачка. Указатель-

ный, средний... Муха вылетела почти с рёвом, добыча ускользнула из рук. Женщина гневно проводила её взглядом – как она, сделав зыбкий круг, опустилась на щёку одинокого яблока и взялась расправлять и чистить накрахмаленные крылышки.

– Ишь ты! – не спуская глаз с яблока, пробормотала женщина. – Чистится она!

Потом женщина как-то воровато, тишком оглянувшись, опустив подбородок и медленно поворачивая голову к плечу. Всё было тихо на поляне. Покончив с крылышками, муха теперь деловито тёрла глаза передними лапками. Женщина оторвала плечо от ствола, о который опиралась, и, метя в муху, отрывисто шлёпнула ладонью по яблочной щеке. И плод, отделившись от ветки, с глухим стуком упал в траву.

Женщина застыла, откинувшись, словно бы чего-то ждала. Но ничто не изменилось в мире: спящий храпел, олень в кустах тербил пучок травы бархатными губами. Шелково скользило время. Тогда женщина протянула руку и взяла яблоко.

Плод был прохладен и весом. Женщина поднесла его к лицу и потянула воздух своими круглыми ноздрями. Запах, исходивший от яблока, был хорош. Выбрав бочок покрасней, женщина впиалась в него отменными сахарными зубами.

Она не успела ещё откусить, как появились птицы. Они полетели над поляной – алые и лазоревые, изумрудные и синие, с золотыми хохолками и розовыми грудками, и некоторые из них опустились на ветви яблони, вмиг расцветшей самым неожиданным образом: молодые листья покрыли её костлявое тело, и ветви упруго прогнулись под тяжестью яблок и ананасов, гранатов и дынь, груш, бананов, слив и кокосовых орехов. И пробежал ветерок на стройных ногах, и запахло дымом костра, и послышалась далёкая песня, составленная из нежных слов. Беспочинно улыбаясь, женщина повернулась к спящему и легко коснулась ладонью его лба. Открыв глаза, мужчина – то был молодой мужчина крепкого сложенья, с тяжёлыми плечами и угловатой головой на мощной короткой шее – взглянул на набитую разноцветными плодами крону дерева, пробормотал что-то нечленораздельное, вздохнул и потянулся к женщине.

– Что это с тобой, Адам! – удивилась женщина, впрочем, не отстраняясь. – Ты лучше погляди, какие птички.

Но птички не занимали Адама. Повелительно уложив женщину на спину, он взял её. И это было хорошо.

– Мне было хорошо, Ева, – поднимаясь, сказал Адам. – Гляди-ка, какие чудеса! Орехи прямо над головой!

– Ты меня чуть не задавил, – с укоризной сказала Ева. – Только о себе и думаешь... И к чему такая спешка?

– Перестань ворчать! – распорядился Адам. – Мне кажется, что-то такое случилось необыкновенное. А?

– Случилось, случилось, – подтвердила Ева. – Теперь вся наша жизнь пойдёт по-другому. Ну, чего ты опять разлёгся? Вставай!

– Зачем? – без интереса спросил Адам.

– Мы уходим отсюда, – твёрдо сказала Ева. – Понял? Навсегда! Мне здесь всё осточертело до смерти.

– Но почему? – удивился Адам. – Тут всё есть: и фрукты, и всё.

– «Фрукты!» – передразнила Ева. – Да это жуткая дыра, дурачок! Провинция! Я тут гнить не собираюсь, а ты хочешь – оставайся.

– Я этого не сказал, – покачивая головой, проговорил Адам. – Я не сказал ни «да», ни «нет». – Он не любил, когда им командовали.

– Тогда собирайся, нечего разлёживаться, – сказала Ева. – Пойдём, куда глаза глядят.

– Мне нужно оружие, – подумав, сказал Адам. – Это ж ясно, раз такое дело: идём, сами не знаем, куда.

Оружия не было. Адам, озираясь, бродил по поляне. Наконец, он подошёл к яблоне и, взявшись за ствол, решительно встряхнул дерево. Вперемежку посыпались плоды: яблоки, ананасы.

– Собирай, чего смотришь! – указал Адам Еве. – Возьмём в дорогу.

А сам сильными руками, напрягши спину, нажал рывком – и ствол хрустнул.

– Дубинка будет, – ломая и отбрасывая ветви ствола, довольно сказал Адам. – Теперь можем идти.

За поляной им открылась река в камышах, лес, мир.

2.

Для того, чтобы ощутить шаг времени, мало сказать «шли годы». Шли, да. Но как? Рысью, галопом или иноходью? Не спотыкались ли они о камни, не оскальзывались ли на крови? А может, вопреки расхожему мнению, мгновенье всё же останавливалось иногда – на миг, на век? И потом движение возобновлялось, и ходили бока времени, и вкусно ёкала селезёнка.

Сидевшие у костра путники жевали лук с лепёшкой и поглядывали в вечернее небо; там, в глубине небесного свода, проклёвывались первые знакомые огоньки, каждый из них имел своё имя и занимал своё место, и это устойчивое постоянство внушало душе приятный покой. Так было, так есть, так будет. Там, вверху, жил избранный Авраамом строгий Бог – Бог-судья и в то же время Бог-нянька, и ощущение непрерывного надзора тоже успокаивало и умиротворяло. Вверху всё было устойчиво, не как внизу. Внизу, в темнеющих на глазах кустах тамариска вокруг лагерной стоянки, пряталась неизвестность: ничто там не было расписано наперёд.

Ночь подступала к костру, лагерь укладывался. Из коричневого островерхого шатра Авраама доносились визгливые голоса женщин: там скандалили. Сидевшие вокруг костра невнимательно прислушивались к шуму скандала и понимающе покачивали головами.

– Женщины галдят, как мартышки, – цыкнув слюною в костёр, сказал коновод Эли. – Бедный Авраам.

– Две медведицы в одной берлоге не живут, – заметил молодой Шимон. – Вот увидишь, дядя Авраам сейчас наведёт порядок...

Называя Авраама дядей, Шимон слегка преувеличивал свою родственную близость к шейху, приходившемуся ему лишь двоюродным дедушкой. Но он и не вкладывал в слово «дядя» и намёка на генеалогический орнамент. Дядя – это было тепло, по домашнему. Все до единого путники, все сорок восемь душ, включая рабов, жили в дороге одним домом, и каждый, кому вздумается, ну, кроме, разумеется, женщин, мог назвать Авраама дядей, не приходясь ему на деле даже троюродным внуком. Все мы одного корня, все люди братья, а кто не братья, те, наверно, племянники, дядья и свекры.

Костёр догорал, его красные языки опадали. Выпростав из под шерстяной накидки мускулистую волосатую руку, Шимон бередил угли суковатой палкой. Верх палки украшало вырезанное из розового камня отшлифованное гранатовое яблоко.

– Все люди братья... – глядя на вырвавшиеся из костра искры, с сомнением проговорил Шимон и даже головой покачал. Тёмно-рыжие его космы, вольно свёрнутые в колечки и локоны, пришли в движение. – Каин убил Авеля.

– Они просто не ладили, – объяснил коновод Эли. – Это с каждым может случиться. Если кровь кипит, тут уж ничего не поделаешь.

Утихомирившиеся было в Авраамовом шатре женщины снова подняли крик. «Заткнитесь обе! – послышался глубокий, хриловатый голос хозяина. – Палец на уста, будьте вы трижды неладны!»

– Сарра его грызёт с утра до ночи, – беспечно продолжал Эли: – «Выгони Агарь! Отправь её куда-нибудь подальше!» Вот увидишь: он выгонит.

– Тут дело не в Агари, – живо возразил Шимон. – Тут в Измаиле дело: который из сыновей будет наследовать Аврааму? Ведь Измаил, как-никак, первенец.

– Можно поделить, – поднял голову от груди Гиора, дремавший сидя. – Одному коз, другому баранов. Одному ослов, другому лошаков. Шатры поровну. Верблюдов поделить. Мало ли чего.

– Нет, – не согласился коновод Эли. – А то получится, как у Каина с Авелем.

– Каин убил Авеля, – пробубнил Шимон в рыжую бороду, – брат пошёл на брата... И из-за чего?!

Глядя в огонь, мужчины молчали: действительно, из-за чего? Что они там не поделили? Рассказывают по-разному: то ли Главный над Главным не обратил внимания на Каина и тот очень обиделся и стал бушевать, то ли Авель, не спросив, засеял своим ячменём опушку поля, на котором Каин баранов

пас. Одним словом, зря братья поспорили, хотя, похоже, есть во всей этой истории что-то скрытое и нераскрытое, да.

– Вот все говорят: «Каин, Каин!», – с горечью в голосе сказал Эли, – а у него просто кровь вскипела. Это с каждым может случиться – с тобой, Шимон, и с тобой, Гиора.

– Может-то может, – согласился Гиора. – Но тут во всём змей виноват, это же ясно. Он Еву подбивал.

– А был ли змей? – тихонько спросил Шимон.

– Был, был! – расслышав, затряс головой коновод Эли.

– Если б не змей, – продолжал Гиора, – мы все жили бы в раю, и Каин не убил бы Авеля... Так что это всё змей!

– Точно! – удостоверил Эли. – Поэтому он тащится на брюхе, а не бегаёт на ногах, как все. И мы убиваем его палкой, как только увидим.

– Ну, главное, что мы нашли виноватого, – насмешливо заметил Шимон. – Если есть виноватый, всё сразу становится по своим местам. Мы убиваем змея, потому что он повинен в смерти Авеля. Так или не так?

– Так, – подумав, согласился Гиора, и коновод Эли радостно его поддержал:

– Ну, конечно!

В шатре Авраама тем временем наступило затишье. Хозяин, не выпуская посоха из рук, сидел на белой овечьей шкуре, лицом ко входу. Женщины занялись, наконец, делом: Агарь месила тесто смуглыми руками, и бренчали серебряные браслеты, а Сарра, кряхтя и ворча, готовила постель на ночь. «Выгони Агарь!». Авраам и сам подумывал о том, чтобы раз и навсегда избавиться от плодоносной египтянки. Ведь не обязательно же выгонять, можно и отправить! Отправить, например, в безводную долину Фаран, и пусть себе идёт вместе с Измаилом. И восстановится покой в доме, и будет безмятежно расти Исаак, рождённый Саррой при таких чудесных обстоятельствах... Всё бы хорошо, но не знал Авраам, как посмотрит Господь на такое своеволие – Господь, сотворивший чудо и ко всеобщему веселью вдунувший жизнь в бесплодное, как иссушенное дупло, саррино чрево. После всего случившегося Авраам втайне испытывал к Богу почти кровные чувства – как будто Невидимый приходился ему дальним знаменитым родственником, жившим во дворце, далеко. Нарушив затянувшееся на первый взгляд необратимо бесплодие Сарры и приняв, таким образом, заметное участие в появлении Исаака на свет, Господь сделался как бы членом семьи и даже нёс ответственность за судьбу не только новорожденного Исаака, но и отрока Измаила. Как же он посмотрит на изгнание Агари? Одобрит ли? В одном Авраам был уверен: Господь не сделает никакой разницы между «выгони» и «отправь», на этом не проведёшь Всезнающего.

Взаимоотношения с Невидимым всецело занимали жизнь Авраама. Страх его перед открывшимся ему Богом был велик и огромен, но и разногласия между ними были иногда допусти-

мы. Кое в чём Авраам был готов стоять на своём – до определённого, разумеется, предела и рубежа. В мысленном споре со Всевышним можно было немного поартачиться, и лишь потом безоговорочно уступить. В конце концов, не сам ведь Авраам, подобно другим шейхам, шёл куда глаза глядят – Указующий вёл Авраама. Ведомый лишь поспешал за огненной тенью.

Это не означало, что авраамовы домочадцы, слуги и прилебатели отдавали себе в этом ясный отчёт. Находились и такие, что сомневались. Нет, не в главном, не в основополагающем и краеугольном – Боже упаси! Но не всегда своими умишками дотягивались они до сути, а некоторые ещё и ухмылялись тайком в козлиные бороды. Эти ухмыльщики, эти смехачи сердили Авраама, но не особенно его печалили: что возьмёшь с дурака! Другое дело умники, своими сомнениями безответственно, себе на беду расшатывающие основу – те наводили на Авраама тоску почти предсмертную: он уходил от шатра в поле или в пески и сидел там в одиночестве до темноты, обращаясь к Всеобъемлющему и угадывая его ответы. Он и сам сомневался иногда в правильности своих угадок, но относил это к собственному несовершенству и изначальной невозможности сполна уразуметь желания Непостижимого. Иными словами, Авраам понимал далеко не всё, что втекало в его уши вместе с полевым и пустынным ветром. Он страдал, он тяготился. И ни одной живой душе этого не открывал.

Вот и сегодня ушёл Авраам на каменистый склон холма и сидел там; было зябко, ветер вечера пронизывал до старых костей. Болело колено. Утром всё шло хорошо, пока не явился с разговорами этот рыжий Шимон, этот умник.

– Дядя Авраам, – сказал Шимон, пятая вода на киселе, – я вот тут задумался...

– Над чем же, сынок? – без интереса покосился Авраам.

– А был ли змей? – спросил Шимон.

– Какой змей? – в свою очередь спросил Авраам. Вопрос показался ему бессмысленным и почти дерзким.

– Тот, в первом саду, – пояснил Шимон.

– Был, был, – Авраам сердито отмахнулся рукою с широкой и сильной кистью. – С чего ты взял, что не было змея?

– Я не говорю, что не было змея! – сказал Шимон. – Я просто не знаю. Дядя Лот, я помню, говорил, что не было никакого змея, что женщина сама...

– Лот, – глядя на Шимона, задумчиво повторил Авраам. – Лот... – Он пытался сообразить, каким же это образом Лот – родной племянник, сын брата Арана – приходится дядею рыжему Шимону. – Лот непутёвый человек, мало ли чего он мог наплести. Змей был.

– Значит, змей попутал Еву? – спросил Шимон.

– Он, он, – сказал Авраам.

Задумчиво сложив губы трубкой, Авраам раздумывал над тем, что Ева, по существу, могла и сама дотянуться до яблока.

От женщины можно ждать чего угодно, и в самое неподходящее время. Не зря Всевидящий создал вначале мужчину, а уже потом – в противовес мужчине – женщину. Задумавшись и полуприкрыв глаза смуглыми веками, Авраам отчётливо увидел чистый зелёный луг, дремлющего в душевном покое Адама и Еву, томящуюся под яблоней. Змея не было. Авраам чуть наклонил голову к плечу, привычно настраивая слух на далёкие сферы; но всё было глухо вверх, а ветер из долины приносил с собою лишь треск полдневных цикад... Придирчиво, шаг за шагом разглядывая луг с яблоней и первыми людьми, Авраам думать забыл о Симоне. Куда мог забиться змей, в какую щель? Но не было щели, вот ведь в чём дело, и змея не было. И это требовало подробных разъяснений. Авраам вслушивался, но не было и разъяснений.

– Тогда за что же мы наказаны? – как сквозь овечью шерсть, донёсся до Авраама голос Симона.

Змей – Ева – яблоко. Всё на своих местах, всё красиво и прочно на золотой нити времени, соединяющей землю со звёздами. Нельзя ничего менять, не то сама нить оборвётся!.. И тут является этот мальчишка, этот рыжий Симон со своими дурацкими вопросами.

– Был, был змей, – открыв глаза, устало повторил Авраам.

За что мы наказаны... Как будто он не думал над этим, не ломал голову, сидя на пне или на камне, в одиночестве, в зной и в непогоду, в стороне от своего шатра! Если просто так, за здорово живёшь сваливаются на нас беды и несчастья – то где же порядок вещей, связь событий прошлых и грядущих? А если всего этого нет, не существует, то люди и с Богом порвут связь, одичают и превратятся в хищных шакалов и гиен. И в том, что Сарра грызётся с Агарью и обе вместе не дают Авраамовой душе ни часа покоя – в этом тоже наказание Господне. За что, Господи? Да кто ж уразумеет промысел Неназываемого, кто, начиная с того же глинобитного Адама, поймёт своими птичьими мозгами, куда клонит Невидимый?

И ведь не только ему, Аврааму, тяжело жить от этой вечной свары в собственном доме – это бы ещё куда ни шло!.. Нестерпимое это положение, ужасное, отвлекает его от мыслей о Едином и Всеобъемлющем, от постоянной готовности – и в светлое время, и в часы ночного беспокойного ожидания – услышать то, что другие не слышат, и принять посыл, идущий из ниоткуда. Лишь ради этого родился он в Уре Халдейском, ради этого прикочевал сюда, в страну зелёных холмов – и вот расстрачивает душевные силы и расстраивается, улаживая кухонные распри между домашними женщинами.

– Выходит дело, люди ни в чём не виноваты, – снова услышал он Симона. – Тогда почему же, рожая, воет женщина?

Почему воет... Действительно, почему? Самое главное в жизни – заповеданное продолжение рода, – и вот такие муки. И Агарь кричала и выла, и Сарра выла и кричала, каждая в своё

время. Обе страдали одинаково, а теперь придётся отправить Агарь.

Авраам обернулся к шатру, к полуотдёрнутому пологу входа:
– Я ухожу!

Несведущий человек принял бы это сообщение со встревоженной душой: оно было произнесено голосом глухим и отчасти даже скорбным, как будто сделавший его пришёл, наконец, к бесповоротному решению всей своей жизни и теперь отправляется пешим ходом, с посохом в руках и котомкой за плечами, куда-то на край земли, в опасные пределы. На самом же деле Авраам произносил «Я ухожу!» единожды, а то и по два раза на дню – и уходил, и усаживался на пенёк или на камень в относительном отдалении, но всегда в виду своего шатра. И домочадцы, наблюдая торжественный уход Авраама, оставались совершенно спокойны за судьбу своего шейха: посидит и вернётся.

Очутившись в одиночестве, в стороне от стояночного гвалта и спиной к лагерю, Авраам с досадой в сердце думал о тех, кто своими дурацкими разговорами и пристаиваниями мешал ему с самого утра погрузиться в желанный мир ожидания Знака и Голоса. Утренние часы – самые свежие, самые светлые: голова не забита мусором жизни, волей-неволей скапливающимся там к концу дня. И вот какие-то женщины, ворчливые и бездумные твари, дёргают и отвлекают, выводят из себя и выбивают из колеи. И нужно, сидя на солнцепёке, сжечь в пепел и прах ещё один час драгоценного утреннего времени, чтобы придти в себя и сосредоточиться на Главном. Сколько же всё это будет продолжаться, Хозяин Мира? Доколе, а?

Но, сколько ни вслушивался Авраам, ответ не прилетал. И можно ли отправить Агарь – на этот вопрос тоже не было ответа. Ни ответа, ни запрета. Запрета – не было.

Каин убил Авеля. Это случилось, это было допущено. Значит, и Измаил может поднять руку на Исаака, и в руке будет камень. Но только Бог вправе по-отечески забрать Исаака к себе. Больше никто.

Поэтому Агарь должна уйти и увести с собой Измаила.

...Костёр догорел, уголья на его чёрном донце переливались цветом золота и вишни.

– Что-то Авраам сегодня рано вернулся, – озабоченно заметил коновод Эли. – Только ушёл – и почти сразу вернулся. Даже странно.

С ним не стали спорить. Как и уход, возвращение Авраама в шатёр после одинокого дежурства на камне горы или на пне поля никогда не проходило незамеченным. «Авраам возвращается!», – кем бы это ни было объявлено – голопузым малышом или стариком, глядящим из-под руки, – все кругом, услышав это объявление, отрывались от своих занятий и, удостоверившись, глядели, как возвращается шейх. А Авраам шагал неспеша, держался прямо и, зайдя в шатёр, опускал за собою полсть. Возвращение, таким образом, ни в чём не уступало уходу.

– Он придумал! – запустив пятерню в свою рыжую шевелюру, сказал Шимон. – Видали, как он возвращается? Как царь, как дуб, как лев!

– Придумал – что? – наклонив голову к плечу, с осторожностью осведомился Гиора.

– Кое-что услышал, кое-что придумал, – смешливо пропел Шимон. – Каин убил Авеля. Так?

– Ну, так, – подтвердил Гиора.

– Братья не должны убивать друг друга, – продолжал Шимон, – это нехорошо. Так?

Коновод Эли засопел в подступающей темноте.

– Это как посмотреть, – сказал коновод. – Смотря какая тут причина.

– Неважно, – сказал Шимон. – Дядя Авраам не хочет, чтобы братья убивали друг друга. Нельзя! Поэтому не спите и глядите, что будет дальше.

Полсть опустилась за Авраамом, и женщины молча взглянули на вернувшегося хозяина – каждая со своего места. В шатре было почти темно, пара масляных глиняных светильников помаргивала подслеповато. Дети спали.

– Я отпускаю тебя! – подойдя к Агари, проговорил Авраам. – Иными словами, Агарь, собирайся и уходи. Так я решил, так надо.

– Куда идти? – спросила женщина, глядя в сторону.

– Иди по долине Фаран, – разъяснил Авраам, – Никуда не сворачивай.

– Ночь, – сказала Агарь. – Ночь!..

– Что для одного ночь, для другого – звёзды! – глухо поправил Авраам. – Я дам тебе одного осла и одного лошака, в их перемётных суммах ты найдёшь три баклаг с водой, лепёшки и сыр, лук и копчёную козлятину, сушёные фиги и вяленый виноград. Кроме того, ты найдёшь там мешочек с серебряными шекелями, и золотые браслеты найдёшь, и серьги с красными камнями, которые – помнишь? – я вдел когда-то, в ветреную ночь, в твои прекрасные уши.

– Звери, – сказала Агарь. – Дикие звери...

– Зажжёшь факел, – сказал Авраам, – и звери разбегутся. Собирайся, буди нашего сыночка и ступай. Мы раздваиваемся, Агарь, мы разделяемся надвое. И куда бы ни вывела тебя дорога через Фаран... Короче говоря, вот тебе моё слово: где бы вы ни очутились, хоть в Египте, вы никогда не будете испытывать нужды; я позабочусь об этом. Так и запомни. А теперь собирайся!

Долина Фаран и днём-то выглядела довольно-таки уныло, а ночью, при плывущем свете луны, и вовсе казалась неживой; поэтому она так хорошо подходила для ухода Агари с Измаилом. Женщина шла впереди маленького каравана. Факел из смолистого дерева чаг ровно горел в её руке. Долина редко по-

росла коричневым суставчатым кустарником, а по её краям громоздились подёрнутые земляным жиром чёрные камни, неприятные на вид. Огненная макушка факела хорошо была заметна от погасшего костра.

— Дядя отпустил Агарь, — сказал рыжеволосый Шимон, и Гиора с простоватым коноводом согласно закивали.

— Авраам дал ей хорошего осла, — со знанием дела заметил коновод Эли, — очень хорошего. Да и лошак, пожалуй, будет не намного хуже.

Кучная группа шла по долине, как по далёкой сцене к кулисам.

— О животных забудут, — легко предрёк Шимон. — Без ишака и лошака куда интересней и лучше: босая Агарь плетётся по каменистой тропе и тащит за руку малютку Измаила. Это вам, ребята, не семейный скандал, это тянет на большее...

— Не малютку, — решительно возразил коновод Эли. — Ему уже тринадцать.

— Это тоже забудут, — уверил Шимон. — Не беспокойся ни о чём, Эли...

— Как так? — удивился коновод.

— Да так... — сказал Шимон. — Змей, кстати, был?

— Был, был, — сказал коновод Эли. — Обязательно.

— Ну, вот видишь, — сказал Шимон. — Тогда всё в порядке. Братья больше не будут убивать друг друга.

3.

Рыжий был пьян. Нет-нет, его не вело от стены к стене переулка, он не падал, спотыкаясь о собственные ноги, на желтоватые камни мостовой, влажные от ослиной мочи. Он брёл своей дорогой, начинавшейся в Нижнем городе, за крепостной стеной, и упиравшейся пыльным лбом в ворота царского дворца.

Перед воротами, по обе стороны дороги, был разбит виноградник. Ещё в прошлом году он имел запущенный вид: приبلудные козы обглаживали лозу и посыпали сухую землю своими чёрными орешками. Потом, когда Соломон влюбился в Суламифь и подарил ей этот ближний виноградник, там быстро навели порядок: очистили пространство от козьего дерьма и подвели воду для полива. Построили и шалаш из пальмового лапника, и ложе принесли: широкий топчан, застланный пёстрой весёлой тканью. И мягкие подушки, числом двенадцать, доставили, и подголовный валик из конского волоса, пропитанный благовониями.

Всё это осталось у Суламифи, ничего царь не забрал, не унёс; и на том спасибо. Бедной девушке, когда ей уже почти шестнадцать, пора подумать о семье и о будущем. А без топчана какая семья, какое будущее? Так что спасибо мудрому царю Соломону. Ущерб от него, старика, известно какой — не-

большой, а прибыль на руках, вот он. Из прибитка Суламифи больше всего пришёлся по душе подголовный валик и резная медная коробочка с остатками цветочного масла для втирания в мочки ушей и в розовые кружочки вокруг сосков, вот здесь. Соломон сам втирал, ему нравилось.

А Дуби не нравится, он все эти господские штучки не признаёт. Дуби простой парень, руки у него крепкие, как будто сделаны из дерева, грудь вся в бараньих волосах, а сам он сильный и неутомимый, как пенёк... Соломон – тот, конечно, нашёл бы другие слова, чтобы красиво описать стать и мужской огонь своего преемника, ночного сторожа Дуби, а Суламифи это не дано – описывать, ей другое дано: «Черна я, но красива!». То же немало.

Лёжа на топчане, на животе, и мечтательно болтая ногами с точёными гладкими икрами, Суламифь радовалась тому, что Дуби такой весёлый, и что он ночной сторож, и что он сейчас придёт. О царе Соломоне она тоже думала: он смешной, добрый и плаксивый. Это царь велел приставить сторожа к винограднику, вот ведь смех! Но ведь он не виноват, что он старик. То есть, не то, чтоб совсем не виноват – это ему же, в конце концов, сорок четыре с половиной, а не Дуби, которому ещё и двадцати-то нет. И простой девушке, конечно, интересней с весёлым Дуби, чем со скучным Соломоном, у которого к тому же не хватает шести зубов.

Да что тут говорить: за Дуби как за каменной стеной, верней не скажешь. И профессия какая хорошая – ночной сторож! Люди всегда сторожат своё добро, особенно по ночам – и от других людей, чтоб не украли, и от диких зверей, чтоб не загрызли и не растащили. Вон ведь говорил Соломон – и этот его рыжий пьяница, товарищ его, умник, ему поддакивал – что у богатых, у которых всё есть, сон плохой, потому что они о богатстве своём всё время думают и боятся, что наутро чего-нибудь не досчитаются. А Дуби этим богачам уступает: они спят его сном, а он не спит, сторожит с открытыми глазами – один глаз смотрит на Север, а другой на Юг, южный глаз у него золотой, а северный серебряный. Вот такая у него почётная профессия, у этого Дуби: продавец снов!

Ну и что ж, что все эти интересные слова про Дуби не сама она придумала, а рыжий Шимон, когда шёл вчера на закате через виноградник к царю. «Что, Суламифь, – говорит, – новый дружок у тебя появился – козопас?» «Никакой не козопас, а ночной сторож!» Вот тогда Шимон и придумал про ростовщика. Что-что, а придумывать Шимон мастак, за это его Соломон и держит около своих сандалий. А что до всего прочего, тут уж рыжий Шимушка звук пустой, голь перекатная: ни кола, ни двора. Пьянь.

Что же до самого пьяницы, то его отношение к виноградной девушке было по меньшей мере двойственным; взгляд Шимо-

на, когда Суламифь оказывалась в поле его зрения, вспыхивал задумчивым интересом. Суламифь нравилась Шимону – да и кому бы она не понравилась! – но тёплый интерес к девке подогревался и тем, что она, как-никак, была пассией владыки. Той самой пассией, для которой он, Шимон, написал по желанию Соломона «Песнь Песней». По желанию и по заказу.

«Для которой» – это, пожалуй, было натяжкой. Да, царь был увлечён, даже влюблён, он недосыпал и мучился счастьем – но при всём при том он, умница, прекрасно понимал, что пыльная его игрушка с розовыми пятками и дурацкими овечьими зенками ни черта не поймёт вот в этом серебряном кружеве: «Глаза твои голубиные под кудрями твоими; волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской. Зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними». Да она и не должна была понимать, не для неё всё это было придумано и написано! Будущие поколения будут смеяться и плакать, и изумлённо цокать языками, читая вот это: «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете». Мудрый царь Соломон, строитель и поэт, останется жить в будущих поколениях – только ради этого, да ещё ради такой вот лупоглазой мордашки стоит проживать в нынешнем. И кому какое дело, что какой-то Шимушка, гуляка и выпивоха, водит руку царя – пишет для него стихи, по которым, как по звонким белым ступенькам, Соломон Мудрый взбежит в будущее!

Суламифь всего менее была причастна к такому раскладу. Полёживая на дарёном топчане, она и думать об этом не думала. Бабьей своей подкладкой, бахромчатой, она давно уже улавливала Шимоново приятное беспокойство: куда царь ногой, туда и слуга кочергой, – и посмеивалась вполне удовлетворённо... Но это раньше, – а теперь, когда появился весёлый и решительный Дуби, интересное внимание Шимона было не к месту, как рыба кость в медовом пироге.

– Ты тут лежишь, в саду, как прародительница Ева, – сказал Шимон, подходя. – У той тоже были звериные ноздри, как у тебя... Но что же Змей?

– Сам ты змей! – миролюбиво сказала Суламифь. – Иди своей дорогой. Кто тебя звал сюда, в заросли? Я не звала.

– Змей ползёт на брюхе, – сказал Шимон, подходя, – я же иду на своих ногах, хотя и спотыкаюсь, как ты видишь.

– Вижу, вижу, – сказала Суламифь. – Но ты тут не рассаживайся.

– А что, Дуби на подходе? – спросил Шимон. – Я, заметь, не ревнив.

– Мне-то что? – сказала Суламифь. – Кроме того, не ревнивых мужчин вообще не бывает, чтоб ты знал. Яйцо бывает без желтка? Ну, вот... Дуби вчера приходил, вот это читал: «Живот твой – круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино; чрево твоё – ворох пшеницы, обставленный лилиями». Мы так

смеялись, так смеялись, прямо хохотали! «Виноградник был у Соломона в Ваал-Гомоне... А мой виноградник у меня при себе». Ты-то почём знаешь – при себе или не при себе?

– Как это «читал»? – сварливо уточнил Шимон. – Он, что, грамотный, что ли – этот твой Дуби?

– Зачем грамотный! – отмахнулась Суламифь, как от шмеля. – Он наизусть читал. Ну, на память. Весь город читает эти стихи. «Стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти. Подумал я: влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви её; и груди твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков».

– Ну и что тут смешного? – покачивая рыжей головой, спросил Шимон.

– Где это ты видал, чтобы груди были похожи на виноград? – сказала Суламифь.

– А на что они, по твоему, похожи? – презрительно спросил Шимон.

– Груды похожи на груди! – с уверенностью сказала Суламифь. – Но не в этом дело. Все думают, что это Соломон написал, представляешь? Дуби-то я, конечно, сказала, что это ты, а не он. И Дуби даже рассердился.

– Меньше говори, – посоветовал Шимон. – А то царь отберёт у тебя твой топчан вместе с виноградником, который всегда при тебе.

– Бедную девушку каждый может обидеть, – вздохнула Суламифь, – особенно царь. Но ты же пьёшь из его стакана! Скажи ему, чтоб не отбирал. Ну, скажи!

– Значит, ты говоришь, люди смеются над моими стихами, – процедил Шимон. – Это баранье быдло! Ты хоть красива, чёрт тебя подери, и это кое-что извиняет. Но что смыслит в стихах тупица Дуби с железными лапами и деревянным лбом!

– Что надо, то и смыслит, – вполне прелестным образом надулась Суламифь, и Шимон, глядя на неё, покачнулся, как будто его толкнули под коленки. «Влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви её... и запах от ноздрей твоих, как от яблоков». Лучше не придумать, не сказать: эти слова крепче камня, они устоят против времени, а камень растрескается, раскрошится... И вот какой-то тупой мерзавец издевается над ним, Шимоном, и его стихами, написанными этой девке.

– «Железные лапы»... – продолжала Суламифь. – Вот это ему понравится, потому что так на самом деле. Можно я ему скажу, что это я сама придумала? Ну, что – жалко тебе, что ли? А, Шимон?

– Можно, – не долго думал Шимон. – Купи!

– Почём? – озаботилась Суламифь.

– Стакан вина, – оценил Шимон.

– Договорились, – согласилась Суламифь. – Вон кувшин.

Кувшин стоял за топчаном, его тёмные бока были влажны. Шимон наклонил кувшин, и красная тугая струя ударила в дно

роговой кружки с серебряным пояском по бортику. Вино было отборное – сладкое и густое, оно пахло миррой и бросалось не в кишки, а в сердце.

– Из старых запасов? – покачивая вино в кружке, со значением спросил Шимон.

– Не все же такие пьяницы, как ты, – уклончиво сказала Суламифь. – Дуби вообще не пьёт... Стоит себе кувшин и стоит, как у порядочных людей.

– Кто это тебе сказал, как ведёт себя кувшин у порядочных людей... – снова наклоняя кувшин над кружкой, пробормотал Шимон. – И кто это – порядочные люди?... А?

– Пей, пей, – сказала Суламифь. – Злёкай. Ты прямо какой-то сумасшедший. Никакая порядочная девушка не пойдёт замуж за такого пьяницу.

– «Стоит и стоит...» – утирая губы, пробормотал Шимон. – Вино существует, чтоб его пить, а не чтоб онокисло под топчаном.

– Ну, иди, Шимон, – попросила Суламифь. – Не забудь попросить царя, как договорились.

Соломон был сумрачен, расхаживал по комнате, уперев руки в боки. В углу, в золотой клетке, сидел на жерди крупный попугай, размером с петуха – подарок чернокожего владыки отдалённой страны Офир. Попугай неприязненно покосился на вошедшего Шимона и, вздыбив пунцовый хохол, раззявил кривой чёрный клюв и пронзительно свистнул. Зная, что последует дальше, Шимон остался спокоен. Царь, не останавливая своего стремительного хода, дважды хлопнул в ладоши, а потом снова уставил руки в боки. Бесшумная служанка внесла на выпрошенных из-под глухой накидки руках медный поднос с вином, жареными голубями и оранжевой сладкой тыквой и, изогнувшись в пояс, поставила угощение на низкий столик.

А попугай, переступая чёрными ногами с крепкими пальцами, защёлкал клювом – «це-це-це-це!», показал противный горбатый язык и заорал скрипучим голосом: «Караул! Грабят бедную вдову!» Шимон заученно улыбнулся: он знал, что птицу ещё в стране Офир научили этой белиберде – зачем грабят? почему вдову? на что намёк? – и двусмысленная фраза вызвала дипломатический скандал.

Стоя против Шимона, царь молча глядел, как тот наливает вино в зеленоватый бокал хевронского стекла.

– Что там? – с нажимом спросил Соломон и, не отрывая глаз от Шимона, повелительно указал рукою вверх – в потолок, который был над ними, в небо, которое над потолком, и в Нечто, которое над небом. – Ответов бездна, я знаю, и каждый хорош, и все неверны. Ну, говори! – Рука его с тонкими пальцами миролюбца так и осталась поднятой.

Шимон молчал, потягивая вино и поглядывая на царя из-за ободка бокала.

– Все мы уйдём, – продолжал царь, опустив, наконец, руку. – Безумец этого не понимает, и в этом его удача. Ты, к чёрту, умный... Что нас ждёт?

– Игра, – сказал Шимон.

Царь легко снялся с места и снова зашагал, круто разворачиваясь у стен, словно бы сходу отталкиваясь от них. Шимон следил за ним, опустив плечи над столом, над вином.

Вино, не спеша думал и прикидывал Шимон, безоглядная душа винограда. Человек берёт виноградную душу взаймы и подменяет ею свою, подозрительную и каверзную. Адам с Евой тут, по соседству, безмятежно пьянствовали, наверно, до того самого часа, когда женщина потянулась за никчемным яблоком, нарушив тем самым завет из заветов: «Нельзя!» А почему нельзя? Гранат можно, смокву можно, а яблоко нельзя. Да потому. Потому что только безумец не признаёт ограничения своих желаний. Если всё разрешить, мир превратится в стаю безумцев. Царь знает об этом, хотя в горькой глубине своей души робко надеется, что он всё же – не один из всех. Ему и игра – там, где яблоко ещё не надкушено, – полагается не совсем такая, как другим. Ему полагается – иная.

Вот он ходит тут, мудрый царь Соломон, расхаживает от стены к стене. Точно так же он мечется меж каменными стенами построенного им Храма, прикидывая и так, и этак, когда же время их сожрёт или разрушит сильный враг. Экклезиаст уже написан, и царь знает от него, Шимона, что нет ничего нового на свете – а о том, что нет в мире ничего вечного, он догадывается сам. «Храм – во веки веков!» – звучит красиво, но это не стиль Шимона, это не он придумал. Нет ничего вечного под солнцем, и само солнце не вечно. Вечен лишь Бог, Бог игры. Но вот это: «О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дочь именитая! Округление бёдр твоих как ожерелье, дело рук искусного художника; живот твой – круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино; чрево твоё – ворох пшеницы, обставленный лилиями; два сосца твои, как два козлёнка, двойни серны» – это, если на то пошло, долговечней тёсаных камней Храма: меч не разрубит фразу, огонь слово не сожрёт.

Соломон знает это. Он не завидует Шимону – царю такое не по чину, разве что другому царю или, на худой конец, пророку. Правда, поэт и есть пророк, оба живут в одном заповедном пространстве, куда другим людям хода нет. Они одного древа плоды, дышат звёздным воздухом, который для царей ли, для рабов – погибель: грудь не выдержит. Их дорога – предвиденье, пища – озарение... Шимон усмехнулся: а питьё? – и потянулся за кубком.

Царь следил за ним, вздёрнув подбородок. Пьяница, забулдыга! Умница! Лучше всего было бы зарезать его где-нибудь в роще, ночью. А так живёт на свете ровня царю, и это несправедливо: царь лишь самому себе ровня, больше никому. Он, царь Соломон, построил жилище Бога, каменный Храм; но ведь

камень вода точит. А гуляка Шимон сочинил Песнь Песней – и это навсегда. Шимон, получается, не ровня царю – он больше, чем царь, и если сегодня никто не догадывается о тайном договоре между ним, Соломоном, и сочинителем Шимоном, завтра могут узнать. «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете». Это Соломон придумал и написал, так указано в тайном договоре, так должно остаться навечно. Но уж что не вечно в нашем мире – так это тайны: сегодня хранятся на дне крепкого ларя, а завтра отбили замок, откинули крышку... «Ловите нам лисиц, лисенят» – это Шимон про себя написал: он первый испортит его, царя, цветущий виноградник. Выпьет лишнюю кружку вина и пойдёт, испортит. И все будут потешаться над царём.

– У тебя есть дети? – близко подойдя, спросил Соломон. – Ты, кажется, говорил, что есть.

– Сын, дочь, – сказал Шимон. – Ещё одна была, но умерла в младенчестве следом за матерью.

– А что с теми, что уцелели? – продолжал спрашивать Соломон.

– У родни, в Хевроне, – сказал Шимон. – Зачем тебе, царь?

– Да так... – Соломон пожал плечами, повёл неопределённо рукой – получился овал. – Ты никогда не просил для них ничего. Надо было просить – ты же отец. Я бы дал, и это было бы справедливо.

– Справедливость – не тот конь, на котором скачут цари, – пробормотал Шимон. – Будущие поколения всё равно в это никогда не поверят... Но у меня есть к тебе просьба.

– Проси, – сказал Соломон. – Я выполню. – И ухо наставил.

– Оставь Суламифи то, что дал ей, – попросил Шимон.

– Она ждёт ребёнка? – живо спросил царь.

– Речь идёт о предметах неодушевлённых, – поправил Шимон. – Топчан. И шалаш, в котором топчан, и виноградник, в котором шалаш.

– Я и не думал отнимать, – досадливо проворчал Соломон. – Вот глупости!

– Хотя отнять было бы справедливо, – продолжал Шимон. – Но иногда стоит пойти против справедливости.

– Против? – глухо спросил царь. – А почему?

– Справедливость холодна, как нож, – казал Шимон. – Как нож, приставленный к горлу.

– Хорошо, – помолчав, сказал Соломон, а потом добавил: – Я уctu.

Наутро на тело Шимона наткнулся горшечник, ехавший со своим товаром на иерусалимский базар. Тело валялось на опушке оливковой рощицы, неподалёку от городских ворот. На шее Шимона был затянут шнурок отменной работы. Недолго подумав, горшечник распустил шнурок земляными пальцами, смотал его и спрятал за пазуху.

«ЗДРАВСТВУЙ, ЛИЗА!»

Парень плюхнулся на скамейку – то ли сел, то ли лег – лег, наверное, только спинка не дала удобно уместиться. Вытянул устало загорелые ноги, уставился перед собой немигающим взглядом, смотрел, но не видел – ясно было, что мыслями далеко. Лиза мельком глянула на него и уже не могла глаз отвести. Красивый парень, горбоносый, смуглый, шея стройная. Только стройных да горбоносых – вон их сколько, а у этого – глаза разные, один черный, другой зеленый, совсем как у того, в пленках.

«Спросить – не спросить? – заметалась мыслями Лиза. – Хотеню, что это я, совсем плохая стала. Тому, пожалуй, теперь далеко за сорок, а этот – совсем птенчик. Придет же такое в голову».

А вот придет и – поди ж ты, не уходит, да и все. Лиза и песню начинает мурлыкать, и прохожих разглядывать – кто на кого похож. Но та история, тот давний день неотступно стоит перед нею, будто и не было этих четырех с лишним десятков лет, будто вернулась она в то далёко и нужно снова принимать решение...

Когда-то давно Лиза была гречанкой. Правда, недолго. Было то еще до той, большой войны. Сначала она была просто Лизой, Лизанькой, Лизунькой – так папа называл. Потом, когда папа ушел на работу и не вернулся, мама отвела ее к большому серому дому, поцеловала в лоб у закрытой двери и сказала:

– Если спросят, не забудь, ты – гречанка.

Лиза даже не успела спросить, что это – «гречанка» и почему, а мама уже ушла. Та мама, первая, с синими глазами и рыжей косой, все ее дразнили, а папа расхаживал, скрипя сапогами, по паркету и напевал:

Люблю я женщин рыжих,
коварных и бесстыжих...

Спросили сразу, как вошла. Строгая, в сером костюме женщина подняла усталые глаза от стола с какими-то бумагами:

– Ты кто? Как зовут?

– Я Лиза. Лиза Ланд-д-д... – и заплакала горько.

– Так и запишем: Лиза Ландиди. Гречанка, наверное?

Лиза открыла было рот, чтоб объяснить, что она не Ландиди, а Ландман, но услышала про гречанку, вспомнила, что мама велела, и молча кивнула. Стала гречанкой. Ребята, конечно, дразнили гречкой, но не обидно, даже ласково – детдомовские дети, голодные.

Все это помнится смутно, тревожит редко, давно было, был-ем поросло. И как новая мама ее нашла, выбрала из двух десятков одичавших и голодных детдомовских девчонок в одинаковых

не по росту одежках – тоже как-то из памяти стерлось, помнится только острая тоска, когда все стояли, как на медосмотре, и боялись глаза поднять, и потом, когда она уходила с новой мамой в новый дом, а они все оставались.

И началась вторая жизнь, не последняя еще, последняя – это теперь, здесь, на скамейке, под беспощадным солнцем, обжигающим даже сквозь листву эвкалипта. А тогда – просто вторая, на первую не похожая, и слава Богу.

В новом доме говорили на идиш. Лиза все понимала – помнила там где-то, глубоко, а сама не сразу заговорила, пока еще язык развязался. Городок был маленький, зеленый, одноэтажный, дома – просто мазанки, поставленные вокруг больших городских дворов. А многоязычие завидное. Жила во дворе семья цыган – цивилизованных, городских, только песни пели таборные, очень красиво. Понимала их Лиза отлично. Про русский и украинский – говорить нечего, в школу ведь ходила, книги читала. А еще были люди, которых в городе называли армянами. Жили они большими семьями, по четыре поколения в одном доме, пристраивали и достраивали свои мазанки бесконечно, клеили кустарные галоши-чуни, да торговали на углах мороженым – ах, какое вкусное, Лиза в жизни больше такого не ела, между двумя хрустящими вафельками, желтенькое, душистое и восхитительно холодное. Варил мороженое дед Шай, продавала его с лотка тетка Лия, а их дочка красавица Ляля, сама уже мама многодетная, вела хозяйство. Поставит во дворе три кирпича буквой П, разведет между ними костер, на кирпичи – котел с водой. Как вода закипит – бросит туда полбарана, на куски порубленного, да жменью соли – вот и вся готовка. Детей было много, Лиза точно не помнит, сколько, и как варево немного остынет – каждый подходил и, запустив в котел не слишком чистую руку, выуживал себе кусок – вот и вся кормежка.

Мама спрашивала Лялю:

– Хорошо ли так? Вдруг маленький возьмет больше, а старшему не достанется?

– Так пусть не зевает, – сверкала антрацитовыми глазами Ляля.

Вот и вся педагогика. Лиза свободно говорила на их армянском. Греческого только слышать не пришлось.

И еще много было жизней – разных. И любовь была, а как же! Почему была? Она и есть. Пусть и недолгой была радость, рано ушел ее Гриша, и вот уже сколько лет, как не положить ей камешка на его могилу – далеко та могила, не достанешь. А он всё с нею. Нет, не он, ее любовь.

Не его теперь Лиза вспоминает, а свою любовь. Не его любит, а свою любовь. С нею и живет – не с воспоминаниями, с живым трепетом сердца, оттого и не блекнут старые глаза Лизы, все так же брызжут молодой синью, только рыжая коса совсем стала голубой и жидкой, да кто ее видит под платком... И дети были, как

же без них, раз была любовь. Четверо их было, один к одному, а только одна осталась, младшенькая, красавица Саша, кто теперь помнит, что красавица, сама уже бабушка, ходит тяжело и дышит шумно, укатала жизнь девоньку. А тем, другим, Лиза сама глаза закрыла. Не дай, Боже, ни другу, ни недругу узнать, как это – свое дитя в землю положить... Но жить надо. Хоть и стара Лиза, на ней дом, семья, куда они без нее.

Были у Лизы и еще дети – много: работала в детском доме, не том, где сама сиротство коротала, в другом. Дом малютки назывался, новорожденные там были. По первому годочку. Тогда и приключилась та история.

А было так. Городок, маленький и зеленый, знаменит был старинным парком. Стоял в парке каменный дом, в царские еще времена там был лицей, потом, при советах, – педагогический институт. А парк по-старому все звали Лицейским. Или еще Гоголевским – писатель Гоголь там когда-то учился. Парк был большой, запущенный, неухоженный, даром что знаменитый. Осенью кленовые листья укрывали его золотым ковром, дышалось там вольно. Только детям одним ходить туда было не велено, и Лиза своих не пускала, мало ли что... В глубине парка – старый пруд, весь зеленый, полный лягушек, к вечеру такой гвалт поднимали, не хуже чем в доме малютки. А над прудом – старые клены, дуплистые, скрипучие.

Как-то под вечер забрела туда Лиза, как раз осенью дело было. Тосковала она тогда сильно, года не прошло, как Гришу своего потеряла, никого видеть не хотела. Забрела, шурша листьями, к самому пруду, прислонилась к стволу клена, обняла его, сколько рук хватило, и замерла. Будто сил от него набиралась. Потом уже, много лет спустя, внук ей вычитал из журнала, что каждому человеку дерево служит, каждому другое – по дню рождения. Лиза своего не знала. Может, и вправду клен?

Сколько-то времени так простояла, и стало ей тревожно, будто зовут ее, бежать куда-то надо, а что случилось – поначалу даже не поняла. Прислушалась к себе – тихо, к миру – лягушки галдят, будто младенчик плачет. Да так похоже, что стала Лиза искать. И нашла-таки. В дупле, совсем от нее близко, нашла дитя в пеленках, крохотное, мокрое и голодное. Делать нечего, оставишь – погибнет. Домой Лиза возвращалась со своей находкой дворами да переулками – городок маленький, мало ли что подумают о молодой вдове. Не так уж беспокоилась, сразу решила – до утра дома оставит, а с рассветом – в дом малютки, что же делать, если родители отказались.

Зря только выбрала кружную дорогу. А может, и не зря. Может, это судьба дитяти так распорядилась.

В то время жили в городе две семьи из Польши – еврейские. Называли их по-разному – кто транзитниками, а кто почему-то польскими патриотами. Чудом уцелев в Варшавском гетто, они таким дальним путем добирались в Палестину, ждали визы уже чуть ли не год. В одной семье были отец и два взрослых сына, в

другой – муж и жена, совсем молоденькие, в гетто и поженились, без детей, да какие дети – их от ветра шатало. Вот их-то Лиза и встретила на своем пути к дому, а были немного знакомы, здоровались, забегали иногда – все же еврейское лицо, тогда все друг к другу тянулись. Удивились, чуть ли не поздравлять стали, без осуждения, по-доброму. Лиза им все рассказала, да и пошла своей дорогой.

Дома распеленала младенчика – мальчик. Здоровенький, крепкий, волосики черные, кольцами – первые еще, не выкатались. А глаза разные – не поймешь, что за цвет, но разные – один темнее, другой – совсем зеленый, даже чуть жутковато. Молочком напоила, стала купать – а тут стук в дверь. Открыла с опаской – ночь уже на дворе. А у порога та самая пара, польские патриоты, транзитники. Удивилась не очень, подумала, что хотят еще раз послушать, как дело было, посмотреть на спасенного малютку.

Но они с другим пришли.

– Ты только, Лиза, не говори сразу «нет». Ты подумай. Мы очень тебя просим. Ну что его ждет здесь? Посмотри хорошо, ведь он обрезан. Так весь век и будет жить на чужбине. А с нами что будет? Нам своих детей не дожидаться. Это точно. Пусть у ребенка будут родители. Мы будем его крепко любить, мы уже его любим. Пожалей ты нас и дитя пожалей. Мы все для него сделаем, вот увидишь.

Лиза улыбнулась. Подумалось – как это она увидит. Те сразу поняли:

– Увидишь, увидишь, рано или поздно у всех одна дорога. И у тебя. Приедешь – а он тебя встретит, уже большой. Скажет: «Здравствуй, Лиза!» и поведет в дом.

Не то чтобы она не устояла, она поверила. Поняла. Пришли к ней двое, а уходили втроем. Младенец чмокал во все, как ему и положено. А новоявленные родители светились счастьем. Пообещали, что назовут его Гришей. Не Гришей, Цви, но это все равно, Лиза знала. Взяли с нее клятву, что никому, ни под каким видом слова не скажет. А уж как уезжать – это их дело. Родился ребенок, и дело с концом, обратно его не затолкаешь. И виза новорожденному не нужна. А ему от силы месяц, может. И меньше.

Глаз не сомкнула Лиза за ночь, а под утро кто-то заколотил щеколдой в дверь. «Передумали», – подхватила Лиза, даже с радостью, беспокойно все же на душе было. Нет, не они, взбаламученная Ляля, армянка-соседка, с порога – и сразу на колени:

– Лиза, помоги, ой, помоги! – и руки заломила.

– Да что стряслось? Встань, говори толком.

– Каким толком, нет толка, беда! Зинка, знаешь, невестка моя, – полгода, как свадьбу сыграли, а три недели, как родила, – сбегала, подлая. Ночью сын прибегает. Сам не свой и записка в руках, а руки трясутся. «Читай, – говорит, – мама». Читаю: «Дитя не ищите, все равно не найдете, а я больше жить не согласная. Это не жизнь – чуни клеить, а другое нам заказано. Больше не хочу

плодить несчастных и сама не хочу. Прощайте все – вас много». Ну что ты скажешь, семнадцать лет сопливке, в загсе расписывать не хотели, пока живот на нос не полез, а она жить не хочет. Полночи искали, весь парк обшарили, ни следа. Помоги, Лиза, дитя мимо тебя не пронесут. Верни. Я выращу. Родная ведь кровь. Да и обрезан он по нашему обычаю, дед сам постарался, тайно. Кому нужен обрезанный, посмотрят – и тебе принесут. А ты верни, – и Лялька опять заломила руки, села на пол.

Лиза молчала. Смотрела, как из антрацитовых лялькиных глаз сыплются слезы. Сыплются. Как крупа из кулька. А видела умоляющие глаза Цили, той, что вечером стала матерью. Как быть? Сказать? Так ведь клятву дала. Да и Бог бы с ней, с клятвой, но ведь столько там было утрат – одни утраты. Еще их множить? Нет, не сказала. Пообещала вернуть, если найдется. Если...

Вскоре они и уехали. А Ляля долго еще печальной тенью ходила за Лизой, заглядывала в глаза.

Не одна жизнь с той поры миновала. Дочку вырастила и замуж отдала, внука растила и в армию провожала, а потом ночей не спала, пока вернулся. Вернулся. Слава Богу. Потом начались сборы. Боялась Лиза, и если бы не та давняя история, ни за что бы не поехала. Что уж на старости лет, где родился, там и сойдился. Только вот придет час – и глаза закрыть некому. Да и как не ехать, дети ведь, свои, не купленные. И на мальчика посмотреть очень хочется, на Гришу, на Цви. Услышать, как скажет «здравствуй, Лиза» и поведет в дом... Поехали.

Тут и преподнесла Лиза сюрприз своему семейству. До столбняка все удивились, когда на какой-то вопрос на иврите она, не задумываясь, на нем же и ответила. А больше всех удивилась сама Лиза:

– Что вы мне голову морочили – иврит, иврит? Они же по-армянски говорят, точно как наши соседи.

Долго потом эту историю всем рассказывали, никто не верил. Нашли земляка – подтвердил. Ассирийцы они, не армяне. Какими ветрами занесло это затерянное племя на Украину – может, кто и знает, но не Лиза. Подумать только, жизнь прожила рядом, а так ничего и не поняла...

И начались поиски Цви-Гриши, сына Цили и Берла. Внук в газету писал – никто не отзывался, дочь на радио звонила – молчат. Остается по улицам ходить да просить Бога сотворить чудо. Вот и бродит старая Лиза.

А тут этот парень с разными глазами – один черный, другой зеленый. Может, все же спросить? Лиза поднимается, ковыляет через аллею. Но парень уже весь устремлен куда-то в сторону, и Лиза, проследив взглядом, видит – в шортиках и маечке, как все девушки вокруг.

– Прости, Цвика, я опять опоздала, – улыбается девушка.

И они весело уходят с бульвара.

Наталья Горбаневская

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

(Париж, 2003)

* * *

И стоит на пути скала,
то ли ска́ла, то ли шкала,
то ли ценностей незыблемых мера,
то ли просто так, для примера.

И стоит на пути хребет,
то ли бед, а то ли побед
обещая, что мы добьемся,
если только мы живыми вернемся.

А чего ты сам на пути?
То ли жги, а то ли свети,
то ли режь, то ли ешь, то ли оземь падай
за засадой, заградой, отрадой.

* * *

Вот – и снова понесет
в автотранспорте общинном
по горам и по лощинам,
а потом наоборот,

а потом с размаху бух
в наскочившую запруду,
чтобы едущему люду
затаить в дыханьи дух

и до двух не досчитать,
а не говоря уж до ста,
чтобы все ныряли вдосталь –
сват и брат, и князь, и тать.

Чтоб оттаять и согреть
хлад, разлившийся по телу.
Чтобы к милому пределу
ближе было умереть.

1941

(из ненаписанных мемуаров)

пью за шар голубой
сколько лет и никак не упасть
за летучую страсть
не унять не умять не украсть
за воздушный прибой
над заливом приливом отлей
из стакана вина
не до дна догори не дотлей
кораблей ли за тот
что несется на всех парусах
юбилей но война
голубой или серенький том
не припомню не помню не вспом...

* * *

Милочка, бутылочка
с теплым молоком.
Будет бабке выволочка
с таким стишком.

С мордой умиленной,
тоись в самый раз,
зыркну над Миленою
глазом в Арзамас,

Баю-баю-баиньки
хрипло запою
на своей завалинке,
как солдат в раю.

* * *

Чего он ищет
как Иов на гноище?
Чего бежит,
как Вечный Жид?

Как вечный пахарь,
не знает он и страха ль

штормов и бурь?
Звезда во лбу ль

путь озаряет,
а страхи разоряет?
Беги ж, поколь
не посеешь покой.

* * *

Вот он, город Дом в Дордони,
на горе, как на ладони,
словно в горле и гортани
снизу речки клокотанье.

Мне на веки сон навейте,
чтобы помнить и во снах
этот дом, чужой навеки
как в аптеке на весах.

* * *

Итак, я выбираю риск
глядеть в палящий солнца диск.

Итак, я выбираю честь
эту пылающую жечь

себе на крышу натянуть,
огонь, как пыль, с нее стряхнуть

и лечь под неостывший кров
в полночь на среду, под Покров.

Юлий Ким

ОДНАЖДЫ МИХАЙЛОВ С КОВАЛЕМ

1

Земную жизнь пройдя до эпилога, Михайлов однажды очутился в сумрачном лесу. Стояло лето третьего года. Неделю тому, воротясь из Европы, Михайлов наутро беспощадно спросил себя: «Ну и что ты из всей Европы запомнил?» – и столь же беспощадно ответил: «Ничего. Разве только этот переливчатый парчовый звон, издаваемый швейцарскими коровами на альпийских склонах». (Они там пасутся, и у каждой на шее колокольчик величиной с ведро. Вблизи слушать эту жесть невозможно, но расстояние все преобразует. На этом основано искусство пуантилистов.)

Закрыв глаза, Михайлов попробовал вообразить пейзажи, на которые вслед за швейцарскими коровами ему действительно хотелось бы взглянуть, и, к его удивлению, вместо прерий и Монбланов полезли со всех сторон камчатские закаты, Красноярские Столбы, норильские тундры и река под названием Лужа – то есть сплошная Россия, и интуитивный порыв вынес его из-за стола на станцию железной дороги, электричка доставила в подмосковные какие-то дачи, он пошел, дачи кончились, и он очутился в сумрачном лесу.

Вокруг него сосновые стройные стволы, коряво-темные до талии и золотисто-гладкие выше, возносили к небесам свои сизо-голубые хвойные кроны, образуя тенистую колоннаду. Сумрак в ней был живой, сияющий и отдавал пионерским детством. Так и казалось, будто вдали между стволами вот-вот мелькнут велосипедные спицы и белые носочки. Электричка где-то за деревьями отстучала свою быструю пробежку – как стучала она полвека тому, когда он был студентом и прогуливался по лесу с ослепительно красивой Лялей. Сосны одобрительно осеняли михайловские воспоминания, и из его учительской памяти сами собой всплыли слова тургеневского героя: «Природа – это храм...»

На что другой тургеневский герой возразил:

– Природа – это мастерская, и человек в ней работник.

На что Михайлов примирительно ответил:

– А для художника природа и то и другое. Работая в ней как в мастерской, он тем самым превращает ее в храм искусства.

Тут из-за ближайшей сосны вышел Коваль и сказал:

– Совершенно с тобой согласен.

Ковалья уже восемь лет как не было на свете. И вдруг он выходит из-за сосны. И Михайлов не так уж этим потрясен, как будто если и не прямо ждал, то, по крайней мере, был всегда готов.

Одно время его действительно одолевало подозрение, что однажды они вдруг все выйдут из-за угла – и Коваль, и мама, и Борис Борисыч, и Гришка с Ильей, все-все, и встанут перед ним, ласково улыбаясь: «А? Здорово мы тебя разыграли?»

Тем не менее небольшой холодок все же по Михайлову пробежал и воплотился в вопросе: «Что – пора?»

– Михалыч! – Коваль весело округлил свои неотразимые глаза. – Ну ты прям меня обижаешь. Неужели же я похож на вестника горя? Или шестикрылого серафима? На Георгия Победоносца, не скрою, похож, тем более, мы с ним отдаленные тезки, но на этом сходство кончается. У нас с ним разные внутренние миры.

– Юра, не п...., – сказал Михайлов и тут же захлопнул рот ладошкой. Коваль участливо похлопал его по плечу:

– Ну, ничего, ничего. Согрешил, конечно, но ведь и спохватился. А с другой стороны, я ведь как мастер слова и не могу предложить тебе другого термина. «Не брешь»? «Не шути»? Нет, все не то. Так что слово тобою употреблено единственно возможное, а значит, греха на тебе нет. Это и есть решение проблемы употребимости мата в литературном языке. Фельдблюм когда еще открыл.

– А... – начал было Михайлов.

– Ну, конечно, увидишь, – перебил его Коваль. – Много кого увидишь, я так думаю. Ну, а что ж: Данту можно, а тебе пуркуа? Тем более, судя по твоим стихам, ты весь извелся, до того охота тебе повидаться. Как это:

Мне ль того не хотеть?

Мне ль о том не мечтать?

Скольких я проводил уже в землю сырую,

Не успев на земле слова толком сказать.

Ведь надеюсь еще!

Неужели впустую?

Это же вопль души!

– И мне, выходит, премия?

Коваль приобнял Михайлова и повел по тропинке:

– Да какая тебе разница, Михалыч? Тебе, что ль, мало меня повидать? Помнишь Гришкину любимую:

– Ты куда меня ведешь,

Такую молодую?

– На ту сторону реки,

Иди не разговаривай.

– А...

– Увидишь, я сказал.

Какого еще было рожна Михайлову? Да никакого. Раза два он сморгнул, тщето ожидая, что Коваль исчезнет или, наоборот, из-за сосен выступит еще кто-нибудь.

Но сосняк по-прежнему величественно возвышался, золотистый сумрак реял, а они шли по светлой тропе, распевая по своему обыкновению:

Эх, когда мне было лет семнадцать,
Ходил я в Грешнево гулять!..

– пока не блеснула перед ними тихая вода, а при ней мостки с пришвартованной к ним –

– Ну, конечно, – сказал догадливый Михайлов. – Ну, еще бы. Знаменитый «Одуванчик», самая легкая лодка в мире.

2

Да, это была она. И вы, читатель, если вы настоящий читатель, безусловно, узнали ее. Но если вы все-таки тот настоящий читатель, который каким-то образом, уж не знаю каким, умудрился пройти мимо и не прочесть эту вещь Ковалья, эту жемчужину русской прозы, то, чтобы стать окончательно настоящим читателем, подите и прочтите ее. Идите прямо сейчас, как гласит реклама рынка на Каширке.

Как Коваль среди зимы разыскал в глухих подвалах Сретенки эти давно забытые бамбуковые бревна. Как подмосковный мастер сотворил из них эту лодку, как поднял ее одной левой и бросил перед Ковалем на пол вверх дном – а затем прыгнул на нее и подпрыгнул несколько раз, а она только пружинила и подбрасывала прыгуна, как батут.

Маршруты, которые выписывал на ней Коваль, поддаются только его описанию. И то, что теперь предстояло Михайлову невероятное плавание на этом невероятном изделии вместе с его автором, шевельнуло в голове смутную догадку: уж не является ли о н ы й з а п о в е д н и к тем местом, которое определяется дурацкой формулой, извлеченной Губерманом из недр русского фольклора и звучащей, как шлепанье парного веника по жопе:

с б ы ч а м е ч т ?

Ведь одной из заветнейших мечт Михайлова была вполне достижимая фантазия погулять с Ковалем по его охотам и рыбалкам, похлопать по его водам в болотных ботфортах с мушкетерскими отворотами, поплевать на розового червяка, прежде чем отправить его в полет над темным зеркалом ому-та, куда он спикирует по тонкой дуге нейлоновой нити вместе с комочком свинца, оставив на поверхности сразу насторожившуюся фигурку бдительного поплавка. (Любил Михайлов красивые абзацы – и у других просмаковать, и самому учинить.) А по жизни – скатился он раз на плотках по реке Быстрой, что на Камчатке, где вся его рыбалка бесславно завершилась утоплением четырех чужих блесен.

Коваль же все время был гораздо ближе Камчатки, то есть буквально под рукой – и он ни разу его не достигнул. И все свои роскошные леса и озера, пустоши и урочища проходил Коваль без Михайлова, от чего нельзя сказать чтобы очень страдал. Чего о Михайлове, наоборот, никак не скажешь.

Страдал.

Хотя и не так чтобы очень.

И что ж такое мешает человеку достигнуть достижимого при горячей желаемости? «А чёрт его знает!» – как воскликнул президент Ельцин в ответ на вопрос, куда делись 500 миллионов, перечисленных в Чечню.

Но что же, в свою очередь, воскликнул Михайлов, увидя поблескивающие лаком бока заветного бамбука, легонько постукивающие о мостки?

– Коваль! – воскликнул он с пафосом. – Но это не «Лавр Георгиевич»! Где «Лавр Георгиевич», Коваль? Я не вижу его!

3

Настоящему читателю, дорогой читатель, незачем объяснять, что такое «Лавр Георгиевич», хотя неизвестно, известно ли ему, КТО такой Лавр Георгиевич? Конечно, если вы, читатель, еще и настоящий историк, то имя генерала Корнилова Л. Г. вам объяснит все, кроме одного: почему измышленный Ковалем фрегат носит это имя, так как известно совершенно точно, что, поименовывая судно, Коваль доблестного генерала в виду не имел, хотя безусловно был историком, так как окончил историко-филологический факультет и о генерале знал. Есть подозрение, что на Ковалю подействовала торжественная раскатистость этого словосочетания, величая античная двусмысленность имени и перекличка отчества с упомянутым уже Победоносцем и собственно с Ковалем. Так что, думается, если бы он захотел просто увековечить белого мятежника, то так бы фрегат и назвал: «Генерал Корнилов». (Согласитесь, что, прочитав на борту какого-либо лайнера «Александр Сергеевич», не станете же вы утверждать, что речь идет о Пушкине, и только о нем. Ибо, если все-таки станете, немедленно получите по носу: «Отчего же именно Пушкин? А Грибоедов, вы полагаете, не претендент? А в конце концов, Есенин-Вольпин чем не кандидатура?» Уж не будем говорить о варианте «Михаил Михайлович» – тут образовалась бы основательная очередь: артист Козаков, сатирики Зоценко и Жванецкий, советник Александра Первого Сперанский и целых два Задорнова, из которых один – вот наказание! – тоже сатирик.)

Таким образом, сурово вопрошая Ковалю о «Лавре Георгиевиче», Михайлов имел в виду известный вам, читатель, фрегат, и только фрегат, тот самый, на котором Коваль осваивал свой невероятный архипелаг под командованием незабвенного капитана по имени Суер-Вьер.

Да, уж если бы э т о имя украсило собой чей-то борт, никто в мире не усомнился, кто именно имеется в виду.

– Ты, Михалыч, даешь! – изумился Коваль, округляя неотразимые очи. – «Лавр Георгиевича» ему подавай! Может, еще и мадам Френкель вместе с ее одеялом? Данте Алигьери – ничего, пешком гуляли, без претензий, а тебе, вишь, «Одуванчика» мало.

– Да ладно тебе, – Михайлов уже умащивался в бамбуковой пироге. – Я что? Я ведь только спросил: где, мол, знаменитый фрегат, что-то я не вижу его в составе флота.

– «Лавр Георгича» ему... – продолжал ворчать Коваль, отпинаясь веслом от берега. – «Лавр Георгич», брат, на приколе пока.

– Что ж так? А Суер-Вьер?

– Сидят на бережку и ждут воплощения.

– Чего-о-о?

– Воплощения, чего... Мало ему моей нетленной лиры, он жаждет иных ипостасей... Да что ты, Михалыч, пристал? Увидишь...

– Но «Лавр-то Георгич» как же без капитана?

– Потому и на приколе. А вместо капитана – претенденты, блин. И первый претендент, блин – он, Бонапарт гребаный¹.

– Да кто же, кто?

– Кто-кто. Он. Генерал Корнилов.

И Коваль так сурово насупил брови, что Михайлов отложил свои расспросы до времени.

4

Меж тем «Одуванчик» легко бежал по водной глади, распуская из-под носа длинные усы. Берега были зелены и кудрявы. «Парковые леса», – сказал Михайлов со знанием дела, и в самом деле время от времени мелькала то белоснежная беседка, то вдруг распахивался зеленый склон, поднимающийся к красивому шале, из которого сыпалась к речке веселая гурьба с зонтиками и бадминтоном, призывно махая руками – но Коваль, сделав ручкой, продолжал править мимо, на все реплики Михайлова отвечая: «Потом, потом» или «Везде приставать – замучаешься концы отдавать». Он явно стремился к пункту первого своего графика. Вскоре, судя по тому, как он приосанился и несколько напрягся, Михайлов понял, что цель близка.

Сначала показалась белая ограда. Она состояла из мраморных столбиков, увенчанных небольшими мраморными бюстиками, каждый из которых увенчивался еще и небольшим веночком из лаврового листа, водившегося тут в изобилии. По приближении стало ясно, что бюстики на столбиках изобража-

¹ Коваль на самом деле выразился крепче.

ют различных мужчин, ничуть не похожих на римских императоров. Зато на причале во весь рост возвышались четыре мраморных атлета, также в венках и прикрытых в должном месте мраморным лопухом – они поддерживали красивый портик, на котором витиеватыми вензелями было обозначено:

Ю – И

Настроенный лавровыми героями на античный лад, Михайлов расшифровал:

ЮПИТЕР ИММОРТЕЛЬ

и вопросительно поглядел на Ковалю.

– Не торопись, Михалыч, не торопись, – терпеливо сказал Коваль. – Познавай неведомое по мере его поступления.

«Одуванчик» коснулся причала, немедленно вышел во всем белом строгий дежурный.

– Пароль?

– «Юрий Осич», – откликнулся Коваль и в свою очередь сухо осведомился: – Отзывает?

– «И только Юрий Осич», – отчеканил белый. – Здравствуйте, Юрий Осич. Кто это с вами?

– Это Михалыч, – тепло отрекомендовал Коваль своего друга.

– Как «Михалыч»? – переспросил белый с угрожающим сарказмом. – Может, он еще и Михаил?

– Юрийосич, дорогой, – заговорил Коваль, нагнетая гнев. – Что я, не знаю, кого сюда везть? Михайлов это, Михайлов! По должности обязан знать: он вашей конторе в свое время все глаза намозолил, а ты куда глядел? Смотри, смотри в заявку: «Михайлов, Ю. Че». То-то. А для друзей он «Михалыч», еще с института.

Белый молча поставил галочку в заявке, ошвартовал лодку, и друзья двинулись в открывшийся поселок. Белый шел следом, держась поодаль.

– Только имя позорит, – благодушно кивнул Коваль в его сторону. – Кагэбэшник херов. Небось, с Юрия Владимыча анкету не спрашивал? – вдруг ехидно вскричал он, оборотясь к тому. Тот криво ухмыльнулся. – Как же, как же, – продолжал Коваль. – Заезжал сюда начальник, заглядывал душегуб. Стихи читал. Он тут расписался – не унять. Прямо какое-то стихонедержание. Содержание соответственно – моча мочой, но присутствовали все. Все ж таки что ни говори... – тут Коваль вложил в короткую паузу огромный монолог, но озвучил лишь последнюю фразу: – ...Андропов есть Андропов.

Они шли по улице, со всех сторон высывались приветливые физиономии, и то и дело раздавалось:

– Юрийосич, привет!

– Доброго здоровья, Юрийосич!

Даже послышалось:

– Юриосич, ма нишма?²

На что Коваль отвечал небрежно:

– Беседер, беседер.³

Вдруг посреди дороги Михайлов хлопнул себя по лбу:

– А я-то! Я-то! Ха! «Юпитер Иммортель»! это же поселок имени тебя! «Ю-И» – Юрий Иосич, да? Ну, Коваль, ты даешь!

– Догадлив ты, брат, – хмыкнул Коваль, – Да не совсем. Не «Юрий Осич», а «Юриосичи». Нормальное русское наименование. Барановичи, Сухиничи, Высокинич... А у нас – Юриосичи. Все до одного, включая основоположников. На причале четырех голых мужиков заметил? Распознал? Ну хотя бы меня?

– Лавровые венки меня сбили, – смутился Михайлов. – Все-таки они очень искажают человеческие черты.

– По крайней мере, в лучшую сторону, – заметил Коваль. – Лицо становится благородным до неузнаваемости. А ведь там рядом со мной еще и Визбор, и Домбровский, и Коринец.

– Юриосичи! Действительно! Все до одного! – неизвестно чему обрадовался Михайлов.

– Ну! – обрадовался и Коваль. – Ты меня понимаешь? Я когда еще их хотел собрать, и вот только теперь.

– И только четырех?

– В своем кругу больше ни хрена не нашлось, – опечалился Коваль. – Юриев этих – как грязи, Иосичей тоже хоть жопой ешь, но чтоб одновременно – только они, то есть мы. Собрались, провозгласили, выпили – а наутро этих юриосичей набежало! То есть я даже возгордился, сколько их оказалось в наших рядах. Без говна, конечно, тоже, как ты заметил, не обошлось, но в основном народ приличный.

– Может, следовало ограничиться одними писательскими юриосичами во избежание говна?

– Но тогда кто ж бы все это построил? – горячо возразил Коваль, и в голосе его прозвучала историческая неизбежность говенного процента в каждом благородном деле.

– А кроме «Юриосичей»? «Иван Ивановичи», например, с графом Михельсоном во главе? Или «Юрьлексеичи» с Гагариным?

– Только «Михал Михалычи» – больше плагиаторов не нашлось. Только эти. Целый городище, даже ипподром свой. Не любим мы их, – поморщился Коваль.

– Единственный порядочный человек – Зощенко, дядя Миша. А так... Мало того что идею сперли, еще и форс давят, дешевки – ничего, футбол покажет, ху из где. Футбол все расставит по надлежащей табели. Можете говорить что угодно, а футбол – он не говорит, он утверждает.

– Так у вас сегодня, что ль, решающая с Михалмихалычами?

– Нет, главные сражения впереди, – важно сказал Коваль. – Михалмихалычей голыми зубами не возьмешь. Так что сегодня

² Ма нишма? (иврит) – Как дела? (буквально – «Чего слышать?»)

³ Беседер (иврит) – Хорошо (буквально – «В порядке»)

товарищеская встреча. Так сказать, для разминки в свете предстоящих боев. С нашей стороны выступают основоположники.

– И Визбор, значит?

– И Домбровский, и Коринец.

– А против вас кто?

– Михал Евграфычи, – сказал Коваль, пряча смущение. – Их, признаться, еле-еле набралось для игры. Но ведь встреча-то товарищеская, очков считать не надо. С другой стороны, капитан у них – это какой-то самум. Опровергает все хрестоматийные представления. Ну что мы о нем знаем? «Карась-идеалист»... «Премудрый пескарь»... «жил-дрожал, умирал-дрожал...» А тут! Все бы так дрожали.

Разговаривая так, они пришли на стадион, который кипел в ожидании. Юриосичи всех возрастов и калибров просто кишели кишмя.

И Михайлов увидел футбол своей мечты.

5

Это был вольный футбол. Юриосичи играли впятером против одиннадцати. Основоположники поставили на воротах давешнего в белом чекиста, полагая, что именно здесь и найдет себе наилучшее применение его профессиональная бдительность, а от остальных полевых отказались, чтобы соблюсти чистоту легендарного квартета. Кроме того соперник заслуживал форы: он представлял собою то, что называется с бору по сосенке, и, кроме капитана, опасений никто из них не вызывал. Главный же Михал Евграфыч, выдающийся русский сатирик и вятский вице-губернатор, с лицом, изборожденным страстями, и взором, пронизывающим насквозь – вот он, да, он опасения внушал, и они подтвердились.

Никогда ни на одном чемпионате Михайлов не видел такой игры, какую показала четверка Юриосичей – основоположников одноименного поселка. Вот еще раз их имена.

Домбровский – быстрый и резкий, он больше остальных был нацелен на результат, и завершающая стадия, как правило, отдавалась ему. Для него любое положение было ударным. Подкаты под него всегда поражали воздух и часто заканчивались вывихом щиколотки. Он бил с обеих ног, как Джеймс Бонд стреляет с двух рук. Поджарый и стремительный, он пронизывал двойные кордоны, как нечего делать, его умные иронические глазки зажигались беспощадным холодом – сказывалась зэчья порода – и, продолжая бешеный выстрел бутсы, мяч улетал по пологой дуге якобы в сторону от ворот, коварно выкручивался на снижении и торжествующе впивался в дальний от вратаря угол.

Зато Коринец, маленький, лысый, с короткими ворошиловскими усиками под носом – скромный детский писатель и незаурядный боец по питейной части – он казался очевидной брешью в сверкающем квартете основоположников, и в нее охотно

устремлялось вражеское нападение, что было роковой ошибкой, так как ему не было равных в отборе мяча. Равно как и в приеме. С какой бы силой ни был запущен снаряд, Коринец снимал его мыском бутсы с самой замысловатой траектории, с тем изяществом, с каким снимают пылинку с плеча – лишь бы можно было достать ногой. А достать он мог всегда, так как с непостижимой интуицией неизменно оказывался в той именно точке, через которую проходил полет мяча. Перемещения которого он просчитывал, как на бильярде, и иной раз совершенно обескураживал публику, когда внезапно принимался бежать ни с того ни с сего на юго-восток, пока борьба кипела на севере, но через три касания мяч оказывался у него на мыске, а дальше оставалось отпасовать его Визбору.

Визбор и в футболе стоял на распасе – как обыкновенно стоял в волейболе. Он ухитрялся видеть поле сразу во всех измерениях. Броуновское движение мотающихся по стадиону игроков представлялось хаотичным кому угодно, только не ему. Необъяснимыми передвижениями меняя ритм и угол, Визбор выписывал хитроумные узоры (например, петлю Мебиуса), то угрожая рывком, то пятясь вглубь обороны – дожидаясь расположения фигур, оптимального для гениального паса. Причем это мог быть совершенно невинный отсыл пяткой тому же Коринцу, но эта невинность мгновенно оборачивалась неотразимой атакой – подобно тому незаметному движению пешкой на 18-ом ходу в известной партии Каспарова с Анандом, которая через три хода закончилась полным разгромом последнего.

А как виртуозно он водился! Давно уже, давно замечено, что дриблинг – родной брат горным лыжам (его любимым). Когда Визбор разогревался, следовал просто какой-то каскад двойных флинтов, боковых батманов и обратных восьмерок. Половина стадиона приходила, только чтобы взглянуть на это чудо (и он об этом знал). Дождавшись, когда противник окончательно привыкнет к нему как к распасовщику, Визбор выдавал свое коронное соло из глубины обороны, чуть ли не от ворот – иначе как гигантским слаломом это не назовешь – и завершал проход роскошным рикошетом от штанги прямо в ноги набегающему Домбровскому.

Но, конечно, звездой, капитаном, духом четверки был Коваль, который, подобно своему когда-то трехлетнему Алешке, умудрялся быть одновременно везде. Ибо им двигало коренное свойство русского интеллигента, а именно: ответственность за все. Полностью и абсолютно полагаясь на каждого солиста своего ансамбля, Юриосич № 1 тем не менее обслуживал каждого из них, то есть максимально облегчал им обслуживание его самого. Все-таки выступать вчетвером против одиннадцати – не шутка. Поэтому Коваль старался один за недостающих шестерых и то и дело пасовал сам себе. Сумма его единоборств и ударов по мячу за один матч равнялась сумме всех остальных. При этом он оставался самым неприкасаемым,

ибо, как показала статистика, 90% времени он проводил в воздухе, что гарантировало ему легкий уход от жестких контактов.

Вот кто управлял общей тактикой сражения. «Фигура девятая!», – объявлял он в начале очередной атаки, и на поле разворачивалось действие, где *largo* и *allegro* чередовались с *adagio* и *allegro vivace*. Нарочитая аритмия доводила соперника иной раз до того, что они просто останавливались. Все до одного.

Кроме капитана. Великий сатирик отнесся к матчу, как к битве за Брестскую крепость, то есть дрался до последнего патрона, заведомо зная, что проигрывает. Честь и достоинство Михал Евграфычей взывали к подвигу. Слабость техники он с лихвой возмещал усердием, и там, где даже молниеносный Коваль делал шаг, он делал три, что временами выносило его за пределы поля. Неудержимость и упорство сверкали в его трагических глазах, и был момент, когда Коринец, случайно встретясь взорами, обомлел, и Евграфыч пронесся беспрепятственно – так что лениво бездельничавший голкипер прекратил щелкать семечки и начал было старательно растопыриваться, подобно крабу, стремясь заполнить зеркало ворот – но тут сбоку налетел Коваль и, видя, что не достигает врага, внезапно гаркнул во все горло:

– А знаешь ли ты, что такое добродетель??!!⁴

Сделав по инерции несколько шагов, классик остановился и, взглянув на Ковалья с какой-то смущенной благодарностью, побежал назад, качая головой. Откуда ему было знать, что Коваль целый год преподавал русскую литературу в Татарии.

Дело шло к перерыву. Юриосичи заколотили уже четыре безответных, и Коваль протрубил:

– Фигура шестнадцатая!

Коринец концом бутсы снял с воздуха посланный ему мяч, коротко адресовал его Визбору, тот дождался Домбровского с Ковалем, и вот, растянувшись небольшой цепочкой в четыре звена, они, не спеша, перепасовываясь, побежали к штрафной площадке Евграфычей, где, оставив мяч в ногах классика, дружно разбежались, заранее аплодируя в ритме «Спар-так – чем-пи-он!»

Главный Евграфыч, развевая бородой, ринулся вперед и, не встречая преград, разбежался так, что влетел в ворота Юриосичей раньше мяча, который следом даже не вкатился – вошел пешком. Бдительный голкипер, согласно «фигуре шестнадцатая» закрыл лицо ладонями, изображая отчаяние.

Тотчас же и прозвучал свисток к перерыву. Квартет великих Юриосичей, положив руки на плечи друг другу, исполнил первые двадцать тактов М. Теодоракиса «Сиртаки». Стадион взвыл и унес их на руках в раздевалку.

(Второй тайм был отменен. Во-первых, за явным преимуществом хозяев. Во-вторых – совершенно в стиле Ковалья! – прокравшийся в раздевалку Евграфычей лоцман Кацман похитил дефис, соединяющий обе части фамилии капитана, и Салтыко-

⁴ См. Салтыков-Щедрин «Карась-идеалист».

ва с Щедриным мгновенно разнесло в разные стороны. Таким образом Евграфычей стало двенадцать, а это было вопиющее нарушение правил, равносильное пребыванию на поле одновременно двух мячей.)

6

Румяные от радости, выбежали из раздевалки Коваль с Визбором, оставив Коринца с Домбровским на дружеское растерзание восторженному населению.

– А поворотись-ка, сынку! – сказал Визбор, остановившись перед Михайловым и смеющимися глазами оглядывая его ладную фигуру. – Добре, добре. Ну, здорово, старик (они обнялись), хорошо выглядишь.

– Ты тоже ничего.

– А здесь все хорошо выглядят. Нет причин выглядеть нехорошо.

– И даже, к примеру, Иосиф Виссарионович?

– Он – да, он выглядит, – засмеялся Визбор, – Вот увидишь. Поехали.

Они прыгнули на «Одуванчик», и бамбуковый снаряд стремительно полетел вдоль кудрявых берегов.

– Ну-ка, ну-ка, – прищурился Визбор. – Прочти-ка нам, провидец, что ты там себе навоображал о здешней жизни. Какие-то концерты мы тут себе устраиваем?

– Уж они себе навоображают, – сварливо подхватил Коваль. – Иногда становится просто стыдно, до чего утилитарно ихнее воображение. И не просто утилитарно, а я бы сказал, в высшей степени неконгруэнтно! Неконгруэнтно, и хоть ты что!

– Ладно, Коваль, не доводи до абсурда, – улыбнулся Визбор. – Причем тут конгруэнтно – неконгруэнтно. Прямо как маленький. Услышит чудное слово, запихнет его себе за щеку и обкатывает, как леденец, и все равно ему, корвалол это или Корвалан, лишь бы во рту каталось.

– Да знаешь ли ты, что такое добродетель?! – внезапно рявкнул Коваль и сам же заржал. – Давай, Михалыч, читай, разворачивай свою панораму, где для всех нашлось у тебя место, кроме меня. Но я не взыскую.

– Да уж, Юр, не взыщи уж, – смутился Михайлов. – Да я вставляю, вставляю. Я туда и так помаленьку вставляю.

– Что ж, – важно сказал Коваль. – Жизнь есть жизнь. Она всегда вносит свои корректуры.

– Коррективы, ты хочешь сказать, – машинально поправил его Михайлов, будучи неисправимым школьным учителем, и начал чтение:

Ведь это невозможно
Представить и в мечтах,
Какой концерт, ребята,
Идет на небесах!

Какие там гитары
Сегодня собрались!
А кто сидит в партере,
По-братски обнявшись!

Лексан Сергеич Пушкин
С Самойловым сидят,
И тот ему толкует,
Кто Галич,
Кто Булат.

(Недавно А. Володин,
Точнее – Шура Лифшиц
Явился среди них
И создал обстановку,
Слегка подсуетившись,
Беседы на троих).

Иосиф Алексаныч,
Без устали куря,
Кричит: «Эй, Женька! Клячкин!
Пой – только не меня!

В моих стихах свой мелос,
Тебе его не спеть!
Недаром Сашка Кушнер
Не может вас терпеть!»

Сергей же Алексаныч,
Наклюкавшись опять,
Все рвется за кулисы
Володю повидать.

Влача с собой за руку
Красавицу Дункан,
Буян на всю округу
Грохочет, как вулкан:

– Проведите!
Проведите меня к нему!
Я хочу видеть
Этого
Человека!

А Юрий Осич Визбор
Спел «Милую мою»
И вышел просвежиться
У неба на краю

(Мартынова с Дантесом
слегка пихнув плечом,
которым вход на праздник
вовсе запрещен).
Глядит на нас оттуда
Наш славный капитан

И говорит негромко:

– Ребят!

Ну?

Где вы там?

– Мы скоро, Юрий Осич!

Потерпишь, не беда.

Там – петь мы будем вечно,

А здесь – еще когда...

– Да-а... – протянул Коваль. – Конечно, сама по себе попытка похвальна...

– Да вставлю я тебя, вставлю!

– Да что «вставлю, вставлю»! скажи ему, Визбор.

– Ну, насчет концерта ты угадал, – начал Визбор. – Это мы – да, любим. Попеть, послушать. Но, конечно, общий жанр... класс подготовки... уровень репрезентативности... В общем, земной ты описал концерт, старик, самый обычный земной. Замени ты Лексан Сергеича на Лексан Трифоновича – все. Практически концерт в ЦДЛ. А про Дантеса с Мартыновым – вообще лажа полная. Этот уголок юмора у тебя – для стенгазеты, а не для панорамы. Между прочим, знаешь, как начинается здесь утро у Мартынова? (Визбор понизил голос). К нему приходит Лермонтов, бросается в ноги и говорит, – так сказать, поникнув гордой головой: «Прости, брат, меня, окаянного. Бес попутал толкнуть тебя на братоубийство. Не твое преступление – мое». Тот полчаса его с колен поднять не может.

– Да неужто и Александр Сергеич вот так же перед Жоржем?

– Александр Сергеич, когда речь заходит, только смотрит себе на руку, качает головой да приговаривает: «Надо же! А ведь мог и попасть».

– Жалеем или радуется?

– Одновременно, – сказал Визбор и соскочил на берег. – Ну, старик, будь покамест. Ни за что не догадаешься, чем я сейчас занимаюсь. Хотя, учитывая особенности времени и места...

– Ну, ладно, не томи.

– Лиру осваиваю, старик. Распальцовка, постановка кисти, баре ладонью, скользящее туше – ну, все, все совсем другое. Зато звук – это только Берковский поймет, какой у лиры звук.

И, махнув рукой, Визбор скрылся в парковой зелени.

«Одуванчик» же полетел дальше и вскоре влетел в широкую лагуну, на зеркале которой величественно покоился знаменитый фрегат «Лавр Георгиевич».

«Темный крепдешин ночи...» – так это начинается у Ковалю. Стало быть, в нашем случае – сияющий муар полдня окатывал нежную плоть реки. Звон форштевня напоминал о мудрости парусов, покрытых заслуженными шрамами натруженных за-

плат. Ничего живого не наблюдалось на баках, фоках и ютах легендарной палубы. Только на причале колготились двое в форме, находясь в очевидной конфронтации: сухопутный на-скакивал на флотского. В первом сразу была видна военная жилка, как и во втором – боевая струнка.

– Претенденты, – презрительно шепнул Коваль, приближаясь на расстояние слышимости диалога.

– Чем? Чем вы докажете, что кроме меня есть еще хоть один Лавр Георгиевич? – горячился сухопутный. Флотский же невозмутимо отзывался:

– Пожалуйста. Японского микадо также именуют: Лавр Георгиевич.

Секунду побыв в столбняке, сухопутный нашелся:

– Вот вы и обремизились, ваше превосходительство! Попали пальцем в небеса-с! Ежели бы это был японский микадо, то он именовался бы Лавр Георгиевич-сан. Сан-с!

– Ну, хорошо, хорошо. Войнович Лавр Георгиевич, сербский князь, 16-й век – вас устроит? Пра-пра-прадед известного литератора, надеюсь, слышали, а то, может, и читали.

– Нет! – взревел сухопутный. – Не слышал и не желаю! Не было Войновича! Не было князя!

– Может, еще и литератора такого нет?

– Черта мне ваш литератор! Осквернитель армии! Был бы жив, как вы говорите, его пра-пра, уж он бы его под шпицрутены!

– Ага, стало быть, вы признаете...

– Да чем вы докажете....

– А вот это теперь уже ваша очередь доказывать, генерал, – твердо прервал его флотский. – Что ни говорите, а в имени главное дело фамилия. Вот, например, ходит судно «Академик Мстислав Келдыш» – никто и не сомневается, что за Мстислав. Хотя я бы вешал на нее за такие штучки. Название судна не должно состоять более чем из двух слов, иначе это не корабль, а объявление.

– Следовательно, – вкрадчиво запел генерал, – сочетание «Генерал Корнилов» у вас возражений не вызвало бы?

– Ни малейших, – отчеканил флотский. – Вот! Совсем другое дело. Кто же не знает генерала Корнилова, героя гражданской войны? А мало ли на свете Лавров Георгиевичей!

– Се манифик! – возликовал генерал. – Я так и поступлю! Как только я возглавлю этот флагман, прикажу не мешкая срубить с бортов «Лавра» и припать «Генерала Корнилова». Согласен! Действительно: «Лавргеоргиевич» – это же словно гармонь разворачивают. А тут: равняйся! Смирно! «Генерал Корнилов!» – труба! Фанфары! Шашки к бою!

– Но, господа, согласитесь, – победно улыбаясь, начал флотский, включая уже и Ковалья с Михайловым в круг своей аудитории, – какой же уважающий себя флотоводец позволит присвоить фла г м а н у имя сухопутного, пусть даже и прославленного, армейца? Сочетаются ли благородные обводы и

изумительные шпангоуты этого фрегата со словами, допустим, «Полковник Звонарев»? Нет! Уж лучше пусть «Матрос Кошка» или даже «Билли Бонс», но чтоб непременно кто-нибудь водоплавающий! А раз так, не проще ли вместо «Генерал Корнилов» проставить «Адмирал» и тем решить проблему? Ибо «Адмирал Корнилов» ни в каких доказательствах не нуждается, ибо он перед вами!

И, сверкнув очами, незабвенный севастопольский и наваринский герой – а это, понятное дело, был он, собственной персоной – стал подниматься по трапу на борт, недвусмысленно имея в виду возложить руки на штурвал. Сухопутный же его однофамилец, в изумлении от поворота событий, спотыкаясь саблей о ступеньки, поспешил следом – но тут возвысил голос Коваль.

– Господа! – и в голосе его прозвучало нечто такое, что заставило бы остановиться даже Суворова Александра Васильевича в момент его перехода через Сен-Готард. – Не кажется ли вам, что есть еще одно имя, заслуживающее вашего обсуждения?

– Что еще за имя? – недовольно заскрипел генерал, а адмирал вежливо осведомился:

– Вы, вероятно, имеете в виду себя? Что ж, если у вас есть на то основания...

– Капитан Суер-Выер, вот кого я имею в виду! – загремел Коваль. – Руководителя и командира! Это пока что е г о фрегат!

– Но ведь Суер-Выер, как известно, ждет своего воплощения, – возразил адмирал, – и это уже длится годами.

– Да! – непоколебимо согласился Коваль. – Это так. Лучшие московские театры соперничают между собой за право его воплощения. И я теряюсь в догадках: что, кроме взаимной интеллигентности, удерживает их от благородного дела? Поставили же княгине Ольге в Пскове одновременно два памятника. А уж Суеру-то Выеру... он по крайней мере никаких древлян не жег.

– А кто против? – вскричал генерал, уже как бы и от имени адмирала. – Да хоть бы и сжег! Пусть себе воплощается. Фрегат-то причем?

– Ваше превосходительство, – с непередаваемой иронией обратился к нему Коваль, тактически безошибочно отделяя его от адмирала. – Ну что вы, в самом деле. Дался вам этот фрегат. Возьмите себе бронепоезд – он вам присущ. По его бортам вы сможете расписать не только свою фамилию-имя-отчество полностью, но и должность и звание, и кавалерство всех своих орденов! А вам, Владимир Алексеич, неужели вам я должен объяснять, что воплощать капитана без его корабля все равно что Дон-Кихота без Россинанта, Салтыкова без Щедрина, да хотя бы вас без Малахова кургана! Фрегат «Лавр Георгиевич», господа, ожидает своего воплощения вместе со своим капитаном. Хотя последний в настоящий момент проводит свое ожидание в таверне.

Утомленные неопровержимой правотой, оба высших офицера, не глядя ни на Ковалю, ни друг на друга, спустились по трапу на причал и направились каждый к своей карете.

— А что касается славного имени, — кричал им вслед развебившийся Коваль, — то не волнуйтесь: будет вам Корнилов у штурвала! Еще какой Корнилов — с бородой и усами. Тоже между прочим Володя! Замечательный поэт, рекомендую! Уж я упрошу капитана пригласить его поплавать: нехай порулит на досуге. Пока вы будете читать его замечательные стихи!

8

«Одуванчик», распустив водяные усы, неся по зеркалу вод к далекому белому, как показалось Михайлову, городу, но который, приближаясь, понемногу оказывался одним, но весьма прихотливо разбросанным зданием, с массой флигелей, фольварков, кордегардий и антресолей, но все-таки единым полиморфным архитектурным, преимущественно белым с оттяжкой в охру и многочисленными цветными вкраплениями, вроде алой черепицы, витражей и синих зеркальных стекол. Силуэт же крыши, усеянной башенками и флюгерами, напоминал кардиограмму П. И. Чайковского в момент исполнения им 2-го концерта Рахманинова.

— Здесь есть много мест, Михалыч, — значительно сказал Коваль. — Как сам ты понимаешь — бесконечно много, но это — наше особо любимое, и если уж куда везти дорогого гостя, то первым делом сюда.

— Какой удивительный архитектурный! — сказал Михайлов. — И ведь что интересно: кажется, это город, а на самом деле единое здание.

— Но величиной с небольшой город, — продолжал Коваль, — и со всеми его атрибутами, включая цирк, бани и висающие сады. Экскурсия наша, Михалыч, будет, конечно, поверхностной, как всякая экскурсия, но уж не обессудь.

— Да ты что! И на том спасибо, не знаю как и выразить, — забормотал Михайлов и заткнулся, боясь неловким словом спугнуть, как говорится, птицу счастья.

— Мы-то его кличем «Русский клуб», — пояснял Коваль, — потому что он и есть русский клуб, хотя, разумеется, сюда заходят все, кому не лень сюда заходить. А таких, я скажу тебе, немало. Ибо «Русский клуб», как никакой другой, славится своим трепом. Даже у французов такого нет. Разве что англичане несколько приблизились к эталону. Треп у нас многослойный, первоклассный и круглосуточный. Не следует путать его с трепаниями. Их, как известно, два: трепание льна и трепание теплых щенков. Второе трепание открыто и описано автором этих слов и имеет место в специально отведенном вольере⁵. Что касается льна, то его трепание, кажись, входит в про-

⁵ Гордость, с какой об этом было сказано, сравнима только со скромностью, ее при этом оттенявшей.

грамму местной аэробики и происходит под «Лявониху». При желании можешь взглянуть, но не сейчас, не сейчас.

– А сейчас? – заикнулся Михайлов.

– А тебе невдомек? Куда я могу повести старого друга с дороги после утомительного футбольного матча и трудного плавания по незнакомым водам? О! – вскричал вдруг Коваль, выходя на зеленую лужайку внутреннего дворика. – Не хочешь ли слегка размяться перед испытанием наслаждением?

На лужайке располагался аттракцион «Городки», и вокруг было множество зевак и охотников. Распоряжался процессом долговязый красавец с седой волной, шедшей справа налево по благородному лбу, и ироническими глазами. Он командовал выставлением фигур на городошных полях.

– «Бабушка в окошке!» – возглашал красавец своим прекрасным баритоном, и в ту же минуту на передней черте возникло резное окошко, а в нем смущенная бабушка. – Прошу!

Следующий по очереди игрок прикинул увесистую биту. Однако цель его озадачила. Он замялся.

– Как бабушку-то звать? – зачем-то спросил он.

Красавец исполнился презрения.

– Пора бы знать русскую литературу, находясь среди ее первоисточников, – холодно произнес он. – Известных бабушек мы в наших окошках не держим. Либо узнавайте бабушку, либо уступите очередь более просвещенным.

– Веня! – заорал Коваль. – Имей совесть! Что ж ты Арину Родионовну под биту ставишь? У кого же на нее рука поднимется?

– Я так думаю, что цель должна быть достойна соискателя. О! – воскликнул Веня, признав гостя. – Добро пожаловать. Не угодно ли, господин Михайлов? Гостям вне очереди. Будьте любезны, Арина Родионовна ждет.

– Венедикт Васильич, – задушевно сказал Михайлов. – Не омрачай радость встречи. Не прикидывайся циником больше, чем ты есть на самом деле. Помнишь, когда кончилось курево, мы с тобой перевернули все уличные урны в окрестностях Флотской улицы, пока нашли десяток почти целых бычков? В этом было гораздо меньше цинизма, чем романтики, как сказал поздний Розанов раннему Набокову. Заменяй бабушку, Веня. Посади у окошка мадам Брешко-Брешковскую. Будучи незнаком, я высажу ее с одного удара.

– Что-то я не помню у Розанова подобной пошлости, – хмыкнул Ерофеев. – «Бабушку в окошке» я, так и быть, уберу. Без должной практики ты, пожалуй, промажешь, а это она сочла бы оскорблением для себя. Пожалуй, выставлю-ка я «Заседание Государственного Совета». Его все вышибают без подготовки.

– Веня, мы торопимся, – Коваль перехватил биту у Михайлова. – Забежали поздороваться, и айда. Давай-ка мою любимую. Да мы и пойдем.

– В таком случае «Иван Грозный убивает своего сына!» – провозгласил Веня, и на городошном поле мгновенно воздвиг-

глась Грановитая палата в озарении шандалов, по ней заметался в золотом кафтане несчастный царевич. А из мрачной глубины в черной рясе, вытаращив налитые кровью буркалы, двинулся безумный вурдалак, его папаша, сжимая в кулаке остроконечный жезл, – но тут, вращаясь, как винт геликоптера, налетела на него бита, пущенная Ковалем, злобный старик рухнул на руки сына, и оба вылетели за границы видимости вместе с Грановитой палатой.

– Славный удар, – оценил Ерофеев. – Что значит лицепрятное отношение. Я точно так же выметаю «Выступление В. И. Ленина на заводе Михельсона», не дожидаясь выстрела бедной Фанни. Ну, заходите, как помоеетесь, – помахал он рукой, – хотя, конечно, кто же после бани ходит на городки?

– Вот, стало быть, куда ты ведешь старого друга после утомительного плавания, – обрадовался Михайлов.

– Я так подумал, это будет грамотно, – с достоинством отвечал Коваль, и они очутились в мраморном вестибюле, как и положено.

9

– Сандуны Экстра-Супер? – попытался Михайлов дать определение.

– Не торопись, Михалыч, – снисходительно сказал Коваль. – «Сандуны...» Что ты все торопишься... Начнем с музыки. Ну-ка, вспомни что-нибудь подходящее к случаю.

– Э-э... уточни, пожалуйста, – растерялся Михайлов.

– Какая тебе мерещится музыка при мысли о полной раслабухе?

– Прокофьев, «Классическая симфония», часть вторая, – немедленно откликнулся Михайлов и немедленно же услышал начало. Через пару тактов Коваль кивнул.

– Годится. Но хотелось бы то же самое услышать в аранжировке Франсиско Гойи, ты не против?

Тут в свою очередь кивнул Михайлов. Симфония зазвучала в изложении двадцатичетырехструнной гитары. Это было божественно.

Вдруг мрамор под ними превратился в мягкий коверный ворс, и, оказалось, они идут босиком.

Вдруг небольшое облако окутало их, ковер ушел из-под ног, туман рассеялся, и они зависли в теплом воздухе, совершенно голые. Демонстрируя свою теннисную фигуру, Коваль мельком глянул на михайловские складки и оползни и пробормотал:

– Ну, ничего, ничего...

– Это, что ли, невесомость? – суетливо дергая ногами, спросил Михайлов.

– Она самая. Привыкай, – сказал Коваль, широко взмахнул руками и плавно взмыл. Михайлов в космосе не был, но во сне летал и помнил это счастливое ощущение с необыкновенной

достоверностью. А поскольку происходящее и так напоминало волшебный сон, он недолго думая, сложил крылышки ласточкой и нырнул в теплую туманную пустоту, а там, скользнув по дуге, уверенно взлетел к Ковалю, свободно парящему в пространстве.

— Это счастье! — восторгался Михайлов, выписывая вокруг друга вензеля и курбеты. — но это не Сандуны.

— Опять торопишься, — с упреком сказал Коваль. — Как все-таки людей гнетет сознание конечности бытия. И они все спешат, спешат... вместо того чтобы растягивать бытие до бесконечности. Сказано было тебе: «баня» — значит, будет тебе баня.

Тут Прокофьев кончился, повисло мягкое тремоло двадцати четырех струн, сквозь него началась, выросла и грянула «Аида», ослепив на миг многочисленной и разнообразной медью, а затем рассыпалась целым озером серебра. И пошел умирать от блаженства сен-сансовский лебедь в исполнении... в исполнении?

— Арфы, арфы, — пояснил Коваль. — Штук, наверно, сто. Всех сортов. От глубокого контральто до фистулы-колоратуры. Вот теперь — лови кайф.

Ибо вместе с лебедем пошли накатывать волны остальных ощущений. Это были зной и прохлада, сияние и полумгла, мед и горчица, ландыш и полынь. Упругий напор и пологий откат в гармонических сочетаниях и ансамблях.

Нырять и выныривая, взмывая и паря, друзья плавно вошли в блаженный обморок и очнулись каждый ничком на мраморном ложе, как и положено.

Рядом с Ковалем сидел Лемпорт, обернутый в белую тогу, и поглаживал мощной дланью Юрину спину, готовя к массажу. Михайловскую спину тоже кто-то мягко заготавливал — лежа ничком, не видно было, кто.

— Здорово, Володя! — сердечно поприветствовал Михайлов великого скульптора. — Осваиваешь смежную профессию?

— Да вот, понимаешь, — поздоровавшись, сказал Лемпорт, — надоело с глиной возиться. Лепишь ее, лепишь, мнешь ее, мнешь, правильно, неправильно — она молчит, терпит, ей все равно. А тут — живой материал, чуть что не так (Коваль взвыл), он реагирует. И конечная цель, понимаешь, одна и та же: пластическое совершенство.

— По-моему, я и так пластически совершенен, — сказал Коваль.

— Ну, еще не модель, — похлопал его по заду Лемпорт, — но с тобой действительно мороки поменьше, чем с нашим гостем. У тебя я не вижу таких складок и оползней. Поэтому мое дело твою пластику поддерживать, а не творить. Творить будет мастер, я-то пока еще учусь.

Две уверенные властные ладони обмяли Михайлову торс и начали первые пассы, и до боли знакомый бархатный поставленный баритон повел над Михайловым лекцию в соответствии с манипуляциями.

– В нашем деле, Володя, главное открыть чакру, задействовать мантру, возбудить прану и очистить ауру. На первый взгляд, это просто бессмысленный набор разнородных терминов, но это лишь на первый взгляд.

– Александр Аркадьевич! – ахнул Михайлов, распознав голос любимого маэстро. – Ну ладно, Лемпорт скульптор, ему положено мять чего-нибудь руками, а вам-то зачем? Вон Визбор – лиру осваивает, арф кругом полно каких угодно...

– Дорогой мой, на кой хрен мне эти арфы, – засмеялся Галич, со вкусом выговаривая слово «хрен», – когда здесь и без меня хватает кифаредов, и все они играют на струнах, что уж скрывать, гораздо искуснее меня. А главное, мне совершенно не хочется этим заниматься. Муза моя свое дело сделала, и я уволил ее к чертовой матери. Иной раз соберутся ветераны, ну пойду, потрясу стариной перед ними часика на полтора, но здесь мне куда интереснее. Здесь, доложу я вам, такой роскошный шалман – а я, да будет вам известно, матерый шалманщик – что и арф никаких не надо, все здесь так и гудит. Где бы я еще с Володей познакомился. А теперь нас водой не разольешь.

– В бане это и невозможно, – Лемпорт с удовольствием подиол свою красивую бороду. – В бане разливать людей водой, прямо скажем, противоестественно. Только обливать либо сливать воедино. Единственно, в чем мы с Аркадьичем расходимся – это во взгляде на мой перевод Дантова «Ада». Он считает его философской неудачей, а я – литературной. Ну, почему? – возвысил голос Лемпорт. – Почему ты, Коваль, не остановил меня, когда я брался за этот проект?

Тут он прихватил Ковалья за ребро и тот заорал:

– Лемпорт, блин горелый, прекрати! Не пользуйся моим положением, садист! Как я мог тебя остановить, когда ты пер, как танк?

– Надо было бросаться под меня с гранатами!

– Да ты бы проехал и не заметил. Я удивляюсь, как это ты вообще прозрел? Уж не Александр ли Аркадьевич поднял тебе твои веки?

– Ты, Коваль, хотя и писатель (Лемпорт опять погладил бороду), но вряд ли читал сочинение Алигьери в подлиннике. В отличие от присутствующих. Я, понимаешь ли, итальянский выучил только за то, что им разговаривал Данте. И сразу увидел несовершенство всех наших переводов. Конечно, у меня зачесались руки! Меня охватило величие замысла! И ты меня не остановил.

Он снова ущипнул Ковалья, но тот даже не заметил от возмущения:

– Побойся Бога, Лемпорт! – вскричал он. – За кого ты меня принимаешь? Я тебе не Бенкендорф, чтобы душить великие замыслы! Почему это я должен был тебя останавливать?

– Потому что величие моего замысла полагало наличие стихотворной техники, а она у меня никакая. И ты это скрыл от меня!

– Дружба для меня была дороже, – искренне сказал Коваль.

– Хороша дружба! – и Лемпорт зверски проутюжил кулаком позвоночник. – Сделал, понимаешь ли, из друга посмешище.

– Володь, – примирительно вмешался Михайлов, сладострастно постанывая под ладонями мастера. – Зато твои иллюстрации к переводу! Это же вершина графики! Симфония рисунка! Пикассо отдыхает, Неизвестный завидует. Так что не зря ты учил итальянский.

– И потом, Володенька, – зажурчал Галич, – уже за одно величие замысла вам надо бы в ножки поклониться. Обратите внимание, как далеко ушла техника стиха, в то время как замыслы поражают своей невзрачностью. Не хочется называть имен, но сегодня в поэзии я не вижу ничего кроме необоснованных претензий. Ну да, ну да, – остановил он Михайловские возражения, – вы скажете «Миша Щербаков». Но этот одинокий дуб в пустыне российской словесности никак не делает общей погоды. Целковый с вас, барин, – обратился он к Михайлову, обмахнув полотенцем. Тот вскочил, освеженный и помолодевший:

– Бог подаст, любезный.

Все его складки разгладились, оползти сползли, и он – оп! – молодецки прошелся на руках, неожиданно для самого себя. Давешнее облако-гардероб вновь окутало их с Ковалем и, затем рассеявшись, оставило их совершенно одетыми. Михайлов поклонился:

– Благодарствуйте, господа хорошие. Никогда ничего подобного. Посему могу лишь робко догадываться, что за шалман загудит у вас нынче вечером. Ничего, увидимся еще. Ба! – хлопнул он себя по лбу. – Забыл спросить: в чем же состоит философская-то неудача великого замысла?

Галич усмехнулся:

– Ну, здесь, собственно, Володя ни при чем. Это скорее Дантова ошибка. Да и не его одного. Короче говоря, поэма его о преисподней смысла не имеет. Дело в том, что ада нет.

– Аркадьич, – с досадой сказал Лемпорт. – А вот этого ему знать необязательно. Пока, понимаешь ли, он в гостях. Вернется, поползут слухи, человечество расслабится...

– Бросьте, Володя, – снисходительно возразил Галич. – Данте вернулся и нагородил сорок бочек арестантов про вечные муки – что-нибудь изменилось после этого?

– Про вечные муки и до него знали, он лишь подтвердил.

– А теперь в них и так никто не верит.

Так разговаривая, они удалились.

– Юр, – произнес Михайлов вполголоса из-за обуревавших чувств. – То есть как это «ада нет»? А как же... это... «Мне отмщение»... «Аз воздам» ...Что же ОН, Аз-то? Так-таки никому и не воздаст?

– Почему не воздает, – неохотно сказал Коваль. – Воздаст. Галич с Лемпортом ведь имеют в виду конкретный «Ад», Дан-

тов. Со всеми этими извращениями вроде горячих сковородок. Но ведь воздаваться-то можно по-разному. Еще как по-разному.

– Ну, слава Богу, – облегченно вздохнул Михайлов, почему-то забыв, что сам небезгрешен. – По-моему, это очень правильно. А иначе что ж... Извини меня, если я покажусь назойливым, но хотелось бы хотя бы одним глазком.

– Кровожаден ты, Михалыч.

– Пусть хотя бы в самом простом варианте...

– Ну простой он и есть самый простой: наш любимый ОРТ.

– ОРТ? – недоверчиво переспросил Михайлов. – ОРТ – это, конечно, наказание Господне, но скорее для святых, чем для грешников.

– Здешний ОРТ, Михалыч, расшифровывается иначе, – пояснил Коваль, – Не Общественное Российское Телевидение, а Обратный Рабочий Телеглаз. Работает в режиме нон-стоп в прямом эфире. Передает абсолютно все. И пишет.

– Все?!

– Все.

– И давно?

– Всегда.

– И я... мог бы...

– Раз плюнуть. Задавай любой координат в пространстве и времени и смотри.

– И даже...

– Говорю тебе, хоть что. Хоть Наполеона при Ватерлоо. Хоть себя самого в Сандунах. Так что все здесь в курсе всего, что было и есть.

– И что будет?

– Для этого тут не ОРТ, а ТОРТ, то есть т у д а - о б р а т - н ы й т е л е г л а з. И доступ к нему ограничен.

– Коваль... – Михайлов внутренне аж задохнулся. – О-о-о... Дорого бы я дал...

– В свое время, Михалыч, а как же.

– Ну хорошо... – с сожалением сказал Михайлов. – Потом так потом. Но я ведь спрашивал насчет воздаяния. Причем тут ОРТ?

– А ты не догадываешься?

– Ага... Человеку как бы прокручивают обратно, да? Все его окаянства?

– В мельчайших подробностях.

– И невозможно уклониться?

– Не получается как-то. Вся штука в том, что не ему прокручивают, а он сам.

– Мазохизм какой-то.

– Почему мазохизм? Естественная необходимость. Вроде посещения бани. А то ходишь и воняешь.

– И идешь и смотришь?

– Идешь и смотришь.

– И долго это?

– Пока не насмотришься, – мрачно сказал Коваль.

10

Ясное дело, после бани с фатальной неизбежностью следует буфет, и друзья сразу прошли в директорскую ложу, с бархатными завесами, разведенными в стороны, и ниспадающими кистями.

Облокотясь о плюш барьера, они осмотрелись.

Партер пустовал, и лишь на сцене за столиком сидели трое в свободных позах и явно играли в шахматы.

– Второй раз вижу, чтобы столик на сцене, – сказал Михайлов. – А впервые – в Дубне. Цвет ядерной физики: Копылов с Подгорецким, Бруно Понтекорво с Тяпкиным сидят, обедают в зале, мест свободных полно – но нет: на сцене, за столиком возвышается в одиночестве огромный человек, увешанный мышцами. Мировой чемпион, Юрий Власов. Сидит, посматривает сверху вниз на эту немочь.

– Власов Власовым, – сказал Коваль, – однако, присмотрись к этой троице, Михалыч. Может, тоже кого вспомнишь.

Михайлов присмотрелся, и сердце его забилося.

– Обрати внимание, Михалыч: компания эта раньше никогда вместе не выпивала. Я-то, кажись, с каждым из них сподобился, но порознь, а вместе они только недавно сошлись, и свел их ты. Ты, ты, не удивляйся. Ты описал это действие, как действительный факт, они-то и думать не думали, но кто-то углядел по ОРТ и стукнул, они и побежали смотреть, включают – и пожалуйста: Финский залив, морось какая-то сеется, ты идешь вдоль берега, лицо мокрое непонятно от чего, и бормочешь себе под нос. Ну, подкрутили звук, отфильтровали и получили весь текст, как на ладошке, в авторском исполнении. А? Вспомнил?

– Было дело, – тихо сказал Михайлов.

Было, действительно. Шел он вдоль берега и с необыкновенной ясностью видел перед собой эту картину, которая тут же, одну за другой вытащила из небытия те самые неприхотливые строки:

Борис Борисыч, Гришка и Илья
Сидят в обнимку.
Они сидят, пьют водку, как и я,
Под буженинку.
Григор Самолыч вдохновенно врет,
Как прежде складно.
Илья хохочет и очечки трет,
И курит жадно.
На них глядит Борь Борич дорогой
С такой любовью,
Как я на них на всех гляжу с такой
Отрадной болью!
– Я вас любил, любимые мои!
И я, как прежде,
Все не умею выразить любви.
Но я в надежде.

С каждым из них Михайлов был в разное время и по-разному дружен – и ни с одним не сошелся так близко, как ему хотелось. Но неразделенная любовь, по наблюдению Куприна, бывает ничуть не слабее разделенной.

– Ну что же ты, – любуясь эффектом, спросил Коваль. – Что же ты медлишь, Михалыч? Вот тебе и случай «выразить любви». Иди, осуществляй надежду свою.

– погоди, дай полюбоваться, – по-прежнему тихо сказал Михайлов и, подпершись рукою, на манер Арины Родионовны в окошке, стал смотреть.

Теперь все трое сидели вовсе не в обнимку, и никакой буженинки вблизи от них не наблюдалось, а только щегольский цилиндр, обтянутый черным шелком и поставленный на донышко устьем кверху. И шахматы перед ними были не шахматы, а шашки, и доска на столе лежала тройная, а вместо фишек стояли рюмки: Борь Борисыч играл белыми (с чистой водярой), Габай – темно-красными (с «Кровавой Мери»), Фельдблум – коричневыми (коньяк). Гришка и Борь Борисыч играли по-настоящему, Габай же по обыкновению дурачился и импровизировал. Разумеется, каждая выигранная рюмка проглатывалась на месте. Закуска же вынималась из цилиндра и была на любой вкус.

– Давненько не брал я в руки шашек, – сказал Борь Борисыч и сделал ход.

– Знаем, как вы плохо играете, – ответил Гришка и тоже сделал ход.

Илья сходил и заблажил:

Как ныне собрались Фельдблум и Вахтин
За шахматной стойкой буфета.
На черного фавна похож был один,
Другой – на заправского Фета.
И только Габай был похож на того...

И через паузу:

...Кто был как две капли похож на него!

– Давненько не брал я в руки Фета, – пробормотал Борь Борисыч и сделал ход.

– Знаем мы, кто на кого похож, – процедил Гришка и тоже сделал ход. Илья тоже сходил и завопил:

– Как ныне собрались Вахтин и Фельдблум
И вынули шашки из ножен.
Один был похож на мадам Розенблум,
Другой – ни на что не похожим.
И только Габай, похудав на говне...

– и через паузу, голосом Ильича:

– пагит неподвижно со мной нагавне!

– и потирая руки, засмеялся, довольный.

– Что-то давненько не брал я в руки мадам Розенблум, – сказал Вахтин и съел у Габая «Кровавую Мери».

– Знаем, знаем мы, на чем вы похудали, – сказал Фельдблум и слопал у Борь Борича подряд две рюмки чистой водяры. Илья закатил глаза, помычал и медленно произнес:

– И только Габай, как зловещий еврей,
Вдруг вскрикнул, ужалив двух вещей князей!

– и расплескивая свою «Кровавую Мери», заскакал рюмкой по доске, перепрыгивая через вражеские фишки, штук семь, одну за другой отправляя их себе в пасть свободной рукой.

Борь Борич, закинув голову, зашелся смехом, утирая слезы. Фельдблум воззрился на Габая, не скрывая возмущения:

– Что-то давненько не видал я подобную сволочь! Подсидел, зараза! Тебе не стихи писать – тебе с кистенем гулять в дремучем лесу.

– Как? – притворно удивился Габай. – Вы не желаете продолжать игру?

– Я думаю, торг здесь неуместен, – высокомерно продекларировал Фельдблум. – Только существо с воображением дятла может говорить о продолжении борьбы в подобной ситуации. Пакт о ненападении и полное разоружение – вот все, что я, блин, могу предложить высоким, блин, сторонам.

С этими словами Гриша подряд оприходовал свой оставшийся коньяк и, вынув из цилиндра ломтик лимона в сахаре, принялся смачно его поедать.

– Как заразительны благородные поступки! – воскликнул Борь Борич и поступил аналогично с остатками своего войска. Из цилиндра же извлек он корнишон и смачно оным захрустел.

– Ах, судари мои, – продолжал он, извлекая, хрустя и хрупая. – Какие все-таки римляне мудрецы! Как верно они уловили эту метафизическую связь между здоровьем тела и духа! Уже в предбаннике, освобождаясь от одежд, мы словно оставляем с ними кучу разделяющих нас условностей и предстаем друг перед другом, как перед Господом в первозданной своей подлинности. Когда же вслед за тем вода и пар очищают нас от грязи и пота, разве вместе с тем не очищается и душа наша от нечистоты помыслов и паутины суеты? Не для того ли христиане погружаются в воды Иордана, а буддисты в волны Ганга? Где еще вы услышите столько исповедей и откровений, как в сауне?

(Здесь Вахтин опростал рюмочку и, выудив из цилиндра устрицу, проглотил).

– Но даже баня, – продолжал он, – даже она не может сравниться с чудом, какое с нами производит водка. Известно: удивительные резервы заложены в человеческом организме. Вы видели: йоги невредимо лежат на гвоздях, переезжаемые танком. Вы видели: человек, заплетая волосы в косичку и прицепив к ней лайнер, катит его, выпучив упорный лоб, по асфальту. Есть иные – одним пристальным взглядом гнут монеты или зажигают

огонь. Но и это меркнет перед резервами духа, и их-то нам открывает нам водка. Словно из тесной каморки выходим мы разом на свет. Только что нас окружали смутные очертания, неразрешимые проблемы и застарелые комплексы – и вдруг все узлы развязались, комплексы рассеялись, ослепительная ясность озарила самые темные углы и не стало никаких сомнений. Куда пойти, что говорить и как поступать – причем ко всеобщей радости, ко всеобщей!

(«Готовься, – шепнул Коваль. – Сейчас будет твой выход. По-моему, он явно к этому клонит. Заметил, небось».)

– И тогда, – полным баритоном зазвучал голос Вахтина, – наступает момент для встречи с прекрасным событием, в котором, как в контрапункте музыки, разрешаются самые контрастные темы и соединяется несоединимое.

Михайлов было шевельнулся встать и окликнуть – как вдруг грянули духовые, взвились струнные, запели деревянные, рассыпались ударные, и на серебряном заднике сцены открылись три арки с сиреневым дымом в глубине, и в каждой арке стояла женщина волшебной красоты, протягивая руки к дружной троице. И они устремились, и сиреневая глубина, огласившись восклицаниями и смехом, поглотила их.

– Ооо! – вслед им только и выдохнул Михайлов, а Коваль буркнул: – Малость подзадержались мы с тобой. А то бы...

* * *

Запись дальнейших событий этого путешествия мною утеряна и еще не разыскана. Нашлась пока только вот эта:

– Ну вот, ты все хотел узнать, – невнятно сказал Коваль. – Валяй, узнавай.

Михайлов не вспомнил, о чем речь. Но мобилизовался.

– Наша детская площадка, – объявил Коваль, чем вверх Михайлова в смятение: вроде бы об этом речи не было, а спросить, неужели и здесь беременеют и рожают, не поворачивался язык.

Они подошли. Лужайка как лужайка. Песочница, качели, каталки, лесенки, мелкий бассейн. В песочнице пара малышей, лет трех, поодаль, в манежике, – еще один. Вокруг лужайки витиеватая чугунная решетка в виде рожиц Винни Пуха и Микки Мауса. Поверх нее, приглядевшись, Михайлов различил колючую проволоку в виде розочек.

– Это для чего же? – удивился он. – Для того чтобы они не выскочили или чтобы к ним не вскочили?

– Чтобы не вскочили, – сказал Коваль. – Вишь, какие они у нас миленькие. Так и тянет потрепать эти щечки. Эй! Малютки! Кто тут у нас конфетку хочет?

Карапузы, лялякая и гугукая, притопали к решетке и остановились в ожидании.

– Это у нас Досичка, еще белобрысенький совсем. Черноглазенький – это, стало быть, Осичка. А Попочка у нас узкоглазенький, как раз как ты любишь. Ну, деточки, что надо сказать дяденьке при первом знакомстве?

– Дай! – радостно крикнули младенцы, протянув ладошки к Михайлову.

– Ух вы мои тютюшечки, – заворковал вслед за Ковалем и Михайлов, оделяя их шоколадом. – Кукубашечки вы мои. Аня муня люлю тяшечки.

Тяшечки запихнули подарки за щеку и потопали восвояси. Михайлов смотрел им вслед. Коваль смотрел на Михайлова.

– Ну и? – спросил тот.

– Досичка, Осичка, Попочка, целиком и полностью, – проговорил Коваль. – Тебе что-то непонятно? Тогда смотрим дальше.

В своем углу песочницы Досичка трудолюбиво колупался с лопаткой и совком, возводя целые вавилоны с башнями и контрфорсами. В другом углу Осичка, поглядывая на Досю, пытался соорудить нечто похожее, но кроме канавы с отвалом, у него ничего не получалось.

Ося пыхтел и нервничал. Вдруг он бросил совок и надулся.

Досичка закончил крепостной ров и отправился с ведром к бассейну. Тотчас же Осичка устремился к неприступным вавилонам и пухлыми ножками в секунду растоптал их до основания. А затем вернулся к своей канаве как ни в чем не бывало.

Застав на месте цветущей цитадели одни руины, Досичка молча направился к Осичке и вылил на него полное ведро. Тот завыл, бросился к манежику с Попочкой, ухватился руками за бортик и начал с силой его трясти. Подоспевший Досичка присоединился к нему.

Попочка же ничуть не смутился и продолжал свое занятие. Сидя среди желтой кучи узкоглазых целлулоидных пупсиков, он старательно и безостановочно обрывал им головы, ручки и ножки. Покончив с одним, тут же принимался за другого. Оторванные головы уже составляли приличный холмик, как на картине Верещагина.

– Причем, что интересно, – почему-то шепотом сказал Коваль, – подкладывал я ему то Барби, то Матрешку нашу – ноль внимания, потрошит только своих, узкоглазеньких.

– Прямо Пол Пот какой-то, – сказал Михайлов.

Коваль странно глянул на него.

– Ну и? – сказал он, и Михайлов вдруг догадался:

– То есть вон значит как...

– Целиком и полностью.

– А это, стало быть, Осичка...

– По-моему, сразу видно.

– А почему Досичка? Вроде бы Адичка должен быть.

– Так тоже называют.

– Им что ж, обратный телевизор не крутили?

– У них обратная реакция.

- То есть?
- Не оторвать было.
- Присудили, выходит, к вечному младенчеству?
- Никто не присуждал. Они сами.
- Как это?
- Да так. Ходят, воняют, с ними никто не разговаривает. Некоторые, наоборот: срываются. Пришлось их сюда.
- За проволоку?
- Я ж говорю: срываются некоторые.
- Ну и?
- И как-то, знаешь, пошло-поехало – бац! – и пожалуйста: Осичка-Досичка-Попочка. Так сказать – само собой съехало до уровня приемлемости. До трех, как видишь, годиков.
- То есть, допустим годом старше...
- Уже неопределенность. Попочка, например, в семь лет еще кошек вешал, в пять – мухам крылья обрывал, вот в три – остановился на пупсиках.
- Может, у вас и грудные есть?
- Есть и грудные. Чикатило там, еще кто-то... Калигула....
- И это, стало быть, Осичка и есть, – произнес Михайлов задумчиво. – Нельзя ли мне его слегка потрепать?
- А ты не сорвешься? – недоверчиво спросил Коваль.
- Что я тебе, Ирод – младенцев мочить? – возмутился Михайлов и вошел в ограду. Осичка голышом валялся в бассейне и брызгался на Досичку. Михайлов подхватил Осю под мышки и подбросил на воздух. Тот радостно заверещал. Михайлов весело закружил его над собой.
- Ах ты, Осичка, Осичка! Точнее даже, Сосичка. Тебе бы сюда да в одна тыща восемьсот восемьдесят втором-то году, а? Кобушка ты мой. Насколько бы это было исторически приемлемее...
- Тут Осичка, счастливо улыбаясь, пустил Михайлову прямо в глаза тугую струю. И в смеющихся его глазках блеснул Михайлову злорадный ястребиный зырк. Судорога отвращения передернула все его существо. И он отшвырнул младенца в воду бассейна. Тот шлепнулся и заныл.
- Ах, черт! – досадовал Коваль, выдергивая Михайлова за ограду. – Сорвался-таки, горюшко мое. Замочил младенца.

НЕОБХОДИМЫЙ ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

(в порядке появления персонажей)

КОВАЛЬ Юрий Иосифович (1938–1995), поэт, прозаик, живописец, скульптор, автор «Недопеска», «Васи Куролесова», «Самой легкой лодки», «Суер-Выера» и множества других прекрасных произведений искусства.

ВИЗБОР Юрий Иосифович (1933–1984), великий бард первого призыва, а также выдающийся журналист, киноактер, альпинист и горнолыжник.

ДОМБРОВСКИЙ Юрий Иосифович. (1933–1984), прекрасный прозаик, автор «Хранителя древностей»; дважды сидел по 58-й статье.

КОРИНЕЦ Юрий Иосифович (1923–1987), известный детский писатель.

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН Михаил Евграфович (1826–1889), великий русский сатирик. В его знаменитой сказке «Карась-идеалист» ехидная Щука все время вызывает идеалиста на диспут. Когда же он, в отчаянии, гаркнул: «А знаешь ли ты, что такое добродетель?» – Щука от изумления открыла пасть и машинально втянула воду. Вместе с Карасем.

ИОСИФ АЛЕКСАНЫЧ – БРОДСКИЙ.

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНЫЧ – ЕСЕНИН.

ВОЛОДЯ – ВЫСОЦКИЙ.

КОРНИЛОВ Лавр Георгиевич (1870–1918), знаменитый белогвардейский генерал.

КОРНИЛОВ Владимир Алексеевич (1806–1854), знаменитый русский флотоводец; на самом деле, он и в ц е-адмирал, здесь же округлен до адмирала в интересах стиля.

ЕРОФЕЕВ Венедикт Васильевич (1938–1990), выдающийся наш писатель, автор поэмы «Москва–Петушки», король андерграунда.

ЛЕМПОРТ Владимир Сергеевич (1922–2001), великий скульптор; заново перевел «Божественную комедию» Данте, а затем и издал, снабдив превосходными рисунками.

ГАЛИЧ Александр Аркадьевич (1918–1977), великий бард, а до того – известный советский драматург.

ВАХТИН Борис Борисович (1930–1981), питерский прозаик и востоковед, человек огромного обаяния.

ГАБАЙ Илья Янкелевич (1935–1975), талантливый поэт, прирожденный педагог, известный московский диссидент (три года сибирской каторги).

ФЕЛЬДБЛЮМ Григорий Самойлович (1935–1971), подмосковный педагог, человек разнообразно и высоко одаренный.

АДИЧКА (1889–1945), ОСИЧКА (1879–1953), ПОПОЧКА (1925–1998) – в комментариях не нуждаются.

Ави Дан
ДУХОВКА

* * *

Когда, от скуки умирая,
За хвост эпоху я ловил
Из окон чешского трамвая,
Я Гефсиманский плющ любил.

Любил апостольские свечи,
Когда в ночи они горят,
Любил застолья злые речи,
Когда о будущем молчат.

Предпочитая жить у моря
С надменным видом чернеца,
Любил роскошный дом разбоя
Перед могилой праотца...

Я счет закрыл без оговорок
Там, где без магии дурной
И обезжиренный, как творог,
Петров летал передо мной.

Внебрачный отпрыск Азраила
И ангел плюшевый на треть,
Он мне сказал: «Забудь, что было,
Дай им себе переболеть.

Ни в чем не видя больше толку,
Набей нечаянными впрок
Воспоминаньями котомку,
Беги с Востока на Восток.

На «рцы» и «реш» в косых повозках
Заглядываться ты не смей —

Похоронят на грубых досках,
Набьют за пазуху гвоздей.

Седые девушки на пляже
Прочтут печальный твой дневник;
Босые ангелы на страже
Заупокойный пятерик

Поставят в угол медно-красный,
Дадут фамилию – «Прокруст»...
Но ты, до времени напрасных,
Не отворяй покамест уст».

И, дабы блажь во мне не зрела
И дьявол в душу не проник,
Он длань простер свою умело
И вырвал грешный мой язык...

Так и хожу я безъязыкий,
Словно воды набравши в рот,
Пока, Великий и Двуликий,
Петров меня не приберет:

Пусть ваше сердце из картона,
Где стрелка глупая торчит,
Во время грозное и оно
В груди израненной молчит.

ВОЙНА И МИР

А. Грому

Восстанет день аллахакбаром
На покоренный Гудермес,
Где я с медбратом-санитаром
С рукой хожу наперевес.

Пижамка цвета «бабье лето»,
Вкус беломорины во рту;
Где скорой помощи карета –
Присяду, дух переведу.

Не трачу чувств своих избыток,
Как буратино-манекен,
Чеченской пули недобиток,
Неузнаваемый никем.

ДРУГОЕ ДЕТСТВО

Над луковичною Москвой,
Слепыми окнами Лубянки,
Где я и сам летал с тобой,
Побривши голову по пьянке,

Заря вставала ото сна
(Она Аврора, но не крейсер)
И жалась бледная луна
За спинки бабушкиных кресел.

Мы выдавали нагора,
Любились, праздновали труса...
Но нет прекраснее с утра,
Чем Гимн Советского Союза!

Движеньем музыки и сфер
Небесных жизнь моя согрета.
Я скоро буду Пионер
И член Верховного Совета.

И не родился б вовсе я,
Как все девчонки и мальчишки,
Когда б не аисты меня
Нашли в капустной кочерыжке...

Так, обнаружив свой анфас
В окне автобуса у школы,
Пройдешь незванным гостем в класс
За одинокие заборы.

И, пряча сонные глаза,
Прочтешь затейливый каракуль
На перекрестке двух «нельзя».
Пока не видят мама с папой.

ПИСЬМО

Пишу тебе. Чего же ради
Листы насиловать тетради
Невнятной скорописью строк?
Любви? Но ты ее забыла.
Прощенья? Ты меня простила.
И все ушло. И вышел срок.

Пишу тебе, а время льется:
Кто расторопней, тот напьется
Его крамольного «нельзя».
Летят прожорливые утки
Над головою – сутки, сутки...
И два загадочных гуся.

Не замечая в людях скотства,
Я чувствую свое сиротство
Укором собственной судьбе.
Как перст один на белом свете,
Сажу на древнем табурете
И вот, пишу письмо тебе.

Но это лирика плохая
Для вертопраха-вертухая,
Любимца ветреных харит.
Мы все судимы поголовно.
Жизнь лишь на вид гололомна.
И всех могила примирит.

Я тоже рифмами контужен.
И, позабыв приличья, тоже
Луну ищу по чердакам.
Пугая там котов заблудших
(И это все еще из лучших
Моих занятий). Но и там

Я чувствую себя нездешним,
Как в мебелированных скворечнях,
Где счастье суетно куют;
Где все столы давно накрыты,
Слова дешевые избиты
И тещу к масленице ждут.

А то – в таверне, удосужась,
На женщин навожу я ужас,
Пуская ветры под столы.
Иль, не слезая с оттоманки,
Ловлю озябшее морзянки
Потустороннее «курлы».

Курлы-мурлы, мы бога кляли,
Мол, век свободы не видали,
Гребя отеческую грязь.
И я кричал, рядясь Маратом,
Между Петраркою и матом
От красноречья заходясь:

«Свобода учит сорок весен,
Когда не слышно вовсе песен,
Не верить суетным дарам.
И медь ее слепого блеска
Напоминает больше войско,
Чем супермаркет или храм...»

Что ж, начинать? Начнем, пожалуй...
Москва, спаленная пожаром
Во рту, дымила из окна.
Скажи-ка, дядя, ведь недаром,
В пандан монголам и татарам,
Привычка свыше нам дана?

Мой дядя самых честных правил.
Но – уважал, как мирный фраер.
Зане народ его любил.
Надев штаны из крокодила,
Сперва *Madame* за ним ходила,
Потом *Monsieur* ее сменил.

«Позор заморскому клевету!»
«Кривляку Гоголя – к ответу!»
«И Пушкина – не выпускать!»
Кипит на кухне старый чайник.
Сын за отца не отвечает.
И, соответственно, за мать.

«Кипит, – заметил хрен ученый, –
Народа разум возмущенный».
И в лес ягненка поволок.
Опричь болотных испарений,
Деревня, где скучал Евгений,
Была прелестный уголок.

«Сия семейная рутина, –
Сказал Мальвине Буратино, –
Имеет свойство убивать».

Себя не чувствуя от боли,
Я к вам пишу – чего же боле,
Что я могу еще сказать?

ЦПКиО

Я говорил, что в небе ходит облако,
Смущая мир раскованностью форм.
Что сшил костюм (Маргулис взял недорого.
Плюс ткань его). Но песня не о том.

Я говорил, что проза пахнет ладаном.
И этот пруд – химера и фантом.
И что любовь, как мачеха, не рада нам.
И все не то. И песня не о том.

Я говорил, что будет буратиною,
Мой друг, сидеть. Покойник-баритон
В динамик пел нам песню лебединую...
Но, по большому счету, не о том.

А ты сказала: «Мне с тобой невесело», –
Переложив удобнее весло.
Здесь, как назло, закончилась поэзия.
А в жизни вообще не повезло.

ДУХОВКА

Не расставаться никогда
Уходит время как вода

В грунтовый ад в пещерный мрак
В страну где всякий одинак

С самим собою в голове
Вновь жизнь не сходится с отве

И синим пламенем пыла
Плывет над пальмами луна

Чем в ступе бестолочь толочь
(Мы сыты жвачкой полуправд)
Плюсквамперфектум
Ночь-полночь
Кому-то сын кому-то брат

(И это в прошлом) о любви
О замарашке в платье бе
Земную жизнь до полови
Пройдя короче о тебе
Достав бумаги и чернил
Чья злая в жилах стынет ртуть
И жар в груди несочиним
Пока дышать умеет грудь

Пейзанин мирный нелюдим
Среди пустыни и войны
На мне ни крови ни вины
Опричь вина что пью один

Любви и музыке – хана
Сказала облаку зурна
Где бедуинит козий блюз
Варнак завернутый в бурнус

Где ваш бокал маэстро глюк
Любви и музыке – каюк

И добела раскалена
Висит оскалена луна

Как чудны господа дела
Твои и утра хороши
Где красный мчал меня трамвай
Через полгорода зада

Как ты стояла в школьном пла
С портфелем полным взрослой лжи
И говорила мне давай
Не расставаться никогда

Не расставаться никогда
Как твердь морская и вода
Как берега одной реки
Как пальцы быстрые руки

В которых музыкой дыша
Дрожит и нежится душа

И стынут звуки умира
В колодце школьного двора

Сбежав с уроков от тоски
З.... на контра и на про
Как мы с тобой ходили в ки
С ален делом в главной ро

Не вызывая нарека
И грозных взглядов исподло
В моей руке твоя рука
Как было сказано у бло

Как было сказано у фе
Или у пушкина быть мо
А ты сказала мне давай
Не расставаться никогда

Не расставаться никогда
Шептал нам зал полупустой
И тая ангелы лета
И над тобой и надо мной

Как жизни правила просты
Мерцанье мерное экра
Бессмертен я бессмертна ты
Пока любовь не умира

Пока сердца для счастья жи
Но жизнь – не то же ли кино
Когда без продыху во лжи
К финалу тянется оно

Через моря через года
Как звук расстроенной гита
Не расставаться никогда
Не расставаться никогда

Елена Игнатова

«И РАННЕЙ ПОРОЙ...»

Послевоенной порою, в начале пятидесятих годов, на заводской окраине у Невы стояли четырехэтажные бараки. Говорили, что их строили пленные немцы. Память о войне еще сохранялась на всем: на сараях, обитых досками от снарядных ящиков, на доме с выкрошенными проемами дверей и окон, о ней напоминало даже заболоченное, изрытое ямами поле между нашим кварталом и трамвайным кольцом. Через поле была проложена тропинка из досок, и я каждый вечер устраивалась на валуне возле нашего дома, поджидая маму. Подходили трамваи, выбрасывали темные человеческие клубки, и они, разматываясь в жгут, тянулись по утлому настилу. Ближний конец жгута распадался на отдельные фигуры, проступали лица, но маму я узнавала издали и не отрывала глаз от ее милого лица, пока она не подходила и не вела меня домой.

Таким же темным, разматывающимся жгутом осталась в памяти ранняя пора детства. Простуженное рыдание репродукторов, мама вплетает мне в волосы черную ленту, мы идем на улицу и месим грязный снег в веренице понурых людей – это смерть Сталина. Потом лето, игра в «классики», мы с подружками распеваем: «Лаврентий Палыч Берия – вышел из доверия – и товарищ Маленков – надавал ему пинков – остались от Берии – только пух да пее-рия!». Это время пронизано звуками радио. В нашей комнате оно бубнило с утра и смолкало только к ночи. На кухне тоже было радио, и я умывалась под меланхолическое «Ой, цветет калина в поле у ручья» или дурашливую скороговорку: «То ли луковичка, то ли репка, то ль забыла, то ли любит крепко. Я-яблоня цветет!». Ледяная вода стягивала кожу, хвойная паста щипала во рту, то ли луковичка, то ли репка... Но была песня, которой я боялась, ее то и дело выдувало из комнатной радиотарелки: монотонное гудение хора, потом вступал тенор: «Далеко-далеко, где кочуют туманы, где от тихого ветра колышется рожь...» Уже первые звуки затопляли душу такой тоской, что слов я не разбирала, а только ждала, сжавшись, когда она кончится. Этой песни я боялась так же, как холщевой сумки, висевшей на гвоздике у двери.

Мама сшила ее, когда я пригрозила уйти из дома, и всякий раз, когда я собиралась уходить, в нее клали кусок хлеба и спичечный коробок с солью. Холщовая сума, бескрайнее пространство, высокий, тоскующий голос ветра, сухой шелест ржи – все было в этой песне и виделось так отчетливо, что я никогда, даже в самое тяжелое время, не решилась уйти из дома. Позже я разобрала ее слова – минорный вариант «Катюши», любовь пограничника к далекой подруге, – но она отпечаталась

в памяти страхом, от которого я освободилась лишь много лет спустя.

В начале семидесятых годов меня окликнул на улице давний знакомый. Узнать его было трудно: просторное, по начальственной моде тех лет, пальто и фетровая шляпа были скромным намеком на преуспевание, а очки с круглыми стеклами и редкие волосы придавали ему старообразный вид. Он обрадовался встрече, расспросил о делах, а через пару дней пригласил в Союз писателей. Оказалось, что Коля служил в этой организации и ведал писательскими похоронами. Он показал список умерших за год писателей, где мне была знакома лишь одна фамилия – Радищев, да и то явно не автор «Путешествия из Петербурга в Москву». Но Коля пригласил меня в Союз не для разговора о похоронах – он решил устроить мою литературную судьбу. Объяснить это можно лишь тем, что он был одинок, измучен мигренью, и ранняя юность, литературный клуб, стихи остались для него светлым временем, а я была из этого времени. Он дал мне несколько книг и велел написать рецензии. Книги были плохие или очень плохие, и работа далась мне с трудом. Коля прочел рецензии, переписал заново, и их опубликовали в газете «Смена».

– Иди получать гонорар, – сказал он.

– Знаешь, получи его сам, ведь это не я писала.

Тогда он направил меня на радио, в студию литературных передач. Там дело пошло лучше: редактор сказал, что проверит мои способности на сложном материале.

– Нужна передача о Сергее Воронине. Это очень непростой, проблемный писатель, – он многозначительно поджал губы, – в его рассказах много подводных камней, но попробуйте что-нибудь выбрать.

Я прочла рассказы от корки до корки, никаких камней не заметила и выбрала один, поживее остальных: дачник из отставных военных не в ладах с соседом, но в конечном итоге они оба оказались хорошими людьми. Редактор сказал, что это очень проблемный рассказ, прочел текст и решил: «Пойдет». С тех пор иногда по утрам диктор проникновенно читал мои передачи, и я прослыла автором, умевшим ловко огибать подводные камни.

Мою карьеру на радио погубило интервью с Вадимом Шефнером. В то время отмечали юбилей образования СССР и радио подготовило серию передач – беседы с известными людьми на эту тему. Мне достался Вадим Шефнер – видимо, он тоже считался проблемным. Мы встретились у студии, сели за стол в полутемной комнате, и звукооператор скомандовал: «Начали!». Вначале нужно было сказать несколько слов, чтобы оператор настроил запись. «Раз-два-три-четыре-пять» – сказала я. «Вышел зайчик погулять», – добавил Вадим Сергеевич, вглядываясь в темную будку, где сидел звукооператор. Доносившийся оттуда

голос был странный, непонятно, мужской или женский, но, несомненно, раздраженный. Кажется, Шефнера он занимал больше, чем образование СССР. Начался разговор, и он оказался не собеседником, а катастрофой. Передачи на эту тему были в общем, однотипные, и вопросы тоже – деятели культуры отвечали на них, рассуждали, а этот мямлил что-то невразумительное.

– Вадим Сергеевич, вместе с образованием Союза советских республик усилилось взаимодействие разных национальных культур. Как, на Ваш взгляд, это отразилось на развитии советской литературы?

– Очень хорошо отразилось... взаимодействие разных культур.

Разговор буксовал, как грузовик в грязи, Шефнер отделился общими словами, но вдруг сообщил, что время образования Советского Союза было сложным, хотя, по сути, в этом ничего удивительного...

– Что Вы имеете в виду? – спросила я, но тут из будки грянуло: «Отнимите у него карандаш!».

– У меня нет карандаша...

– Тогда чем он там у вас стучит?

– Зубами, – ответил Шефнер и предложил: – Пойдемте перекурим.

– У вас еще десять минут записи, – сказал оператор.

...Мы вышли в коридор, и я спросила: «Вадим Сергеевич, о чем Вы хотели бы поговорить?»

– Давайте о Дальнем Востоке.

– О Дальнем Востоке?

Я решила, что он имеет в виду Дальневосточную республику, но он пояснил:

– История нашей семьи тесно связана с Дальним Востоком.

Ладно, семья так семья. Мы вернулись в зал, Шефнер стал рассказывать о связи семьи с Дальним Востоком, но начал издавна: его предок был в числе основателей Петропавловска-Камчатского, а прадед составил морскую карту, которой пользуются и сейчас.

Было ясно, что до образования Советского Союза он не успеет добраться, и пора менять тему.

– Вадим Сергеевич, Ваше детство пришлось на двадцатые годы. Что характерно для того времени, что Вам запомнилось ярче всего?

– Ну, я тогда был мал и не могу судить объективно... Я бы назвал его фантастическим. Я начал писать о нем, но не воспоминания, а рассказы, что-то вроде картинок в калейдоскопе. Сейчас я заканчиваю повесть о жизни ленинградского мальчишки...

– У вас осталась одна минута! – оповестили из будки.

– Давайте, завершая беседу, вернемся к главной теме, годовщине образования Союза советских республик, – торопливо сказала я.

И мы снова сошлись во мнении, что образование СССР – замечательное историческое событие.

Мы курили в коридоре, когда появился звукооператор – женщина в лохматом вязаном платье. В этом наряде она напоминала бурого медведя, и Вадим Сергеевич оглядел ее с интересом. Она дала мне коробку с пленкой и удалилась.

– Похоже, мы провалились, – сказала я.

– Похоже, что так, – согласился он, – но вы не расстраивайтесь. Валите все на меня. Я не понимаю, о чем можно пятнадцать минут толковать на эту тему, и так все ясно.

Я не слишком расстроилась, потому что устала от радио: наигранной бодрости и страха не пропустить крамолу, которого не скрывали, а наоборот, подчеркивали как свидетельство лояльности. А Вадим Сергеевич оказался отличным рассказчиком и поведал мне удивительную историю. Недавно он ездил в Швецию. Их, двух ленинградских писателей, поселили в гостинице, напротив которой был магазин «Sex-shop». Советским людям запрещалось посещать такие места, писатели были уверены, что за ними следят, но поглядывали из окна, кто заходит в это ужасное заведение. Посетители были разные, даже дети, и им было видно, что многие что-то там покупают. Наконец, любопытство пересилило страх, и писатели решили зайти в «Sex-shop». Продумали маскировку, дождались темноты, вывернули свои плащи «болонья» наизнанку (чтобы не узнали – пояснил Вадим Сергеевич) и пересекли улицу.

– И что там было? – спросила я, оторопев от их конспирации.

– А, разная ерунда, – небрежно сказал Вадим Сергеевич, – пластмасса. Пластмассовые кнуты, кандалы, какие-то ошейники с шипами, тряпки, еще... ну, в общем, муляжи. Так, дребедень, ничего интересного.

Я подумала, что самым интересным среди пластмассовой дребедени были они сами – мужики в вывернутых наизнанку плащах, и что эта маскировка была рискованнее всего в их приключении.

Вернулась звукооператор, сказала, что можно прослушать пленку, и я попрощалась с Шефнером. Все оказалось еще хуже, чем я ожидала: наши голоса звучали тоскливо, лучше всего вышло «вышел зайчик погулять», но он не имел отношения к теме. Я переписала диалог на бумагу, утром принесла редактору и получила по полной программе: он кричал, что это кощунство, скандал, и, наверное, был прав. Они кое-как перемонтировали пленку, передача вышла в эфир, а я покинула радио с легким сердцем.

– Ты не отчаивайся, – сказал мой покровитель, – подождем, пока они остынут, все забудется, и вернешься туда. До сих пор они были тобой довольны.

– Коленька, дорогой, – взмолилась я, – не надо больше ничего для меня делать. Ты видишь, я бездарная, у меня ничего не получается.

– Нет, ты талантливая, – строго сказал он, – а не получается, потому что всему учишься «с колёс».

– Скорее, под колесами, – пробормотала я. – Давай на этом закончим.

Он вроде бы согласился, но вскоре опять позвонил: «Я пробил для тебя на телевидении передачу про Чуркина».

– Про какого Чуркина? – ужаснулась я.

– Александр Дмитриевич Чуркин, поэт-песенник. «Далеко-далеко, где кочуют туманы... И ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой...» – фальшиво пропел Коля. – Поговоришь с Соловьевым-Седым, с Рождественским, с Чепуровым, с вдовой Чуркина. Не тушуйся, все у тебя получится.

И я подумала, что, наверное, получится, ведь «Далеко-далеко» и «платок голубой» сопровождали меня с детства.

В назначенный час я пришла к Соловьеву-Седому. Открылась тяжелая сейфовая дверь, за ней оказался мальчик в парадной пионерской форме. Может быть, у знаменитого композитора дежурит пионерский пост? Мальчик сказал в приоткрытую дверь комнаты: «Дед, это к тебе» и ушел вглубь квартиры. Я постучалась и вошла. Коля говорил, что Василий Павлович – человек простой и демократичный, и действительно, он выглядел в высшей степени демократично: в тренировочных штанах, теплой исподней рубаше, похожий на потертого игрушечного льва. Он отложил «Зарубежный детектив», кивнул на кресло и стал молча разглядывать меня.

– Василий Павлович, на телевидении готовится передача о поэте Чуркине. У Вас много песен на его слова, и мне хотелось бы узнать о вашей совместной работе.

– Что именно?

– Ну, например, каким человеком был Александр Дмитриевич?

– Ах, человеком? – протянул композитор. – Так себе человек, займет денег в долг и не возвращает.

– Это интересно, но не слишком годится для передачи. Неужели он запомнился Вам только этим?

– Почему ко мне прислали девчонку? Позвоню на телевидение и спрошу, почему ко мне прислали девчонку, – сказал он в пространство.

Я промолчала.

– Так что вас конкретно интересует?

– Ваше творческое сотрудничество началось до войны и продолжалось много лет. «Вечер на рейде», например, стал народной песней... Когда вы познакомились с Александром Дмитриевичем?

– Подойдите к шкафу, посмотрите на третьей полке и все узнаете.

На третьей полке стояло несколько книг, все – о творчестве Василия Павловича. Я выбрала самую толстую и вернулась к столу. Он взял детектив, и мы принялись читать – каждый свое. Я просмотрела все книги о Соловьеве-Седом, выписала названия песен на слова Чуркина, но других сведений о нем почти не

было. Возможно, Василия Павловича смягчило мое усердие, и он миролюбиво сказал:

– Вообще-то это делается не так. Вы пишете текст моего выступления, покажете мне, и я одобряю – или не одобряю.

– Здесь сказано, что вы познакомились в тридцатых годах.

– В тридцатых, тридцатых... Выпишите все, что вам нужно, и сочините текст.

И он снова взялся за детектив. Детективов в комнате было множество – на рояле, на журнальном столике – книги и машинописные переводы романов Агаты Кристи. Я пристрастилась к детективам, когда долго, мучительно умирал отец, – вымышленные ужасы помогали отвлечься от настоящего. А от какого страха он заслонялся этим чтивом? Для поколения моего отца его имя звучало как пароль: «Композитор?» – «Соловьев-Седой». В комнате с серым паркетом, ветхой мебелью, пыльным роялем витала печаль угасания. «Его песни не стареют, а он устал. Отсюда и раздражение», – думала я, возвращая книги на полку.

– Прочтете мне по телефону, что сочинили, тогда и решим, – сказал Соловьев-Седой. Мальчик в пионерской форме закрыл за мной дверь.

Из биографической справки и книг я мало узнала о Чуркине. Из сборников его стихов – и того меньше. Автор плохих виршей и нескольких хороших песен, родом из северной деревни, из бедной крестьянской семьи, в двадцатых годах – командир Красной армии, но в партию почему-то вступил лишь в 1949 году, – в биографии моего героя было мало внятного. Оставался один выход – придумать его. Возьмем за образец поэта Александра Прокофьева, они одного поколения, оба из северных деревень, из крестьянских семей, Прокофьев даже не из бедной, а *беднейшей*. Александр Андреевич Прокофьев был чрезвычайно колоритной личностью, временами напоминавшей «самодуров» из пьес Островского – попробуем создать Чуркина по этой модели.

На встречу с поэтом Анатолием Чепуровым я пришла с готовым текстом его выступления. В лиловом домашнем костюме, в сафьяновых тапках с опушкой, он напоминал толстого принаряженного ребенка. И кабинет у него был нарядный: плюшевая мебель, светлый лакированный паркет, милые безделушки на письменном столе. Он принял заготовленную мной «рыбу» как должное, читал, благосклонно кивая: «Да, верно...». Особенно ему понравилась фраза о том, что Чуркин был человеком добрым, но принципиальным, он дважды прочел ее вслух.

– Вот это главное: «добрый, но принципиальный». Таких людей мало осталось, уходит старая гвардия. Теперь нас иногда упрекают, что мы не продвигаем молодежь, не печатаем, не

принимаем в Союз... Мы рады молодым, но сейчас многие такое пишут, что уши вянут, полная безыдейность. А настоящий талант всегда пробьется, и мы поддержим... Вы хорошо это сформулировали, с пониманием: добрый, но принципиальный. Такие журналисты нам нужны. А вы еще что-нибудь пишете?

– Стихи. Но я не печатаюсь.

– Почему не печатаетесь? – с упреком спросил он. – Молодежь надо продвигать. Сдайте рукопись в «Лениздат», я напишу рекомендацию. Такие люди нам нужны.

Я знала, что таких, как я и мои друзья, «Лениздат» не подпустит на пушечный выстрел, но мне не хотелось его огорчать. Человек с мягким лицом, предрекавший мне большое будущее, кажется, действительно был добрым, хотя и принципиальным.

В доме поэта Всеволода Рождественского, в отличие от сумрачного жилья Соловьева-Седого и квартиры Чепурова, сохранился дух старой петербургской жизни, и сам хозяин был породист и сухощав. На стенах кабинета висели фотографии, среди них Блок и Мандельштам. Пока я читала дарственную надпись Мандельштама Рождественскому, он сказал:

– У меня и его письма были... – настороженно поглядел на меня и добавил, – но пришлось уничтожить. И письма Блока были...

Я не решилась спросить, как он распорядился письмами Блока, и приступила к разговору о Чуркине. Оказалось, что у Рождественского был готов текст воспоминаний. Он взял листок, начал читать, и первая фраза меня ошеломила: «Я познакомился с покойным в 1942-м году, когда мы вместе работали в бригаде поэтов при политуправлении Балтфлота». Однажды они с Чуркиным, которого он упорно именовал покойным, заблудились в болоте, но покойный сохранил присутствие духа, и они выбрались.

Я вспомнила встречу с Всеволодом Рождественским в редакции «Невы», где он распекал меня за стихи: я не вижу окружающей жизни, не отражаю современности – но одно стихотворение одобрил. С наивным желанием сделать его «проходным», я назвала его «Полина Анненкова». Рождественский похвалил меня за то, что я написала о пролетарской девушке. Каким образом французская модистка Полина Гебль оказалась пролетарской девушкой, было совершенно непонятно. Тогда я решила, что он либо выжил из ума, либо, скорее всего, притворяется. Между тем Рождественский закончил читать и вопросительно взглянул на меня.

– Замечательно, Всеволод Александрович, но может быть, слово «покойный» заменить на «Чуркин»?

– Но ведь он же умер, – возразил поэт.

– Конечно, но «мы с покойным ползли по болоту» звучит немного странно. Может быть, заменим?

– Давайте заменим, – согласился он и отдал мне листок.

Теперь предстояло написать текст для Соловьева-Седого и встретиться с вдовой Чуркина. По выпискам из книг о Соловьеве-Седом я сочинила нечто о становлении советской песни в тридцатых годах, о творческом содружестве Чуркина с композиторами Держинским и Соловьевым-Седым, о музыке военного и послевоенного времени, с лирическим отступлением о «Вечере на рейде». Получилось гладко, и я уверенно прочла свое сочинение Соловьеву-Седому по телефону. Он сердито сопел в трубку и, дослушав до конца, рывкнул:

— Что за глупость вы там написали? Мы познакомились не в тридцать третьем, а в тридцать четвертом году!

— А откуда мне знать, ведь это вы познакомились, а не я! В вашей книге написано — в тридцать третьем году!

Он помолчал и неожиданно спокойно сказал:

— Потому что дураки писали. Ладно, годится, только исправьте год.

По мнению редактора, все было готово, можно обойтись и без вдовы, но меня тревожил придуманный мной Чуркин. Он был конструкцией из разнородных, кое-как пригнанных друг к другу частей: брюзгливое «долгов не возвращал» и казенная гладкопись воспоминаний Соловьева-Седого; жестяная пустышка текста Чепурова — принципиальный, требовательный, твердо отстаивал партийную линию; и, наконец, мифический «покойный», выведший из болота Рождественского. Я поделилась сомнениями с Колей, он заверил, что редактор знает, что говорит, но по неопытности я ему не поверила. И пошла в дом на улице Фурманова, к семье Александра Чуркина.

Меня встретила неряшливо одетая женщина, вдова поэта. И квартира была подстать ей — с темными обоями, скрипучими стульями и засаленной клеенкой на кухонном столе. Все здесь говорило о беде, разорившей и разрушившей жизнь. Похоже, квартира была выгорожена из какого-то зала — два широких парадных окна были слишком велики для комнаты. На потертом кожаном диване сидел молодой человек, он лениво поднялся, подал мне руку, и снова сел. «Это сын, сын, — торопливо сказала женщина. — А мы с вами пойдем на кухню». Пол кухни был застелен газетами, а на них рассыпаны яблоки.

— Хотите чаю?

В кухне было грязновато, и чаю мне не хотелось, но я согласилась. Теперь я разглядела женщину: она была еще хороша — с гладкой кожей, с короной косы на голове, а в молодости, видно, была красавицей. Но лихорадочный румянец, пристальный, просительный взгляд и слишком быстрая речь вызывали беспокойство и жалость. Она говорила, а я слушала, прихлебывая остывавший чай. Они с Александром Дмитриевичем познакомились в тридцатых годах, она была администратором в Доме писателя, а он — известным поэтом.

— Он был богатый, веселый, прекрасно одевался. И очень добрый. Они с Мишей Зощенко были самыми богатыми в Сою-

зе писателей и раздавали деньги всем, кто просил, а те обычно не возвращали. Но Саша смотрел на это легко и никогда не сердился. Я иногда встречаю их, а они все забыли... – сказала она растерянно.

Он очень красиво ухаживал за ней, и она влюбилась. Несмотря на большую разницу в годах, они были счастливы, любили устраивать широкие застолья, у них было много друзей, и гости не переводились.

– Здесь от Союза два шага, и после собраний Александр Дмитриевич всегда приводил целую ватагу приятелей.

Перед войной у них родился сын, и Саша был так счастлив. Ведь он у нас единственный, поздний ребенок...

Поздний ребенок иронически хмыкнул, и она испуганно взглянула на него. В начале войны они с сыном остались в городе, а Александра Дмитриевича командировали на Балтийский флот. Он, когда мог, передавал им посылки, но все равно ей с сыном было очень тяжело.

– Я боялась оставлять его дома, – торопливо говорила она, – тогда детей крали, особенно маленьких. Я с ним ходила отovarивать карточки, заверну в ватное одеяло, стою в очереди – только бы не упасть. Конечно, у меня были деньги, я могла что-то прикупить... У нас на углу продавали студень, и люди покупали, а однажды в студне нашли детские ноготки. Знаете, такие синие детские ноготки – тогда крали младенцев и варили из них студень...

Я видела, что она, мягко говоря, не в себе. Сын из полутемной комнаты смотрел с кривой усмешкой – «Сообразила, наконец?». Она продолжала говорить о краденых младенцах, ее словно заклинило на этом ужасе, и я кивала, стараясь не вникать в слова. Она говорила то слишком громко, то переходила на шепот, тревожно глядя туда, где сидел сын, – о раздражительности мужа в последние годы, о том, как он переживал смерть друзей, сердился на сына – «но он любил его, любил больше всех!», как во время болезни боялся, что они пропадут без него. Его песни исполняли все реже, а это было основным доходом семьи.

– Он говорил, что когда умрет, я продам его архив в Пушкинский Дом и получу деньги. А они отказались. Архив Шаши Прокофьева купили, а Александра Дмитриевича не взяли, – сказала она и заплакала. – Может, вы можете как-то через телевидение повлиять?

Она смотрела с надеждой, и я сказала, что спрошу на телевидении, но от них вряд ли что зависит, в Пушкинском Доме свои правила. Может быть, отдать им архив на хранение, пусть даже бесплатно?

Она успокоилась и кивала, словно получив твердое обещание, что я улажу это трудное дело.

– Хотите посмотреть пластинки, там все песни Александра Дмитриевича?

Кипа пластинок в бумажных футлярах, тяжелые патефонные диски, памятные мне с детства. Видно, их часто проигрывали, на них были царапины от патефонной иглы.

– Хотите послушать?

– Мама, уже поздно, ты и так слишком задержала товарища, – сказал сын.

«Товарищ» прозвучало насмешливо, и она смутилась, пробормотала «да, да, конечно» и бережно придвинула пластинки к себе. Жалко ее было до невозможности, хотелось хоть на миг вырвать ее из отчаяния, пусть бы она выговорились, что ли... Но она молчала и чертила ногтем на клеенке.

– Действительно, пора идти. Спасибо вам большое.

– Да, да... А яблоки-то, – спохватилась она. – Возьмите яблоки, это из нашего сада. Они мелкие, но сладкие, берите, берите...

Она насыпала яблоки в сетку и вручила мне в прихожей.

– Я вас провожу, – сказал сын.

Мне не хотелось, чтобы этот хмурый человек провожал меня, но он оделся, и мы вышли.

– И охота вам всем этим заниматься? – спросил он.

Я промолчала, а он с той же кривой усмешкой сообщил, что у нас есть общий знакомый, и назвал имя прозаика из «неофициальной литературы», успешно пропивавшего свой талант.

– Вот это настоящая литература, а то, что писал отец и вся их писательская кодла – туфта, – сказал он с вызовом.

Он был коренастый, некрасивый, очень похожий на отца, и, судя по виду, давно и основательно пил. Бедная женщина, это все, что осталось ей в наследство от счастливой жизни.

– Вам не жалко мать? По-моему, ей очень плохо, она явно нуждается в помощи.

– Жалко, конечно, – он пожал плечами, – а чем я могу помочь? Она зациклилась на отце, всю жизнь только он, никогда ничего и никого кругом не видела. А после его смерти уже год как с ума сходит. Мне бы кто помог всего этого не видеть...

Он говорил раздраженно, с обидой, и мне показалось, что ему недоставало ее любви, она принадлежала ему сполна лишь в раннем детстве, во времена блокады и «синих ноготков». Так ли важно, что Александр Чуркин был плохим поэтом, если он заслужил великую любовь женщины, и даже сейчас, после смерти, вслед ему бьется платок голубой с земного берега. Я вдруг увидела ее, как себя в детстве, – в холодном, пустом пространстве, с грубой сумой сиротства, бредущей сквозь безжизненный шелест ржи и высокий, тоскующий голос ветра. Передача об Александре Чуркине вышла в эфир – с множеством фотографий, стихами, кинохроникой, фрагментами песен и воспоминаниями друзей. Мастера с телевидения сумели придать ей теплую грусть, воспоминания друзей под мелодию «Далеко-далеко, где кочуют туманы» звучали прочувствованно, а я думала, что, наверное, заслужила ту сетку яблок из сада Александра Дмитриевича Чуркина.

Велвл Чернин

МОЛИТВА О ДОЖДЕ

Перевод с идиша Валерия Слуцкого

ПОСЛЕ КОНЦА ВРЕМЕН

Что-то
Шевельнулось в ночи.
Кошка? Рыба? Возможно, крыса?
Как-то странно все. Неужели – сон?
Эти капли – они реальны?
Может быть, с петель
Дверь соскочила?..

Нет. Не кошка это, не рыба.
И не крысья возня
В шумно захлопнувшейся ловушке.
И не дождь, струящийся по стеклу.
Но – бесконечность, наличие пустоты,
Ранящей отсутствием звука.

Мягко превратились дома
В горки сладко-душистой пыли.
А вокруг – ничего,
Я сказал бы, кроме окончательного покоя.

Ну а люди?
Бог знает, куда исчезли
С возносящимся к небу воплем:
Аллилуйя!

Кфар-Саба, 1998

НА ЗЕМЛЕ

Я молился о дожде, –
Мол, иссохнуть не оставь!
Дождь прилепал по воде
Иль (кто знает?) прибыл вплавь.

Маюсь дома. Муть и грязь.
Устремись к двери – стоп!
Созерцай в окне потоп,
На себя же рассердись:

Для чего, де, рьян и скор,
Я молился? Лишь врагу
Год такой желать могу.
Полетит, как пить, мотор.

Божий дар! То рев, то шип.
Под обвалом водных стен
Я насквозь благословен.
Чтобы гром меня прошиб!

Силы собственной мольбы
Я не знал, просив дождя,
Путь к превратностям судьбы
Сам себе загорода.

Кдумим, 2000

УВЕРЕННОСТЬ

Белый осел ступает (копыта его легки)
По седому булыжнику и пожелтевшим травам.
Ароматна тень смоковниц.

Осиротевшие лозы приникли к скалам,
Испещренным рубцами щербин (следы
Поцелуев солнца и ласки ливней).

Белый осел ступает (тверже цокот копыт)
И на горном подъеме, ведущем в ясность глубин,
У источника медлит

(Грозен блеск живящей воды).

И не зрится ангел с мечом,
Некогда подстерегавший в Моаве
Умную и разговорчивую ослицу.

Белый осел стоит
На вершине Масличной горы, далеко от зданий,
Синагожек, реальности и мечты.

Лишь мгновение – и начнет искать
Заслоненный могилами путь к воротам.

Кдумим, 2000

ГРОБНИЦА ИОСИФА

Точно пес, что смотрит издалека
На свой разоренный двор,
И, вертясь вокруг,
Не отваживается войти,
Я стою, побитый,
На вершине горы

И взираю горестно сверху вниз,
И облизываюсь. А раны
Ноют еще
И не дают уйти.

Высится святая гора,
Иссеченная шрамами прежних войн,
И руинами древних капищ,
И бетоном новых заградительных стен.
Я, скрывающийся в тени,
Зубы точу накануне битвы
С терпеливой яростью –
Точно пес.

Кирьят-Луза – Кфар-Эльдад, 2002

А МОРЕ НЕ ПЕРЕПОЛНЯЕТСЯ

Из бреши в бытии,
Как мед из песни, сладко
Сочится сущность – я.
Не раз перечитав
Писанья, брел туда,
Где виделась разгадка,
Но алеф находил,
Каким сменялся тав.

И жизненную даль
Окидывая взором –
Возможное и всё,
Что будет или есть –
Встречаю сам себя
Как ближнего, с которым
В разлуке был, о ком
Так радовала весть.

Вздымались глыбы гор
Над водами. Высоты
Показывали мне
Сколь пропасть глубока,
Зияньем черноты
Внушая, – помни, кто ты,
Всего лишь смертный. Что ж,
Иди и сей пока.

Запутаны пути,
И дали смысла дымны.
Рассудку не дано
Достичь в хаосе дна.

В порыве бунтаря
Слагай по-рабски гимны,
И курицу кормя,
Вздыхай – на что годна.

Закрыты небеса,
И рубежи нечетки,
Заплакан горизонт,
И в топах брода нет.
Я весел там и здесь.
А где-то посередке,
На стыке полюсов
Взрывает точку свет.

Рамат-Ган, 2002

* * *

С винтовкой в руке...

Из Шварцмана

Так и будешь сидеть,
В неизбывное взор обратив,
И отступят мечты и мешавшая быть быстрина.
И ломавший бокалы размашистым звоном вина
Не вернется звучать
Сладковатый с кислинкой мотив.

Будет дерево там –
Смоковница, на смоквы щедра.
И дарящий надежностью щит виноградной стены.
Там в уютную давность тепло и покой вплетены,
Не сменяются дни –
Только света и тени игра.

Времена, отменясь,
Не ведут исчисления годам.
Завершилась история. Только – струение вод
Вниз и вверх. И, не мысля, всему, что обнял небосвод,
Будешь телом внимать,
Неподвижно склонившийся там.

И останешься быть
И вкушать неотменность плода
Давней мудрости всеобладанья, спасен от тщеты,
И жалеть поколенья – не знают, что ведаешь ты,
Возвратившийся в сад
Не эдемский, но – тайны «всегда».

Кдумим, 2002

Игорь Коган

«MADE IN CHINA»

В русской газете сообщалось, что с завершением советской власти многие артиллеристы продолжают ходить в касках, ожидая приказа товарища Сталина... Жиды и комиссары проводят среди них разъяснительную работу, но артиллеристы испытывают недоверие к новому командному составу, сомневаются и курят папиросы «Прибой»...

Витя отложил газету и посмотрел на Илью Марковича.

– «Институт жидов и комиссаров» был отменен еще в двадцатых годах, – сердито прокомментировал Илья Маркович.

– А я, знаете, посчитал это неудачной метафорой, – заметил Витя. – Как «поджигатели войны», что ли.

– Настоящие публицисты улицы метут. А вот дрянные устроились по блату и печатают, понимаешь, про какого-то Марата Лошака, будто его собираются утвердить на должность главного раввина русской православной церкви. А этого Маратика Лошака, – Илья Маркович поднял палец, – мы еще по Караганде знаем, он всю жизнь был вор, мусульманин и басмач.

– Россия, все-таки, непредсказуемая страна, – сказал Витя. – А с нашего Ближнего Востока нам все еще и видится в особом свете.

С улицы послышался какой-то необычный шум, взвыла полицейская сирена, и Илья Маркович с Витей подошли к окну. Из-за угла соседнего дома показались запыленные советские военные в касках, которые нестройно топали за развевающимся красным знаменем, волоча за собой пушки на колесах.

– Это кто?! – спросил Витя шепотом.

– Таки артиллеристы! – хлопнул себя по бедрам Илья Маркович. – Давай быстрее вниз!

Колонна встала на перекрестке на красный свет. Сержант-знаменосец опустил древко знамени на асфальт и вытер платком пот под каской.

– Сколько батарей? – подбегая, спросил Илья Маркович.

– Сотни тысяч, – доложил сержант.

– А старший – кто?

– Командир Лошак Марат Оскарович. Но он в Москве пока остался – документально оформить измену Родине на всех и еще кое-какие бумаги.

– А почему именно к нам? – вмешался Витя. – Зачем непременно сюда?

– Потому что у вас страна, которая регулярно ведет боевые действия, и живет, значит, по Уставу гарнизонной и караульной службы.

– Это вместо того, чтобы демобилизовываться, они в Израиль прибыли, – свистящим шепотом сказал Вите Илья Маркович. – А ну, спроси их, кто они по национальности.

– А кто вы по национальности? – спросил Витя.

– Мы – газахическая военщина, – объяснил с апломбом рябой артиллерист. – За слезы наших матерей! Песни народные знать надо, земляк.

Зажегся зеленый свет, и колонна двинулась через перекресток.

– А делать у нас что будете? – засеменил сбоку Витя. – Делать что?

– Артиллеристы обязываются участвовать во вражеской летной деятельности посредством зенитных снарядов. Так и передай.

– Ребята, а есть кто из Караганды? – выкрикивал с другой стороны колонны Илья Маркович, с трудом поспевая в ногу со всеми. – Ну, хоть один, а?

– Караганда-тараманда, – передразнил усатый ефрейтор в ржавой каске. – Девки свободных профессий пусть целину поднимают. А по национальному вопросу мы поддерживаем вашу международную страну евреев. Склады поставим, пушки будем беречь и кушать фаршированную рыбу. Дед, каску продаю.

– Зачем?

– Бери так, на! – ефрейтор снял ржавую каску и надел Илье Марковичу поверх шляпы. – На мотоцикле по Тель-Авиву гонять весной, знаешь, как каштаны отскакивают...

– Товарищи, товарищи! – задыхаясь, говорил Витя. – Что ж вы так неожиданно? Только вот во вчерашней газете было... А вы уже...

– Не бойсь, – подмигнул рябой артиллерист. – Тебя, земляк, командиры, случайно, не учили иметь затруднения в интимной сфере?

– Что?..

– Сидоров у нас интеллигентный военный, – ответил за рябого ефрейтор. – Это он так матюкается.

– Потому что в армии без ругательств нельзя, – объяснил Сидоров. – А вот в чем главное артиллерийское достоинство?

– В чем?..

– «Осознание своего места в расчете орудия является одним из секретов счастья». Это еще майор Декарт сказал.

– Декарт был не майор, – тревожно заметил Витя, но другие солдаты громко засмеялись и посмотрели на него как на дурака.

Витя остановился, и колонна прошагала мимо. На противоположной стороне улицы сиротливо стоял Илья Маркович в ржавой каске и чиркал зажигалкой.

– Боже мой! – сказал Витя. – Это катастрофа! Раз властям наплевать, надо немедленно сообщить в «Южное ироническое общество» ответственному за красноармейские убеждения...

– Бросьте, не надо впутывать масонов, – произнес Илья Маркович.

– Масоны – говно. Будем наблюдать. Может, само рассосется.

Они медленно пошли по улице, и Илья Маркович купил по дороге в киоске синюю пачку папирос «Прибой».

– Ага! Ждали, – удовлетворенно сказал он, рассматривая картинку. Вы заметили, я уплатил не десять шекелей, а двенадцать копеек, и Шломо взял как миленький.

– Он, наверное, русский шпион, – убито сказал Витя. – В северной Африке с пятидесятых годов было полно советских военных баз.

– Так будете папироску?

– Что вы, не курю... А у них у всех от сапог, наверно, ноги плохо пахнут. Там, где назначат места дислокации, жилье теперь подешевеет.

Русские газеты на следующий день вышли с аршинными фотографиями артиллеристов и комментариями. Общее мнение было, что в русле проекта предвоенной дружбы народов прибытие формирований надо приветствовать, поскольку личный состав безусловно потенциален, артиллеристы будут исполнять мужской долг, женившись на одиноких дешевых девушках. Единым махом, писали газеты, ликвидируем проституцию и докажем всем, что не красота, понимаешь, а порядок спасет мир!

– Ну! Артиллерийская параноя большевистской ориентации! – отшвырнул газету Илья Маркович. – Я вчера просматривал «Атлас местечковых народов мира», так там, куда ни ткни, везде Израиль на каждой странице. То от Нила до Евфрата, то от Кубани до Волги... И везде кибуцы, кибуцы... Имени Урицкого, Рутенберга и этой бабы, как ее... Розы Люксембург. А военные ведь по карте ориентируются. Что вы хотите?

– И пить они будут не соевое «Шампанское», – пронизательно заметил Витя.

– Они не будут пить соевое «Шампанское». – Илья Маркович помахал над собой ржавой каской. – Я пожилой человек, я служил в артиллерии. Я видел, что пьют артиллеристы. Хотя вы и взрослый, я не могу вам сказать...

Витя в отвратительном настроении спустился вниз, сел в свои розовые «Жигули» и поехал в редакцию рекламной газеты «Альтшуллернатива», где работал вторым издателем.

В приемной его ожидала женщина в панамке.

– Я Люся Предущенко! – заявила она. – А не Пердущенко, как у вас напечатано.

– Извините, вкралась опечатка. Это вы наемный работник, у которого один из родителей урод?.. – наугад спросил Витя, боком продвигаясь в кабинет. – Мы вам действительно отвечали в статье по поводу Службы национального страхования.

– Я – автор! – заорала женщина. – Где моя реклама?

– Ой, простите, – вдруг вспомнил Витя, – ваша творческая деятельность, кажется, состоит в том, что вы наплевываете маком черно-белые исторические картины? да?

– Я оставляла вам для рекламы репродукцию картины «Физкультурницы приносят товарищу Жданову в жертву собаку Павлова». А вы дали портрет бандита Семы Чернопацана. Что вы себе думаете?

– Я человек из семьи с безукоризненным юридическим прошлым, – чопорно ответил Витя. – Если мы ошиблись, я напечатаю вашу репродукцию. Или верну деньги!

Он снял со шкафа мандолину и начал пощипывать струны, всем видом показывая, что разговор окончен.

– Вы со своей балалайкой невероятный инвалид! – бросила женщина и ушла, хлопнув дверью.

– Вот, вроде культурная страна, – обратился Витя к заглянувшему на шум Альтшуллеру. – Но несовпадение менталитетов страшное. Какая-то Пердущенко. потом артиллеристы. Лошак... И климат, кстати, отвратительный. Надо что-то делать.

– Нужны деньги, – сказал Альтшуллер. – Если б вы были женаты, я бы тайком убил вашу жену, а страховку поделили. Единственный способ в этой стране заработать. Я должен банку двадцать шесть тысяч!

– Вы бы сами могли жениться, – желчно сказал Витя.

Он отложил мандолину и сел к компьютеру сочинять статью про Исламскую Сионистскую Организацию из Средней Азии, которая по примеру американских евангелистов собрала Израилью на абсорбцию миллион долларов.

«Возникает ситуация автоматического кренинизма, – отстукивал на клавиатуре Витя. – Парадокс постсионизма заключается еще и в том, что многие дети советских бытовых антисемитов стали израильскими агрессорами, а их малограмотные родители вместо «русских партий» упорно голосуют за «Ликуд»...»

В четверг, возвращаясь вечером с работы, Витя увидел на скамейке возле подъезда Илью Марковича, который курил «Прибой» и читал газету.

– Полубуйтесь, что пишут! – сказал он. – «Открытие европейских социологов: оказывается, Лолита – это и есть «великая американская мечта»! А вот здесь, в корреспонденции из Нью-Йорка, сказано, что единственной в мире страной, членом ООН, в которой окончательно решается еврейский вопрос, – является Израиль!

– Дайте сюда! – Витя бегло просмотрел первую и вторую полосы, затем сложил газету и вернул Илье Марковичу.

– Ясно, – сказал он. – Знаете, с тех пор, как я живу здесь, у меня нет чувства направления. Мне иногда снится, что я играю на аккордеоне и напеваю на мотив «Темной ночи» про каких-то трех шлюх у дороги. Одна курит сигарету, другая плюет через дырку в зубах, а третья вообще, пошла и села в кусты...

– У вас есть музыкальное образование? – участливо спросил Илья Маркович.

– Конечно, я же настройщик.

– В этом климате музыка звучит хмуро. Это потому, что инструменты рассыхаются?

– Нет. Это потому, что здесь фортепиано электрические, без души, – объяснил Витя. Я не верю в электричество, поэтому работаю в газете.

– Слушайте, пойдете в парк, – встрепенулся Илья Маркович. – Что-то у меня в носу не так хорошо. Некультурно сморкаться на асфальт, а платков не продают.

– Я как-то служил здесь в охране, и тоже без носового платка, – оживленно начал вспоминать по дороге Витя. – Стерег клуб пенсионеров банка Апоалим. И тоже что-то в носу зачесалось. Так я решил при всех незаметно дунуть ноздрей в сторону, чтобы лишнее вылетело. А дунул – и вылетела здоровенная сопля...

– И что?

– Уволили, конечно.

– Что ни говори, Израиль – цивилизованная страна... – останавливаясь, сказал Илья Маркович. – Только о-о-очень маленькая. Вот плюнешь не так или сморкнешься, и попадешь в хуль, чтоб они были здоровы.

– Что?

– «Хуль» на иврите – заграница. Я думал, вы знаете... Кто это нам рукой машет?

Они подошли ближе и поздоровались с рябым мужчиной.

– Да это же артиллерист Сидоров! – шепнул Витя. – Который матюкается

– Товарищ солдат, как устроились? – громко спросил Илья Маркович,

– Спасибо. Вложил вот вчера доллары. Буду содержать кровать милосердия в доме краткосрочных переживаний на улице Бальфур.

– А другие солдаты?

– Служат... – неопределенно ответил Сидоров.

Витя с Ильей Марковичем прошли еще несколько шагов и увидели группу людей, обступивших скамейку, на которой стоял человек в кипе и с массивным православным крестом на груди.

– Ой! Это Лошак!.. – сказал Илья Маркович. – А ведь говорили, он в России остался оформлять измену.

– Таким образом, – громко вещал Лошак, – новое православное течение в иудаизме совместно с Исламской Сионист-

ской Организацией может стать основой объединения религий в новый Союз Советских Социалистических Республик от Инда до Евфрата и от Кубани до Волги.

– А синагоги будут? – громко спросила белокурая курносая девушка.

– В новых синагогах мужчины и женщины будут молиться рядом, – ответил Лошак и пронзительно посмотрел на Витю синими глазами. – И будут вместе окунаться в микву.

– Без купальных костюмов! – уточнил Сидоров.

– Только по престольным праздникам, – отрезал Лошак.

– Вот и у нас в обществе завелись артиллеристы... – сказал по дороге домой Илья Маркович. – Как вы думаете, что будет?

«Артиллеристы, Сталин дал приказ!» – пропел Витя. – Думаю, ничего страшного. Не те времена

– Я благодарен Хрущеву, – сказал Илья Маркович. – Если бы не он... Вы – молодой человек. Не помните.

– Мне пятьдесят два! – обиделся Витя. – Я все помню. Мне даже недавно приснилось, что я лежу с Хрущевым в постели и с такой нежностью, с таким пристрастием целую его в лоб. И жалуюсь ему: «Никита Сергеевич, говорю, подумайте, государственный советник юстиции третьего класса получает всего сто восемьдесят рублей! Это же соответствует званию генерал-майора...» А он почему-то насупился и молчит.

– Так что вы хотите? Вы же беспартийный, а он все-таки был первый секретарь.

– Да-а... – вздохнул Витя. – В этом жутком климате теряется грань между действительностью и воображением... Я днем выхожу из машины, начинаю ее запирать – вижу, что-то не так. Под ноги глянул, батюшки, я ведь тени не отбрасываю!

– Это солнце было в зените.

– Я не дурак, все понимаю. Просто факт-то страшный!

– Хрущев не все успел сделать, – продолжал Илья Маркович. – Он очень правильно ставил перед академиками вопрос о борьбе с физическим вакуумом. Ведь что получается? Эта среда обладает колоссальной эквивалентной плотностью, которая в десять в девяносто пятой степени раз превышает плотность воды. И мы не сгустки материи в этой среде, а пузыри... Да с пузырярей – какой спрос?

– Вот именно... Знаете, мне на работе Альтшуллер как-то признался, что у нас абсолютно неправильно на все смотрят. Он, конечно, корыстный человек, но регулярно читает энциклопедию и слушает Голос Китая. Он мне говорит: вот вы представьте, что пошли на спектакль какого-нибудь Театра на Малой Бронной и стоите себе в перерыве в очереди в туалет. И тут к вам подходят сзади ангелы и тихо говорят, что вы сейчас стоите не в уборную, а находитесь в Потоке... Есть, понимаете, от чего прийти в замешательство!

– Дао, – глубокомысленно проговорил Илья Маркович. – Конечно, китайцы... Ведь они, обратите внимание, первыми и придумали артиллерию.

– Боже мой! Порох, ракеты!.. Теперь я, кажется, догадался! – останавливаясь, воскликнул Витя. – Послушайте... артиллерия, телевизоры, зонтики, чеснок, кроссовки, компьютеры, часы, телефоны, вся одежда и даже фильмы теперь китайские... Как же мы раньше не поняли!

– Хрущев разорвал отношения с китайцами, – сказал Илья Маркович.

– Но его сняли... И вот теперь везде Китай. Ведь почему кругом все такое непонятное и странное? Потому что философия жизни сейчас везде тоже китайская. А у нас никто и иероглифов толком не знает!

Витя внимательно посмотрел на Илью Марковича.

– Что вы смотрите? – насторожился Илья Маркович. – Я еврей.

– А я?

– Не знаю...

– Идемте! – решительно сказал Витя. – Идемте. Альтшуллер научил меня готовить рис.

– Ох, этот Альтшуллер. – вздохнул Илья Маркович, опираясь на Витин локоть. – Если бы люди знали! Если бы они знали, как он прав!..

Юлий Ким

*ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО**

Недавно мы со Щербаковым отметили наш скромный, личный юбилей. Двадцать лет тому назад мы с ним встретились, познакомились и подружились, и эта дружба длится по сей день и имеет перспективы и на дальнейшее. Итак, что же мне хочется сказать о Михаиле Константиновиче?

Есть такой поэт Евгений Рейн. Он соответствует всем самым стандартным (чтобы не сказать пошлым) представлениям о поэте. Он громогласный, лохматый, всегда восторженный, и всегда у него горящие глаза. Я помню, как он однажды знакомил меня с поэтессой Инной Лиснянской. Он подвёл меня к ней и сказал: «Инна Львовна, вот это Юлий Ким. Это замечательный бард! Это наш лучший бард! Он лучше Галича, лучше Высоцкого, лучше Окуджавы! Это моё мнение». Я не знал, куда деваться, а он продолжил обратное представление: «Юлик, это Инна Львовна Лиснянская. Это замечательная поэтесса! Она лучше Ахматовой, лучше Цветаевой! Это моё мнение».

Эта история пришла мне на ум, когда я задумался о том, что же мне сказать о Щербакове. Конечно, и у меня есть своя воображаемая золотая полка русской поэзии, и на этой полке, наряду с такими именами, как Иосиф Бродский и Давид Самойлов, для меня, несомненно, располагается имя Михаила Щербакова. Это моё мнение. Но думаю, не я один это мнение разделяю.

Миша неоднократно, шутя, себя называл с переносом ударения в середину фамилии – не Щербако́в, а Щербáков. Так вот, начало рассказа о его биографии у меня быстро сложилось:

Щербáков, добрый мой приятель,
Родился на берегах Протвы,
Где, может быть, родились вы
Или блистали, мой читатель.
Там некогда блистал и я.
Полезен Обнинск для меня.

Ибо Щербаков родился в Обнинске, а, кроме того, я действительно блистал в этом академическом оазисе, и даже однажды с Мишиной помощью, когда он мне устроил в родном городе концерт.

Но потом я подумал: зачем я буду описывать его биографию, это труд будущих литературоведов. Зачем я буду описывать его историческое значение, его мастерство, его виртуозную технику... Я,

* Произнесено в Петербурге перед концертом Михаила Щербакова 14.03.2003.

пожалуй, остановлюсь только на одной-единственной мысли, которую мне хочется подчеркнуть, и на одной легенде, которую мне хочется опровергнуть.

Дело в том, что Михаил Щербаков – это стопроцентный бард и стопроцентный небард, одновременно. Стопроцентный бард в том смысле, что он исключительно, единственно, чем занимается в жизни, – это сочинением, исполнением и записью собственных песен. В этом смысле я не знаю, какой ещё бард выглядит рядом с ним столь же стопроцентным. Я – нет, потому что еще занимаюсь театром, пишу пьесы какие-то, оснащаю своими песнями чужие произведения. Городничий одной рукой пишет песни, другой просто стихотворные тексты, а третьей ищет Атлантиду, как известно, и занимается океанографией. Сухарев пишет тексты и одновременно руководит нашей биологией. И т. д. и т. п. Все чем-то попутно заняты. Щербаков занимается только песней.

Но одновременно он стопроцентный небард, вот в каком, пожалуй, смысле. Дело в том, что слово «бард» к Михаилу Щербакову, как ни странно, не так легко применимо как ко многим известным уже перечисленным мною именам. Слово «бард» немножко узковато для него. Конечно, в первую очередь, это поэт. И его отношение к делу называется очень высоким и очень, мне кажется, точным словом: «служение». Вот таким служением был занят всю жизнь Иосиф Александрович, перечисленный мной, и Давид Самойлович. Из наших бардов, занимавшихся служением высокому делу поэзии, может быть, я назвал бы только два, представьте себе, имени – это Булат Окуджава и Новелла Матвеева. И даже Галича, и даже Высоцкого я не могу назвать в этом ряду. Это больше чем поэтическая потребность писать стихи и песни. Это понятие своего дела как некоторой миссии, с очень высокой ответственностью и с очень высоким требованием к качеству этого дела. Вот что, мне кажется, отличает Мишу от общего этого братства бардов.

И наконец, два слова относительно легенды, которую я хочу опровергнуть. Щербаков – при первом же с ним знакомстве, когда я услышал первую порцию песен, сочинённых им в 18, 19 и 20 лет (ему было 20 лет, когда мы познакомились) – сразу заявил о себе как мощный мастер, я тут же это почувствовал. И я сразу понял, что в нём скрыта мощнейшая пружина саморазвития. Наверное, он кому-то обязан больше, может быть, и мне в том числе. Но я знаю, что он всех прочёл и впитал. Он состоялся бы как Щербаков и независимо от любых источников, независимо от нашей помощи или непомощи ему. Меня часто спрашивают: правда ли, что вы, как старик Державин, лиру ему передать хотели, так сказать, в гроб сходя... Или, как Жуковский, уже не готовлю ли я портрет с надписью «Победителю ученику от побеждённого учителя». Нет. Ничего этого не было и не будет, потому что Щербаков в учителях не нуждается. Он самодостаточен. Единственно, чем я могу гордиться, что я первый признал его, этим я горжусь, это мой приоритет, я на этом настаиваю.

Давид Самойлов как-то сказал: «Литератор должен уметь всё – писать стихи, писать прозу, писать драматургию, он должен полно-

стью чувствовать себя комфортно в создании русской литературы. Вот я, – говорил он, – во всех жанрах себя попробовал, включая даже литературоведческие изыскания». Михаил Константинович пока остаётся в жанре сочинения песен, песенной поэзии. И поэтому меня разбирает ужасное любопытство, каков-то он будет в прозе? Я думаю, что это где-то не за горами.

Итак, я не играл роли Державина при Пушкине в биографии Михаила Константиновича. Хотя, честно говоря, прилагал некоторые усилия к тому, что сейчас называют раскруткой. То есть, где бы то ни было, не скрывал своего восхищения, восторга, своего отношения к тому, что делал Щербаков, когда у меня спрашивали или когда даже не спрашивали. То есть рекламировал по мере сил. Не думаю, что это сыграло главную роль в становлении его аудитории, в становлении его популярности. Потому что она как-то устанавливалась своими собственными законами. Но что я этому содействовал – это было, действительно. Уже через три года после знакомства я об этом содействии написал небольшой стишок, где не скрывал своей прямой материальной заинтересованности.

Уж сколько лет, как мы знакомы
И даже, я скажу, родны.
И как бы к другу друг влекомы
Созвучьем коренной струны¹.

Пора оформить отношения.
Весьма формальности любя,
По части песен сочиненья
Пишу в наследники тебя.

Моя идея очевидна.
Твоя судьба ясна, завидна,
Поднявшись ввысь кариатидно,
Купаясь в славе, как в Крыму,
Ты потрясешь весь мир талантом,
И будешь ты богатым франтом.
Я захихикаю ехидно
И алимент с тебя возьму.

Чуть позже мои панегирики ещё больше возросли. У Маяковского в замечательном стихотворении «Юбилейное» есть такое обращение – в разговоре с Пушкиным он сопоставляет своё соседство в алфавите: «После смерти нам стоять почти что рядом. Вы на Пе, а я на эМ.» Дальше: «Кто меж нами? С кем велите знаться? Чересчур страна моя поэтами нища. Между нами, вот беда, позатесался Надсон. Мы попросим, чтоб его куда-нибудь на Ща!»

Исходя из этого оборота, я сочинил следующие стихи:

¹ Что такое коренная струна – я не знаю, но красиво.

Однажды в обществе Некрасова
С презрением пошлого хлыща
Владимир Маяковский Надсона
Послал куда-нибудь на Ща.

И Надсон, слёзы утираючи,
Побрёл дремучею тропой –
Но как воспрянул он, товарищи,
Когда добрёл до буквы той!

Шесть Щедриных², махая кепками,
Его приветствовали там.
Читали оду Щукин с Щепкиным,
Строитель Щусев бил в тамтам.

Сам руку жал товарищ Щёлоков,
Щербицкий подарил портрет.
Забрёл по дружбе лётчик Молоков,
По прежней буковке сосед.

А посреди питья и закуси
Вдруг всё затихло, трепеща –
Когда Щуко³ поставил записи
Неповторимого эМ. Ща!

Сам позавидовал Коперник
Созвездью яркому таковскому.
И долго Щепкина-Куперник
Язык казала Маяковскому.

В своих панегириках я потом пошёл дальше, просто ещё рука не дошла поднять все архивы, чтобы их извлечь. Вот когда стукнет Мише лет пятьдесят, вот, я думаю, тогда уже и опубликовать эту антологию панегириков в честь Щербакова, которая, глядишь, еще и пополнится.

² Проверено по энциклопедическому словарю.

³ Кто это – до сих пор не помню.

Михаил Щербakov

ЕСЛИ

ИНТЕРМЕДИЯ 5

Не в архиве при лампаде, не на Мойке в Петрограде,
не в роще у ручья, –
на московской Маросейке поместился на скамейке я.

В книгу взором я упёрся. Что читал – не помню, Бёрнса?
Хармса? не помню что.

Но легко, без проволочек, одолел примерно строчек сто.

Не мечтая о скандале, принялся читать я дале.

Но – еле принялся –

села на скамейку дама, из одних суставов прямо вся.

Только что в ларьке, где было дешёво, она купила
отечественных кур.

Два кота, что рядом спали, встрепенулись и сказали «мур».

– Надо же! – вздохнула дама, – это же кошмар и драма:
семь сорок за кило!

...А вокруг Москва гудела, солнце жгло, к июлю дело шло...

– Жулики! – взметнулась дама. – Не товар, одна реклама,
не куры – смех и грех.

Нет от этого товара ни бульона, ни навару, эх.

– Чтоб у них труба сломалась! Жулики! – не унималась
дама, – побей их Бог!

Мясо где? Сплошные кости. А у нас во вторник гости, ох.

– Ни за что, – взревела дама, – не приму такого срама,
лучше обратно сдать!

...И пошла сдавать обратно купленный почти бесплатно хлам...

Шевелиться не имея повода, сидел себе я,
обликом не светлел.

А кругом, гудя и воя, город каменный от зноя млел.

Кашлял он и задыхался. Я же вновь уткнулся в Хармса,
не молвил ничего.

Небо наземь не спустилось, но в душе моей сгустилось
некоторое хамство.

СЕРЕНАДА

Горный озон прохладной тучей
гонит с закатом жар дневной.
Вот ведь какой досадный случай,
прямо не знаю – что со мной.

Либо Всевышний даст мне силу
суетный прочь отринуть прах,
либо сведёт меня в могилу
та, на балконе, в кружевах...

Пусть не поймут меня неверно,
я ни секунды не влюблён.
Да, красота её безмерна,
локон волнист, лукав наклон.

Веер сложив, она с ладони
белого кормит грызуна...
Нет! я чужой на том балконе.
Ах! мне не нравится она.

Чуть бы пораньше, лет так на шесть
или хотя бы на пять лет, -
мне б нипочём восторг и тяжесть
этой любви. А нынче нет.

Ночь не молчит, урчит, бормочет,
много сулит того-сего.
Но ничего душа не хочет
там, где не может ничего.

Вздор эти все плащи и шпаги,
лошади вскачь, враги в расход...
Славной стезе зачем зигзаги?
Зорким очам – не до красот.

Слушая, как нестройным эхом
звон серенад летит во тьму,
белый грызун дрожит всем мехом.
Я не сочувствую ему.

Демоны страсти вероломной,
цельтесь, пожалуй, поточней.
Пусто в душе моей огромной,
пасмурно в ней, просторно в ней.

Север зовёт её в скитания,
к снежной зиме, к сырой весне...
Спи без меня, страна Испания!
Будем считать, что я здесь не
был.

ВОЛХОНКА

Душа в ухабах, денег ни гроша, в мозгу помехи и морзянка.
А по Волхонке марсианка проходит мимо не спеша.

Её осанка вся как нервный тик, её глаза как две напасти.
При ней болонка лунной масти и зонтик цвета электрик.

Танцует-пляшет зонтик за плечом.
Каблук подбит подковкой звонкой.
И тучи реют над Волхонкой. Но марсианке нипочём.

Туда, где раньше был бассейн «Москва»,
она не смотрит и не слышит,
как всё вослед ей тяжело дышит. Включая дышащих едва.

Бушует ливень, мокнет стар и млад. С неё одной вода как с гуся.
Пойду в монахи постригуся. Не то влюблюся в этот ад.

На Марсе жизни нет и счастья нет. А если есть покой и воля,
то для чего я, чуть не воя, таращусь тоже ей вослед?

Махнуть бы двести, крылья обрести и полететь за ней, курлыча.
Спасти себя от паралича, неотвратимого почти.

Но ни гроша, ни спирта, вот беда. И как взлетишь, когда не птица?
Пойти в бассейне утопиться? Так он закопан навсегда!

Сидел бы дома, ел бы свой творог,
с самим собой играл бы в нарды.
Но дёрнул чёрт за бакенбарды – и на Волхонку отволок.

Зачем не форвард я из ЦСКА? Зачем родился не в Гонконге?
Идёт вакханка по Волхонке. Уже Остоженка близка.

Вон Юго-Запад с горки подмигнул, *Gaudeamus, alma mater*,
где столько раз, ища фарватер, я заблуждался и тонул...

А каблук подковкой – звяк-звяк-звяк.
Волхонка в двух вершках от ада.
Болонка держится как надо. А марсианка ещё как!

Одна надежда, что вот-вот
с высот, разрезав чёрный свод небесный,
в неё ударит свет отвесный. И содрогнётся чёрный свод.

Вот-вот.

БЕЛЫЙ БЕРЕГ

Был берег бел как снег. Не зря из века в век
белил его и чистил альпийских вод разбег.
На то, как берег бел, со склона сад смотрел.
В саду был дом, а в доме, дымясь, камин горел.

Дверной скрипел навес. И сад шумел как лес,
пока закат струился – с вершин, с высот, с небес.
По склону мгла текла. И ты туда, где мгла,
холодными руками с собой меня влекла.

Потом опять высок и ясен был восток.
Опять прилив был звонок, опять певуч песок.
И все цветы земли, глаза раскрыв, цвели.
И Франция сияла за озером вдали.

Но стоны птичьих стай и вздохи волн меж свай
звучали так, как будто внушали мне: «Прощай!»
И берег, бел как мел, «прощай, прощай!» мне пел.
И ветер выл о том же, и тёмный сад шумел.

Пришлось очнуться мне и прочь отплыть в челне.
Я плыл и жизнь другую задумывал вчерне.
Свежо дышал зенит. И дочиста отмыт
был берег тот, где ныне я начисто забыт.

И где огонь в камине моргает и дымит.
И сад шумит, шумит.

2002

УДАЧНЫЙ ДЕНЬ

У меня был удачный день. Я проехал немало миль.
Я прослушал богатый набор песен радио-ретро.
Я забыл, что такое лень. Я забыл, что такое штиль.
И от ветра слетел мой убор – головной, что из фетра.

Ждал учтивый меня приём. Вечеринка из мира грёз.
Джо Димаджио в списке гостей. Или кто-то подобный.
Ждали чаши с вином и льдом, чудо-клавишник виртуоз –
и фуршет, без особых затей, но отменно съедобный.
А ещё водопад новостей и хозяин предобрый.

Он представил меня родне. Я легко полюбил родню.
Важный дядя мне руку сдавил (губернатор, не ниже).

С двух сторон улыбнулись мне две племянницы-инженю.
А вихрастый кузен заявил, что учился в Париже.

Грянул клавишник до-ре-ми, откусил от сигары край –
и во все свои сколько-то рук принялся за работу.
Мёдом ты его не корми, виски с содовой не давай,
разреши ты ему этот звук, эту самую ноту.
Чтобы всё замелькало вокруг, предаваясь полёту.

Между танцами я успел и освоить второй этаж,
и кузену допрос учинить: тяжело ли в ученье.
Я бильярдную осмотрел, не шутя посетил гараж.
И на кухню зашёл уточнить, как печётся печенье.

Выбивался ли я из сил? Наряжал ли себя в чалму?
Подражал ли Димаджио Джо? Да ни в коем же разе!
Я общителен был и мил, ибо помнил, что час тому
прикатил в особняк на «пежо», а не в тундру на «КрАЗе».
Всё, что делал я, было свежо, как растение в вазе.

Уходя, пожевал я льда. Пожелал доброй ночи всем.
Двум племянницам я подарил две зелёные груши.
И отправился в никуда. Но с три короба перед тем
губернатору наговорил возмутительной чуши.

А снаружи мела зима. Но за нею пришла весна.
Следом лето пришло, а потом – сразу осень, конечно.
Предо мною – как в синема – скалы, заросли, племена
возникали своим чередом и скрывались неспешно,
то пылая бенгальским огнём, то чернея кромешно.

У меня был удачный день. Он не кончился до сих пор.
До сих пор я и гость и жених – на балу и в пекарне.
В небе, несколько набекрень, головной мой парит убор.
И фасады окраин родных не мешают пока мне.
А не то бы я камня от них не оставил на камне.

2001

ЕСЛИ

Если пойдёшь ты пешком через ручей к развилке,
то укрепи гребешком волосы на затылке.
Порох и дробь выбрось вон, страхи забудь лесные.
Смело шагай, это сон. Хищники в нём не злые.

Не подведёт тишина, сумерки не обманут.
Глянет из тьмы хижина. Страхи назад отпрянут.
Конный туда – ни за что. Дело другое – пеший.
Это твоё, это то, где чудеса и леший.

В колбе бурлит вещество. Леший бубнит заклятья.
Нет у него ничего, кроме его занятия.
Кровля над ним ветхая всхлипывает протяжно.
Знаешь, он кто? Это я. Или не я, не важно.

Важно, что не пропадёшь, даже не огорчишься, —
если пешком ты пойдёшь, а не верхом помчишься.
Наискосок, за овраг, через ручей и поле...
А гребешок — это так, для красоты, не боле.

2001

ТЕМА ПОЛЁТА

Ни даже в самом тайном подполье,
ни на приволье, ни во дворце —
не знать нам, дева, вечной отрады.
Нет нам пощады. Пропасть в конце.

Зря мы так важно в искрах и дыме
правим гнедыми сразу шестью.
Вечен лишь ветер над пепелищем.
Счастье отыщем только в раю.

Но оглянуться не удаётся.
Дева смеётся. Длится полёт.
Свита с шампанским следом гарцует,
танцы танцует, песни поёт.

Что, дева, делать? Конечно, смейся.
Со свитой слейся, танцуй да пой.
Завтра пусть пропасть. Пусть ночь, пусть немощь.
Всё пыль, всё мелочь рядом с тобой.

2002

БЫСТРОВ

Неправда, что Быстров был крепок и суров.
Скорее хрупок был он и затылком нездоров.
Он мнил себя изгоем, но пойти на криминал
не смел, пока лекарств не принимал.

Враньё, что сей изгой, истерзанный тоской,
решил-таки ограбить супермаркет на Тверской.

Решить-то он решил, но не ограбил же, учётом.
Эксперты разберутся – что почём.

Неправда, что была пальба, и все дела.
Пальба была потом и лишь Быстрова извела.
Мечтателем он был и домечтался до беды.
А может, начитался ерунды.

Другой бы не моргал, а этот маргинал
три дня топтался в центре, супермаркет выбирал.
А выбравши провёл дрожащей дланью по губе –
и гибель стал готовить сам себе.

Чтоб вышло без улик, в подвалы он проник,
охрану сосчитал, сигнализацию постиг.
Он даже куш прикинул, тоже фокусник, смешно!..
И понял, что не выйдет, не дано.

Для виду наш факир, в корзину взяв кефир,
к воротам развернулся, но узнал его кассир.
За партой с ним сидел когда-то в классе он шестом.
Пришлось потолковать о прожитом.

Не гангстер, а беда! Судите, господа:
ему б кассира в долю, кассу в сумку и айда.
А он челом намокшим покивал: до встречи, мол.
И медленно в Чертаново убрёл.

Враньё, что скрылся он с деньгами за кордон.
Он еле заказал себе билет на Лиссабон –
и первого апреля вышел из дому с утра.
А найден был четвёртого, вчера.

Что были мы друзья – опять пример вранья.
Иные даже врут, что он и был как будто я.
Нерадостно, конечно, да людей не сокрушить.
Мечтать предпочитают, а не жить.

Его нашли в реке, с отверстием в виске
и русско-португальским разговорником в руке.
Преступная улыбка на безжизненных устах
внушала сожаленье, но не страх.

О, сколько ложных мук! О, сколько сразу вдруг!
Неправда всё, неправда всё, неправда всё вокруг...
Тоской истерзан, я лекарство за щеку кладу
и медленно в Чертаново бреду.

НЕМО

Пока я был никто, не обитал нигде,
примерно лет от двух до трёх,
я наслаждался тем, что никакой вражде
не захватить меня врасплох.

Любой в ту пору шторм, иных сбивавший с ног,
не досадил бы мне, заметить.
И ни один гарпун тогда меня не мог
(не говорю – пронзить) задеть.

Тогда любая власть, любой творя эдем,
не причиняла мне вреда.
Ведь я же был никто. И потому никем
не назывался я. О да.

Именовался я не вожаком вояк,
не завсегдатаем таверн.
Я тёзкой был тому, кого в подводный мрак
отправил странствовать Жюль Верн.

Была недвижна зыбь, невысока волна.
И мог ли думать я тогда,
что мне ещё тонуть, не достигая дна,
в стихии злейшей, чем вода.

Была надёжна ночь (пока я слыл ничем),
как дверь, закрытая на ключ.
И только лунный шар, как водолазный шлем,
незряче пялился из туч.

А предстояло мне не по лазури плыть
на зов луны, волны, струны,
но рыть болотный торф и чужеземцем слыть
на языке любой страны.

Вдали от райских рощ, где дышат лавр и мирт,
считать отечество тюрьмой
и бормотать в сердцах «какой невкусный спирт»,
лечась от холода зимой.

И повергаться ниц, теряя нюх и слух,
когда случится вдруг узреть,
как стая синих птиц клюёт зелёных мух
(лечась от голода, заметить).

Перебираться вскачь по разводным мостам,
спасаясь из огней в огни.
И перебраться прочь, и оказаться там,
где чужеземцы лишь одни.

Где никакой за мной не уследит Кусто,
где не видна блесна ничья.
Я раньше был никем. Я и теперь никто.
Но только знающий, кто я.

А далеко вдали, где в роще бьёт родник
и дышат мирт и лавр и клён,
уже пустился вплавь мой молодой двойник,
ещё не знающий, кто он.

2002

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА

Достиг вершин членкор какой-нибудь, главный врач,
большой знаток коленной чашечки.
Дрожит медчасть, когда он в белом весь шествует
лечить болезнь. Прошу к столу!

Глаза сверкают. В руках ланцет блестит.
Больной, молчать! Бояться нечего. Восемь, девять, аут.

Презрел покой какой-нибудь Давид Ливингстон.
Легко ему с его винчестером.
На Новый год махнёт в Центральную Африку.
Одних слонов забьёт сто штук.

Да львов штук двести. Да триста страусов.
И будет жить в народной памяти – прям, плечист, высок.

Но выше всех – гимнаст под куполом, это да.
Не взять его за доллар с четвертью.
Стальным узлом привязан к лонже он, молодец.
Шпрехшталмейстер гордится им.

А лонжа рвётся. Застыньте, граждане.
Разиньте рты, прикиньте: падает... Ах, как низко пал.

Прекрасна жизнь! Затейлив хруст её шестерён.
Прищур востёр. Полки внушительны.
Во фронт равняйся! Поблажек никаких никому.
Чем гуще шквал, тем слаще штурм.

Но гаснет вечер. И на штурмующих,
как снег судеб, нисходит белая ночь. Отбой, гудбай.

2001

Феликс Красавин *В ОЖИДАНИИ ХАРОНА*

Журнальный вариант

На самом краю «Одной шестой части суши», на тысячу с лишком верст северней залива Петра Великого, в материковый берег Татарского пролива врезается залив значительно меньшего размера, но единственный на всем побережье – от Владивостока до Амурского лимана – удобный для морского судоходства. Открывший этот залив в 1853 году капитан Невельской основал на его берегу пост, дал ему имя Императора Николая и поднял здесь Российский флаг. Прошло, однако, почти столетие, прежде чем власть (к тому времени уже Советская) оценила облюбованный Невельским для нужд флота залив. От Комсомольска-на-Амуре через горы Сихотэ-Алиня протянули железнодорожную магистраль и построили вторую по значению базу Тихоокеанского флота и город, названный Советской Гаванью. А в северной части залива, на берегу бухты Ванино, чтобы освободить столицу Приморского края от неудобного транзита, построили самую большую в мире пересыльную тюрьму, быстро разросшуюся в лагерь, привольно раскинувшийся своими многочисленными зонами на самом краешке земли, где так вольно дышит человек.

В течение двадцати лет сюда, к маленькой станции с уютным деревянным вокзальчиком, служившим, впрочем, чисто декоративным целям, подкатывали железнодорожные составы с надписями «Спецоборудование» на опутанных колючей проволокою вагонах, доставляя из лагеря мира и социализма отпетых преступников и заклятых врагов народа. Отсюда флот «Дальстроя» (Главного управления по строительству Дальнего Севера МВД СССР) – несколько грязных эковозов по 5-6 тысяч душ вместимостью каждый – переправлял эту бросовую рабсилу через Охотское море в бухту Нагаева для Северовосточного лагеря, расходовавшего её в особо крупных размерах.

В конце зимы 1952 года в одной из зон Ванинской пересылки познакомились между собой четыре человека, которые при обычных обстоятельствах, вероятнее всего, не встретились бы никогда. А если бы даже и познакомились, то уж наверняка не стали бы просиживать целыми днями за картами, чтобы убить время.

Убивать время, которого на пребывание в этом мире дается людям не так уж много – занятие, «человека разумного» недостойное. Но пересылка – это такое место, где человек, словно выпав из времени и пространства, пребывает в тревожной неопределенности и не находит себе места. Инстинкт выживания побуждает его к активности, но какая форма активности в этом смысле возможна на пересылке?

Только ловля слухов, которых в зоне – как мух, и проверить достоверность которых нет никакой возможности. И возможности не

обращать на них внимания, занявшись каким-нибудь делом, тоже нет, потому что на пересылке никакого дела нет.

Большинство находит, в конце концов, избавление от состояния «некуда деться» во сне. Начинают спать в «запас», поднимаясь с нар только для того, чтобы сходить похлебать баланды и заглянуть в сортир. Меньшинство обращается к настольным играм: лепят из хлебного мякиша шашки, шахматы, реже – мастерят карты, изготовление которых более сложно и трудоемко, и играют до умопомрачения. Некоторые размышляют, лежа на нарах и глядя в потолок, или вышагивая километры по дорожкам между бараками. Это, несомненно, занятие более достойное, но оно – удел «немногих счастливых»: философов или тех, кто ушел в себя без надежды на возвращение.

* * *

Общего между новыми знакомыми было мало, и единственным поводом для знакомства стала приобретенная на воле привычка коротать иногда вечера за преферансом. Преферансистов было трое. Четвертый член образовавшейся компании – Васильич – в их число не входил, но без него она вряд ли бы возникла.

Это был человек лет тридцати с немногим, с одним разбойно посверкивающим голубым глазом (другой, вытекший, на обгорелой стороне лица, был плотно закрыт красноватым веком), которого в компании величали по отчеству за степенность и немногословность, хотя по возрасту он был самым младшим.

Родился он в небогатой заволжской деревеньке Нижегородской губернии, в семье деревенского кузнеца, мужика с характером крутым и независимым, которому было суждено стать раскулаченным и сгинуть на лесоповалах в Печорлаге. И потому к тринадцати годам остался Федор за старшего мужика в семье, положившей зубы на полку. Не помоги дядька, материн брат, работавший в МТС, который уговорил механика взять толкового парнишку подручным к слесарям-ремонтникам, может, и не пережили бы они тех лет, когда, почитай, полдеревни пухло с голоду. Федор дядьку не подвел, в работе был хваток и старателен, и через год его поставили подсобником на ремонт двигателей. Но как сына кулака все четыре года до призыва в армию держали на низшем разряде. Отработав год на рембазе, он был направлен на курсы механиков-водителей. Просторы родной земли он увидел через смотровую щель танка. Сначала – от границы до столицы, потом – обратно. Перед концом войны был тяжело ранен и после госпиталя вернулся в деревню без одного глаза, но с двумя орденами Славы. Сев на трактор после грохочущих полей войны, всей душой втянулся в работу на родных тихих полях. К осени женился, да не в добрый час: на свадьбе повздорил с председателем, бывшим при раскулачиванье первым доносителем, и выпроводил его из избы, наградив крепким подзатыльником. Рука, однако, оказалась тяжела: был суд, свидетели – сплошь председательская пристяжь – показали, что не только избил председателя, но и матерно лаял советскую власть. И вломили кавалеру «Славы» семь лет

за злостное хулиганство и десять – за антисоветскую агитацию, с поглощением меньшего срока большим.

К компании он прибил не из-за преферанса, конечно, он и слова такого не слыхивал, а познакомившись и подружившись с одним из игроков. Как-то сидел он, покуривая за баракон, когда проходивший мимо высокий, грузного вида человек с прямой осанкой кадрового военного попросил у него прикурить. А прикурив, глядя на его изуродованное ожогами лицо, спросил: – Где горел, танкист? – В Померании, товарищ командир, – подтянувшись, с готовностью ответил Васильич, угадав, что говорит с ним не Ванька-ротный а кто-то повыше, – с воздуха фриц накрыл, только траки от нас полетели. – У Катукова воевал? – Так точно. А вы, товарищ командир, тоже из наших, из бронетанковых? – Из них. Да что ты заладил: «Товарищ командир», с чего ты взял? – Да что я, не вижу?! Чай, не меньше чем батальоном командовали? – называя наименьшую из подходящих к облику собеседника должность, Васильич надеялся узнать таким образом его чин и звание. – Командовал, командовал, – ответил тот, не оправдав хитрого расчета, – только все это было там, а тут – вон он, наш с тобой командир – на вышке. Будем знакомы: Алексей Иванович, – и он протянул широкую костистую ладонь. Васильич сунул самокрутку в левую руку, правую отряхнул о полу телогрейки и аккуратно пожал протянутую руку: – Федор Васильевич.

И они пошли по дорожке между линией баракон и запреткой, взад и вперед – извечным маршрутом заключенных и зверей, запертых в клетку.

– Так за что тебя, Федор Васильевич, упекли сюда? – Да ведь как сказать, Алексей Иванович? Можно сказать, ни за что. – И от роду не больно склонный открывать кому-либо свою душу, а в лагере и вовсе замкнувший её наглухо, Федор – неожиданно для самого себя – стал, торопливо и перескакивая с одного на другое, рассказывать про всю свою жизнь, пока, смутившись, не оборвал себя на полуслове. – Вы уж простите, Алексей Иванович, что заболтал я вас, пустяки всё это. Молча выслушавший эту исповедь собеседник ответил не сразу. – Да нет, брат, это не пустяки, это – жизнь. Суровая тебе выпала судьба, волчья. На фронте ты – гвардеец, а на гражданке – меченый зверь. Только ты не очень тужи, Фёдор. По судьбе и жилы. Да и не один ты такой. Многим из нашего брата героями тыла, которым ордена за пролитие чернил давали, такие хвосты попришиты, что вчерашние защитники отечества сегодня страшной волков стали. Считай, брат, – и Алексей Иванович положил руку на плечо Фёдора, – что попали мы в окружение. Выхода покуда нет, но он обязательно будет. А в безвыходном положении главное – не уронить себя. Нас с тобой фронтовое братство обязывает закрепиться на позиции и сохранить воинское достоинство. Так я говорю? – Да уж постараемся, Алексей Иванович, – заулыбался Фёдор, – закрепимся на позиции, по башню в землю – как под Курском.

Алексей Иванович действительно был кадровым и даже потомственным военным. В ряды РККА он вступил в марте 1919-го в числе многих офицеров и солдат бывшей царской армии, мобилизованных

на защиту Петрограда, когда Северная армия генерала Юденича подошла к Ораниенбауму и к Пулковским высотам. С той поры и до ареста, в течение без малого тридцати лет, он оставался в строю, и лишь после войны был переведен на штабную работу в один из второстепенных округов. Служил он исправно, воевал умело и храбро, но карьеры не сделал, скорее наоборот. В конце 1942-го он был снят с командования танковой бригадой и понижен в звании за неподчинение приказу, согласно которому он должен был отвести бригаду с захваченного плацдарма, чтобы не оказаться отрезанным от основных сил армии. Он же, зная конкретную обстановку, благодаря данным своей разведки, гораздо лучше, чем знали её в штабе армии, и понимая, что она может измениться в считанные часы, вместо отвода бригады на указанный рубеж стремительной атакой захватил железнодорожный узел, удерживаемый лишь одним пехотным полком вермахта, чем предотвратил готовую начаться переброску двух вражеских дивизий на оголенный фланг соседей, оттянувших большую часть сил на центральный участок фронта, где шли тяжелые бои. Не добейся Алексей Иванович успеха в этой операции, трибунала бы ему не миновать. В штабе и политотделе армии из-за своего социального происхождения, высокого образовательного ценза (Кадетский корпус до первой мировой и Курсы усовершенствования комсостава в конце 20-х) и беспартийности он симпатиями не пользовался. Но передавать дело в трибунал запретил командующий фронтом. Через полгода его бригада, переформированная в дивизию, вошла в состав другой армии, где Алексей Иванович воевал уже до конца и закончил войну в том же звании, которого лишился в 1942-м.

Штабную работу он не любил и тяготился ею, почему и собирался сразу по достижении пенсионного возраста выйти в отставку, чтобы, вернувшись в родной Питер, поработать еще десяток лет на военном производстве, пока дети не встанут окончательно на ноги. Но судьбу, как известно, и на танке не объедешь. Оставалось Алексею Ивановичу до выхода на гражданку уже всего ничего, когда случилось ему при возвращении из последнего своего отпуска задержаться на сутки в Москве, чтобы навестить старого друга, отмечавшего свое пятидесятилетие. К концу торжества, когда гости уже разошлись и за столом остались только именинник и двое его ближайших друзей, разговор, как водится, принял более серьезный и доверительный характер. Пили крепкий чай, дымили почем зря папиросами, негромко обсуждали невеселые дела в армии и в стране. Говорили о последних отставках и арестах в армейских верхах, о том, что штафирка-генералиссимус, завидуя славе тех, кто завоевал победу, не доверяет им и боится их; что опала и ссылка Жукова, хорош он или плох, стала началом кампании расправ с неугодными, а неугодными оказались те, кто лучше воевал. Пришли к общему мнению, что армия опять обезглавлена и Генеральный Штаб ею практически не руководит, а панует над ней тыловая сволочь из органов да политорганов по указке своего Хозяина – «творца всех наших побед».

До этого случая Алексей Иванович никогда не разрешал себе таких речей. Думать – думал, но на слова был скуп. Не видел проку в

словах, у которых нет шансов стать делом. Выражать же возмущение, когда ничего не можешь сделать, считал пустой распушенностью. А вот тут не сдержался. В кои-то веки собрались, почувствовали себя прежними, молодыми, изрядно выпили – и презрели победители рейха все минные поля и заграждения, защищавшие сознание советских людей от прорыва на свет Божий подпольных мыслей. В прорыв пошли, подталкивая друг друга, и без оглядки, особо опасные...

Когда начало светать, выпили по последней, обнялись и расстались, пообещав друг другу встречаться почаще, поскольку теперь они не на разных фронтах, а как бы в одном окопе. И никому из них – ни сном ни духом, что именинник был уже «в разработке» у МГБ, и квартира его – «на прослушке».

Не знали они и того, что еще в самом разгаре войны за каждым, кто умело командовал крупными соединениями и обнаружил в ходе боевых операций способность к принятию самостоятельных решений, по указанию Верховного была установлена постоянная слежка. Пока армия воевала, крысиная работа не затихала ни днем, ни ночью. Всё обшаривалось, обнюхивалось, прослушивалось, подшивалось. За теми, о ком больше гремела слава, подбиралось каждое вольное словцо: где, кому сказал, что в письме домой написал, что во сне бормотал. Весь высший комсостав был на прослушке постоянно, и начальник СМЕРШа – верный пес – еженедельно докладывал Хозяину обо всем, в чем чуял хотя бы еле уловимый запах крамолы. За что и возведен был сразу после войны на высшую ступень собачьей службы. Карьера сказочная: за десяток лет рядовой сексот вырос от грузчика до министра. И, разумеется, не за то, что хорошо хвостом вилял – таких умельцев на святой Руси тьма, – а за то, что всех маршалов и генералов перенюхал и переметил, и для каждого вырыл яму и прикрыл до поры, чтоб потом, по первому свисту Хозяина, волк проваливался в западню, не успев лязгнуть зубами.

И провалился Алексей Иванович вместе с друзьями своими, глубоко и надолго. За тридцать лет доблестной службы в рядах РККА получил гвардии полковник 25 лет «временной изоляции» с последующей ссылкой и поражением в правах. Лишенный таким образом «всех прав состояния», он в новом своем бесправном качестве влился в многомиллионную массу человеческих существ с «животами, подтянутыми гулаговским ремнем страны Советов», и поплыл по тюрьмам и этапам к стигийским берегам, в просторечии именуемым бухтой Ванино.

Первого партнера по преферансу Алексей Иванович нашел в своем же бараке. На его громогласный призыв откликнуться к тем, кто располагает желанием расписать пульку, отозвался один из ближайших соседей по нарам, пожилой человек в очках, с густой проседью в черной бородке. При знакомстве выяснилось, что они одного года рождения, но седина, морщинистое лицо и очки старили Михаила Ильича, как звали нового знакомого, сильнее, чем он был на самом деле. Был он инженером с Челябинского тракторного завода, а причиной его ареста – как он объяснил Алексею Ивановичу – послужил конфликт с начальством. О том, что в ходе следствия выяснилась его

причастность к «оппозиции» во время его учебы в МВТУ, на основании чего следователь сочинил целый роман о его троцкистской вредительской деятельности и о связи с американо-сионистской агентурой, Михаил Ильич рассказывать не стал. Полтора года, проведенные во внутренней тюрьме МГБ, углубили его представления о Советской власти настолько, что, будучи приговорен к 25 годам лишения свободы, он нисколько этому не удивился, хотя то, за что он был арестован, в обвинении даже не упоминалось, и состояло обвинение исключительно из обличительных формулировок общего характера, близких по стилю к газетным штампам того времени, и, по всей видимости, поэтому выглядевших для суда не требующими доказательств.

Если взглянуть на дело Михаила Ильича с правовой точки зрения и слить все идеологические нечистоты, закачанные в него следствием, то в сухом остатке можно было бы обнаружить один единственный факт, послуживший отправной точкой для сооружения дела. Этим фактом было выступление Михаила Ильича на открытом заводском партсобрании.

Собрание проводил новый парторг, присланный из Москвы. Проводил в разносном стиле, откровенно давая понять, что он – новая власть, и порядки на заводе теперь будет наводить он. О директоре, сидевшем в президиуме рядом с ним, руководившем работой завода в течение всей войны и награжденном званием Героя Соцтруда, он говорил в подчеркнуто-неуважительном стиле, явно дискредитируя его и нескольких других руководителей производства, обвиняя их в самоуправстве, в зажиме партактива и в финансовых злоупотреблениях, с черносотенным смаком нажимая на их нерусское происхождение. Михаил Ильич, хотя его имя и не упоминалось парторгом – из-за незначительности, видимо, его должности старшего мастера пусконаладки техники – не выдержал и впервые со студенческих времен вступил в жесткую полемику с партийной властью. Еле сдерживая кипевшее в душе негодование, он говорил о том, как коллектив завода во главе с тем, кого поносил невесть откуда явившийся партийный чиновник, первым в стране освоил выпуск знаменитых «тридцатьчетверок» и всю войну оставался головным предприятием по их производству; как работали все, от директора до слесаря-сборщика, неделями не покидая цехов, чтобы в самые сжатые сроки выполнять заказы фронта; сколько благодарственных писем из танковых частей пришло на завод за годы войны, сколько орденов было получено танкостроителями; и вот теперь все это хамски перечеркивается не имеющим к этому никакого отношения, случайным на заводе человеком. И вдобавок, при этом он позволяет себе демонстрировать антисемитизм самого гнусного пошиба, в духе тех фашистских мерзавцев, ради уничтожения которых сражался советский народ. И поэтому он, Михаил Ильич, предлагает написать от имени всего заводского коллектива письмо в ЦК с просьбой снять с поста парторга и наказать человека, оскорбляющего народ и позорящего партию.

Высказавшись, Михаил Ильич облегчил свою душу и, как водится в государствах, где всегда за словом следует дело, самым роковым образом отягчил свою судьбу. Если б он знал, что парторг был на-

правлен на завод тем самым ЦК, которому он собирался на него жаловаться, что приехал он со специальным заданием – обеспечить чистку кадров, выдвинувшихся в годы войны, в частности, от «лиц известной национальности», что точно такие же чистки по воле того же ЦК происходят во всех отраслях по всей стране, – вероятнее всего, он просто потихоньку ушел бы с собрания. Но он не знал и поплатился за незнание и не по возрасту сильный общественный темперамент крахом всей жизни. Теперь он мучился опасениями, что сына, молодого специалиста в области радиофизики, выгонят из НИИ, куда так трудно было попасть, а дочку-студентку исключат из консерватории, и страхи его не были беспочвенны.

Маясь своими тревогами и полным отсутствием какого-либо занятия, которое могло отвлекать от тягостных и безысходных размышлений, Михаил Ильич с энтузиазмом поддержал идею насчет преферанса. Оставалось найти третьего партнера и, что выглядело более проблематично, колоду карт. Но тут выручил Васильич. Он, хоть и не был картежником, но сидел в одних зонах с «бытовиками», не раз видел, как «шестерки» для «цветных» клеят «бой», и взялся изготовить карты.

Необходимым материалом для этого были, прежде всего, две старые газеты: их разрезают на кусочки размером в одну тридцать вторую часть газетного листа, выбрасывают все, на которых попали картинки или жирные заголовки, и оставшиеся сортируют по три листика так, чтобы в каждой тройке был листок, ровно заполненный текстом – на «рубашку». Клейстер добывался посредством протирания хорошо разжеванного хлеба (чем хуже пропеченного – тем лучше!) ложкой через тряпку. Колода склеенных карточек закладывалась в «пресс» – между двух дощечек, туго обмотанных бечевкой, – и после просыхания обрезалась в размер. Третьим необходимым компонентом был краситель, в качестве которого обычно использовалась сажа от сожженного куска резиновой подметки – для черной масти, и толченый кирпич – для красной.

Что касается всякого рукомесла, Васильич был не только умен, но и удачлив. В одном бараке углядел он в руках у не по-лагерному одетого зэка с аккуратно подстриженными усами красный карандаш. Тут же, подсев к нему на краешек нар и поздоровавшись, завел разговор о том, как бы разжиться маленьким, с сантиметр, кусочком грифеля. Полюбопытствовав, для каких целей понадобилось это мало похожему на художника незнакомцу, хозяин карандаша просто протянул его Васильичу, сказав, что для хорошего дела ему карандаша не жалко. Оказалось, что он сам любитель преферанса и не прочь присоединиться к компании. Его звали Эдди, он был музыкант и говорил с легким акцентом. Удача оказалась тройная. Во-первых, нашелся недостающий третий партнер, и человек, по всему видно, хороший. Во-вторых, карандаш был с одной стороны красный, а с другой – синий, и искать резиновую подметку не понадобилось. Васильич вырезал на плотной оберточной бумаге трафареты мастей, обрезав с концов карандаша по кусочку, растолок в пудру красный и синий графит и, смешав с клейстером, нанес через трафареты знаки достоинства на карты. Потом он долго и старательно обрабатывал края

колоды кусочком стекла, чтобы кромки карт стали одинаково чистыми и закругленными на уголках. «Бой» получился на славу, и, завернув его в оберточную бумагу, он вручил его Алексею Ивановичу.

На следующий день, облюбовав один из пустых барачков, компания приступила к делу, ставшему на три последующих месяца их основным занятием. Каждое утро, после посещения дурно пахнущего барака, официально именуемого столовой, а заключенными – «помойкой», где они получали по полмиски горячей жижи, образующейся в процессе кипячения в чане воды нескольких килограммов чумизы и вороха зеленых капустных листьев, выхлебав которую, большинство возвращалось досыпать на нары, четверо отправлялись, как на работу, в пустующий барак. Первым всегда приходил Васильич. В дальнем от дверей конце барака он вворачивал в патрон под потолком принесенную с собой лампу и расстилал на верхних нарах – там не так мерзли ноги – чистый лист оберточной бумаги. Один его земляк два-три раза в неделю торговал в ларьке около вахты карамелью, сигаретами и махоркой. Васильич наведывался к нему подзапастись моршанской махоркой, превосходившей своими достоинствами всякую другую, помочь, если понадобится, составить и распаковать ящики, ну а с земляком, который в хозлагобслуге и каждый день в центральной зоне, было о чем потолковать. Оттуда Васильич и приносил отличную оберточную бумагу, выбирая из порожних ящиков листы почище. Потом, всегда вместе, поскольку жили в одном бараке, появлялись Алексей Иванович с Михаилом Ильичом. Последним, но не заставляя себя долго ждать, приходил Эдди. Алексей Иванович быстро и ровно, как по линейке, расчерчивал пульку, ставя в кружок неизменную единицу – одну сигарету. В те годы в продаже появились сигареты половинного размера, которые курились в мундштуке, чем достигалось более полное использование табака. Поскольку все трое преферансистов курили именно их, то они и пошли в пульку. Васильич, принципиально куривший только свою «моршанку», в расчет не принимался как болельщик. Его лишь изредка просили сдать карты за отлучившегося ненадолго игрока и открыть их для виста. Сроду не игравший ни в какие карточные игры, кроме подкидного дурака, он не обнаруживал никакого желания вникнуть в таинства преферанса и занять постоянное место в игре. Однако роль его в компании была много значительней роли четвертого игрока. Круг его знакомств в зоне намного превосходил все те, которыми успели обзавестись трое остальных.

По натуре любознательный и общительный, Васильич имел подход к людям и завязывал знакомства легко, как знакомятся попутчики в дороге. К новому человеку он обращался всегда запросто, без всяких «извините-разрешите», но впечатления развязности это не производило, потому что в тоне и в прямом взгляде его была та спокойная непосредственность, с которой обращаются к своим. И когда он со своим обычным: «Привет, земляк!» или «Слышь, земляк?!» обращался к погруженному в молчание пожилому казаху или к исполненному сдержанного достоинства литовцу, то ему обычно отвечали в тон, если даже и с легкой иронией. Однако был у него и глаз, и знал он, к кому подойти, «земляков» угадывая издали. Всякий человек из тех,

кого зовут попросту «добрые люди», был ему «земляком». Почему бы и нет? – на одном солнце портянки сушили. При всем при том, на большую близость он не шел, в душу никому не лез и к себе не пускал, добрососедские отношения с земляками предпочитая закадычной дружбе. В какую зону ни забросила бы его судьба, он обживал её за пару недель, обрастая многочисленными знакомствами. Благодаря этому, его роль в компании игроков как своего человека во внешнем мире, регулярно приносящему оттуда информацию обо всем, что слышно на белом свете, была чрезвычайно значительна.

Понаблюдав часок за игрой, Васильич обычно отправлялся размять ноги, обойти зону, узнать, что слышно новенького. Сделав пару кругов, он направлялся в сторону вахты, где всегда в это время толпился народ. Кто ожидал конвоя, чтоб отвел в медсанчасть, кто – появления «придурка» с почтой из цензуры, кто – не откроется ли ларёк. Потолковав о том о сем с кем-нибудь из земляков и дождавшись почты – узнать, нет ли писем, Васильич возвращался в круг тружеников преферанса с утренним уловом новостей Его прихода ждали. Даже в скудные дни оказывалась одна-другая новостишка, позволявшая отвлечься на полчасика от рассуждений о тщетности надежд на двух тузов в прикупе или о перспективах, ожидающих того, кто играет шесть в бубнах. Но главным содержимым улова были, естественно, письма, когда они были. Михаил Ильич получал письма часто. Алексей Иванович – не так часто, но регулярно. Васильич – иногда. Эдди – почти никогда. От участия в обсуждении новостей, полученных другими, он воздерживался. Новости о жизни и чрезвычайных происшествиях в различных губерниях ГУЛАГа, которых на пересылках всегда в изобилии, его тоже мало интересовали. Он вполне разделял популярный взгляд на то, что в сумасшедшем доме логики не ищут. Более или менее соответствующим этому понятию он считал весь мир, в котором Германия и Россия, с его точки зрения, были отделениями для буйных. Не претендуя на оригинальность подобной точки зрения, он черпал из проистекающей от неё определенности философское спокойствие. Или делал вид... Но невозмутимость была наиболее постоянным выражением его лица.

Нельзя сказать, что для такого крайнего скептицизма у него не было резона. Три раза за тридцать лет ему удавалось достичь большого артистического успеха, известной определенности и благополучия, и трижды из-за очередной вспышки безумия в мозгах великих вождей, обожаемых своими великими народами, его судьба, как и миллионы других человеческих судеб, оборачивалась полным крушением всего, чего удалось достичь.

* * *

Когда ему исполнилось четыре года, выяснилось, что он – вундеркинд. Это замечательное открытие стало причиной того, что следующие четырнадцать лет ему пришлось прожить в неволе в одной из самых наиабсолютнейших монархий – в королевстве Скрипки.

В восемнадцать лет он с блеском окончил Высшую музыкальную школу в Берлине и получил свободу, которой незамедлительно воспользовался, чтобы перейти по зову сердца – и к ужасу родителей – под знамена джаза, связав на всю жизнь себя со своей подлинной избранницей – трубой.

В составе лучшего тогда в Европе джаз-оркестра Стефана Вайнтрауба молодой Рознер шесть лет завоевывал признание любителей джаза по обе стороны океана, и к двадцати четырем годам его имя приобрело известность среди самых взыскательных и стало печататься на афишах крупными буквами. Случилось в ту пору, что в Италии пересеклись гастрольные пути двух лучших джаз-оркестров Старого и Нового Света – Вайнтрауба и Армстронга. Возникла идея устроить состязание солистов. Наплыв публики оказался не просто очень большим, а фантастическим: в Италии в это самое время шли финальные игры Второго чемпионата мира по футболу. Первой трубе мира – Великому Сэчмо – не удалось перетрубить своего молодого соперника, но совершенно естественно, что при равенстве сил победа была присуждена прославленному американцу – одному из отцов-основателей джаза. В знак признания и дружеских чувств он подарил младшему собрату свою фотографию с надписью: «Белому Луи Армстронгу от черного Адди Рознера», и с этих пор за Рознером в Европе закрепилось реноме Второй трубы мира.

Знак высшего профессионального признания, несмотря на то, что он был запечатлен не в дипломе, а на сувенире, означал, тем не менее, что Рознер стал самостоятельной и значительной фигурой в мире джаза. Он понял, что пора попытаться создать собственный джаз-оркестр, где бы он смог проявить свои вкусы и реализовать собственные идеи о стиле исполнения и о роли импровизации в частности. Успех и признание джаз-оркестра Рознера не заставили себя долго ждать. Но не прошло и года, как нацистский партейтаг в Нюрнберге провозгласил «Новый порядок», законы которого запрещали евреям всякую профессиональную деятельность и еще многое другое. В принципе, им было разрешено только регистрироваться, причем в обязательном порядке.

Оставив нажитое добро «новым немцам», уже повсюду размахивавшим руками в повязках со свастикой, семья Рознер, в числе многих других еврейских семей отправившись за океан, разъехалась по разным странам Нового Света. Что же касается находившегося в это время со своим оркестром на гастролях во Франции Адольфа, то он, простившись с родителями, братом и сестрами, отправился в прямо противоположном направлении, на Восток. Что заставило его пренебречь надежным и спокойным вариантом эмиграции, однозначно ответить трудно. Можно только предположить, что мотивы этого своенравного выбора, сделанного в двадцать пять лет, были родственны тем, которые склонили его изменить, вопреки ожиданиям родителей, свою профессиональную судьбу в восемнадцать. Семь лет назад он решительно простился со скрипкой, с которой был обручен с малых лет, и ушел в мир джаза, куда влекли его вкусы и воля – к звонкоголосой певунье-трубе. Можно с большой долей вероятности

предположить, что если свой первый самостоятельный выбор он сделал в пользу артистической свободы, то второй, уже отведав пьянящего напитка из чаши славы, – в пользу артистического успеха.

Дело в том, что ему была уже хорошо известна джазовая конъюнктура в Америке: дюжина прославленных биг-бэндов во главе со звездами первой величины и сотни джаз-бандов по всей стране, из которых каждый из всех сил старается пробиться на большую сцену. Какая судьба ожидала там джаз-банд Рознера – третьесортного, с точки зрения не знающих европейского стиля и не любящих ничего чужого американцев, джаз-банда для эмигрантов? Сам Рознер мог бы процветать как исполнитель в любой звездной компании, но только играя в их стиле и в тени их лидера. Это совершенно не соответствовало его представлениям о своем будущем. Видимо, поэтому, или – в первую очередь поэтому, он обратил свои взоры к Варшаве – городу с высокой музыкальной культурой, лишь слегка затронутому веяниями, доносящими с Запада звуки джаза. Для его джаз-банда там не предвиделось никакой серьезной конкуренции. Привлекателен польский маршрут был и тем, что почти все его парни имели польские корни, да и у самого Рознера дед переехал в Берлин из Варшавы и отец оставался гражданином Польши.

Итак, Варшава представлялась Рознеру доброй тетушкой, готовой распахнуть перед ним и его дружиной свои двери. И выбор, предопределивший во многом всю его дальнейшую судьбу, был сделан.

А ведь отправься он вместе со своими родными за океан, наверняка играл бы в оркестре Дюка Эллингтона, который и двадцать лет спустя помнил о нем и рад был принять его в свой музыкальный клан, исповедовавший, кстати, тот же свинговый «чикагский стиль», который полюбился и Рознеру. Уж как-нибудь счелся бы славою с Дюком, ну, пусть не первым, а вторым, но все равно в почете и достатке, и горя бы не знал. Вполне «мог бы жизнь просвистать скворцом, заесть ореховым пирогом», да, видно, нужно ему было горе.

Варшава не обманула ожиданий кочующих джазменов, их искусство было встречено с энтузиазмом, и лучшие концертные залы с готовностью предоставлены были для их выступлений. Над вечерней Вислой поплыли «Караван» и «Сент-Луи блюз», взошла «Голубая луна» и звезда Адди Рознера. Дела пошли настолько успешно, что через пару лет Рознер приобрел кабаре «Эспланада» и стал подумывать о создании биг-бэнда, который бы представлял польский джаз. Он решил стать варшавянином навсегда. Вслед за тем само собой пришло решение о необходимости сделать еще один судьбоносный выбор, и в один из майских дней 1939 года, когда ему пошел тридцатый год, он принес корзину пунцовых роз и свое сердце к ногам юной певицы и начинающей актрисы Рут Каминской. Она была ровно на десять лет младше его, и ласковая голубизна её смеющихся глаз, её глубокий мелодичный голос и гордая девическая грация совершенно убедили его, что существа более прекрасного и достойного занять место его Музы и жены ему никогда и нигде не найти. Столь же совершенно убежденно заняла по этому вопросу прямо противоположную точку зрения мать прекрасной Рут. Дочь актрисы и создательни-

цы еврейского театра в Варшаве, продолжательница дела матери, актриса, которую чтит весь еврейский мир «От Черного до Балtego», Ида Каминская даже и мысли не могла допустить, чтобы какой-то заезжий «кляйзмер», уличный трубач, мог быть достоин руки её замечательной дочери. Рут была мудрой девицей. Решив, что мнения матери и претендента взаимно уничтожают друг друга, оставляя тем самым право выбора за ней, она рассудила, что, отказав человеку с таким талантом, такой внешностью (Рознер, во всем подражая внешнему облику Гарри Джеймса, знаменитого трубача из оркестра Элликстона, был одним из самых элегантных людей, каких ей приходилось видеть) и добившемуся такого успеха, она будет последней душой. Ида Каминская была вынуждена смириться с судьбой, и жизнь для Адольфа и Рут стала прекрасна, как в песне, и оставалась таковой целых три месяца.

Но пришел сентябрь, и бомба немецкого «Юнкерса» превратила в груду развалин «Эспланаду», уничтожив все их имущество и даже музыкальные инструменты оркестра. Колонны немецких танков, разрезая на куски беззащитную против них польскую армию, шли с трех сторон на Варшаву. Правительство бежало на исходе второй недели. Толпы беженцев хлынули на Восток, теперь это осталось единственно возможным направлением. Через две недели после занятия немцами Варшавы «Театр Иды Каминской» и оркестр «Эспланады» в полном составе, с семьями, ночью, под предводительством Рознера, одетого в форму немецкого офицера, и под конвоем нескольких артистов, одетых в форму немецких солдат, перешли на другой берег Вислы и очутились в советской зоне оккупации. У Рознера переход в «Ди Вельт Октобер» вызывал больше опасений, чем надежд, но что было делать?! Позади остались дымящиеся развалины Варшавы и лучшая пора его жизни, уже никогда, как подсказывало ему щемящее душу чувство, невозвратимая. Впереди – неизвестность, гадать о которой можно было только по лицам под фуражками с красной звездой, под настороженными взглядами которых шли они день за днем по Люблинскому шоссе на юг, в сторону Львова. И Рознер не мог отделаться от чувства, что разница между теми и этими только в форме и в языке. Ошибки не было: осуществлялся второй пункт братского секретного договора между двумя фашистскими державами о «территориально-политическом переустройстве» ликвидированного польского государства, в результате которого «граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана». Таким образом, перейдя на восточный берег Вислы, беженцы от арийского рейха «воссоединились с братской семьей советских народов». И с точки зрения дальней перспективы Рознер не прогадал, потому что Маглаг все же, как ни говори, лучше Освенцима.

По прибытии во Львов опасения его никак не подтвердились. Советские власти отнеслись к ним вполне благожелательно. Иде Каминской предложили возглавить новый Львовский еврейский театр, Рознеру – организовать джаз-оркестр. Вскоре львовские евреи уже могли наслаждаться переведенной на идиш «революционной» драмой Лопе

де Вега «Фуэнте Овехуна», а в театре Оперы и балета состоялся первый концерт Рознеровского оркестра, в котором вся вокальная часть репертуара исполнялась Рут на русском языке (для чего к Рознеру был прикомандирован специально поэт-переводчик). И через какие-нибудь пару месяцев по стране уже многие поклонники эстрадной музыки распевали новый шлягер: «Ждем вас во Львове!», часто не имея представления, где этот Львов, до недавнего времени скрывавшийся во мраке капиталистического окружения.

Однако дальнейшие пути Рознера и Каминской стали бесконфликтно, но вполне определенно (можно даже сказать – предопределенно) расходиться.

Ида Каминская обладала не только замечательным артистическим дарованием, но и значительным общественным темпераментом. Судьба её театра и судьбы еврейского искусства и культуры в целом были нерасторжимы в её душе. Личные проблемы её родных и артистов её театра – неотделимы от общих проблем той части еврейского общества, в котором она жила, от существования всего еврейского народа. Живые люди, окружавшие её, были плоть от плоти и кровь от крови этого народа, и, когда она говорила: «Мы – еврейский народ», слова эти были полны глубокого искреннего чувства, звучали горячо и взволнованно. Находясь в центре этой маленькой частицы еврейского мира, она всегда чувствовала ответственность за её существование и благополучие и должна была изыскивать возможности, чтобы отстаивать её интересы перед местными властями.

Оказавшись на новом месте, она сразу активно включилась в налаживание культурной жизни хорошо ей знакомого Львова с учетом, разумеется, новых политических реалий. Была избрана депутатом горсовета. Установила контакты с главным центром еврейского искусства в стране – Московским ГОСЕТом, с его художественным руководителем, только что получившим «Народного артиста СССР» – Соломоном Михозлсом. Быстро осваивала принятый в разных кругах стиль отношений, новую лексику. Энергичнейшим образом помогал ей её супруг, Меир Мельман, взявший на себя те же функции, что и в Варшаве – административно-хозяйственные. В области освоения новой лексики он обгонял даже свою актерски восприимчивую супругу. На новом месте всегда важно быстро узнать и запомнить имена, отчества, фамилии и должности людей, от которых много зависит, а также – как с кем надо говорить. В одних случаях он говорил с добродушной улыбкой: «Как говорит хорошая русская пословица – сухая ложка рот дерет», в других – с должной серьезностью: «Как говорит товарищ Сталин – кадры решают всё!», – и никогда не промахивался, в каком случае, как сказать, что вскоре создало ему репутацию надежного делового человека. В общем, как того и требовала жизнь, они активно вращались в новую почву, ясно сознавая, что здесь они – надолго.

Рознер же, напротив, после Варшавы уже нигде никогда не делал попыток пустить корни, превратившись в кочующего джазмена, в каждом новом месте интересуясь только условиями работы и оплатой труда. К делам общественным он относился равнодушно, к идеологии

– с отвращением. Однако ему хватало здравого смысла не демонстрировать этого. В своем обществе – в кругу своих оркестрантов – он заботился о поддержании дружеской атмосферы. Любил, чтобы при постоянном многочасовом труде на репетициях «поту не было видно», чтобы в воздухе всегда ощущалось освежающее присутствие непринужденности и юмора. Общество, где все понимают друг друга с пары тактов, с полуслова, было для него единственно родной средой, в которой он чувствовал себя, как скворец в саду. Вне его он преображался в странствующего миннезингера, выброшенного волнами после кораблекрушения на чужой берег. Не сказать, что в характере его совершенно отсутствовала властность, но он всегда старлся держаться не как босс, а как маэстро, и в самом деле был и премьером оркестра, и терпеливым наставником для множества музыкантов из того доброго десятка джаз-оркестров, которые ему довелось создавать часто почти с нуля.

Если же случалось в его присутствии зайти разговору о долге всякого человека искусства участвовать в служении высшим духовным целям общества, Эдди реагировал только ироническим поджатием губ. Иногда, впрочем, он позволял себе процитировать полюбившуюся ему фразу из Стендаля о том, что, слыша рассуждения об общественных идеалах, он опускает руку в карман – проверить, не обнаружит ли там чужую.

Поэтому ничто не препятствовало ему расстаться с гостеприимным, но слишком вовлеченным в активный процесс усвоения новой идеологии Львовом, когда ему были предложены несравненно лучшие условия в более спокойном провинциальном Белостоке. Но если из Львова «Золотую трубу» услышали в Белостоке, то очень скоро из Белостока слава её долетела до Минска, и Минская филармония пригласила Рознера с его новым Белостокским джаз-бандом выступить в столице Белоруссии. На концерте, состоявшемся весной 1940 года в стенах Минской филармонии, джаз Рознера впервые прозвучал перед представителями элиты советского музыкального искусства и советской власти. Среди слушателей находились гостившие в Минске великие оперные певицы Антонина Нежданова и Надежда Обухова и муж Неждановой, маститый антисемит и Главный дирижер Большого симфонического оркестра Николай Голованов. Присутствовал и сам партийный вожь Белоруссии Пантелеймон Пономаренко со свитой. Рознеру об этом ничего известно не было, джаз-банд играл в обычной раскованной манере. Играли «Сент-Луи блюз», «Прощай, любовь», «Караван», «Тихо вода», – обычный репертуар, который успел с ними подготовить Рознер. Для всех присутствующих это было первое знакомство с подлинным джазом. Успех был ошеломляющий и полный. На следующее утро в гостиницу к Рознеру явился полковник МГБ и доставил его в приемную Первого секретаря ЦК. «Батька» Пономаренко имел недостойную большевика-ленинца слабость – он любил джазовую музыку. Впервые услышав одного из «королей» мирового джаза, он сразу же принял решение: любыми средствами оставить Рознера в Минске. Без обиняков предложив ему организовать «Государственный джаз-оркестр Белорусской ССР», «батька» пообещал

ему всемерную поддержку. Единственной просьбой к Рознеру было сменить свое сценическое имя. До той поры и уже более десятка лет он был известен как Адди Рознер. Но в СССР, несмотря на узы дружбы, соединившие его уже полгода как с родственной державой, имя Адольф не приобрело популярности. Рознер согласился, и вскоре начались триумфальные гастролы Белорусского джаз-оркестра «под управлением и при участии Эдди Рознера» по крупнейшим городам страны. В Москве, в летнем театре «Эрмитаж» целый месяц был полный аншлаг.

Однажды в ресторане к столику Рознера подсел руководитель и дирижер Государственного Эстрадного оркестра РСФСР. «Слушай сюда, Эдди! – начал он разговор на теплой душевной ноте, – сколько платят тебе твои бульбаши? Я даю вдвое больше! Переходи ко мне, мне нужна хорошая труба». Эдди прожевал кусок, отпил пару глотков вина, вытер салфеткой губы, закурил и, глубоко затянувшись, ответил: «Видишь ли, Лёня, когда я играю, я не люблю, чтобы передо мною кто-нибудь размахивал руками». Фраза была сказана мягко, но прозвучала категорически.

Попав во славу, артист, как жар-птица, сразу становится нужен и царям, и дуракам, и купцам, и менадам. И шансы остаться вольной птицей – у него ничтожны.

Было начало октября, когда по звонку «батьки» оркестр должен был немедленно собраться и выехать в аэропорт, чтобы лететь спецрейсом в Сочи. По прибытии их доставили в гостиницу, а после легкого ужина и короткого отдыха – в театр. Там они, прежде всего, были тщательнейшим образом обысканы людьми в одинаковых костюмах и с лицами пограничников, затем – проведены на сцену. Некто в штатском с лицом начальника погранзаставы распорядился приготовиться к выступлению. Предстояло дать большой концерт в двух отделениях. За несколько томительным ожиданием в полной тишине вдруг раздалась команда: «Начинайте!», и занавес поднялся. Оркестранты испытали легкий шок: в зале не было ни души. «Играйте!!!» – раздался из-за кулис свистящий шёпот, и оркестр заиграл. Отыграли весь концерт, так и не увидев никого в зале, не услышав ни единого звука из его темной глубины. Сразу же по окончании их отвезли к пароходу в Ялту. Наутро Рознеру позвонили в ялтинскую гостиницу из Сочи и, не представившись, сообщили, что товарищ Сталин остался доволен концертом. Это культурное мероприятие, организованное ведомством личной охраны по воле Хозяина, в тьмутараканском варианте стиля византийского двора, конечно же, было оскорбительно для человеческого достоинства артистов, но требовать сатисфакции не представлялось возможным.

Этот случай намного ускорил понимание Рознером и его друзьями, на каком свете они находятся. Буднично звучащая фраза: «Товарищ Сталин остался доволен концертом» – означала абсолютную легитимацию на территории СССР тех, кому было выражено Высочайшее Удовлетворение. Теперь оркестр БССР прописался неподалеку от Кремля – в гостинице «Москва». Рознер теперь должен был чередовать выступления для широкой публики в «Эрмитаже» с «закры-

тыми концертами» для «больших людей», поездки же в Белоруссию превратились в гастроли, случавшиеся не намного чаще, чем в другие крупные центры страны. В кругах деятелей искусств, приближенных к кругам государственных деятелей на расстояние протянутой за вознаграждением руки, Рознера стали называть – конечно, в частном разговоре – «Сталинским джазменом», а его оркестр – «Сталинским джаз-оркестром». Ему даже предложили сочинить джазовые вариации к вальсу Штрауса «Сказки Венского леса», полюбившемуся Вождю, и исполнить их в фильме «Концерт-Вальс», снимавшемся по его пожеланию.

Рознер играл, как всегда, отменно. И Хозяину опять понравилось. А у Рознера появилось еще одно прозвище: среди поклонников его стали называть «Иоганном Штраусом джаза».

Причина феноменального успеха Государственного джаз-оркестра БССР заключалась не только в высоком мастерстве его руководителя и оркестрантов, но, пожалуй, еще в большей степени в том, что они «попали в случай». В СССР они прибыли в тот самый год, когда там был построен социализм. Об этом советскому народу сообщил сам Вождь с трибуны партсъезда.

Стоило утру окрасить нежным цветом стены древнего Кремля, как все граждане, пробудившись, начали ликовать. По улицам и площадям городов, украшенных флагами, плакатами и портретами вождей, двигались шествия трудящихся в праздничных одеждах, стройные колонны красноармейцев, которых сменяли физкультурники, физкультурников – пионеры, пионеров – ансамбли народных песен и плясок. Музыка, песни, цветы. Радость не знала границ. И со всех сторон с громадных портретов смотрел на то, как поёт и пляшет вся Советская страна, товарищ Сталин, пряча в роскошных усах ласковую усмешку.

Высочайшей своей вершины празднества достигали, разумеется, в Москве. Каждое утро со всех вокзалов потоки гостей столицы устремлялись к Красной площади, туда, где проходит мировая ось и высится Мавзолей вечно живого Ленина. Море цветов и флагов затопляло её, море радостных лиц, вереницы принарядившихся охранников, шпалеры улыбающихся милиционеров. С утра до вечера из репродукторов гремела бравурная музыка и нескончаемым потоком лились песни. В голубом небе краснозвездные самолеты пролетали строем, образующим имя Вождя. Время от времени распорядители, не в силах сдержать нахлынувших чувств, восклицали в мегафоны: «Слава Великому Сталину!» – и массы взрывались громогласными криками «Ура!!!» И снова песни, марши, пляски, смех. Во всех кинотеатрах лихо пахали и задорно хохотали кудреватые молодцы «Трактористы», хихикала «Волга-Волга», показывала белые зубы, ножки и характер «Девушка с характером». Под сенью великолепных павильонов только что открывшейся Выставки Достижений Народного Хозяйства красовались громадные плоды социализма, и самые знаменитые свинарки и доярки встречались с прославленными пастухами и комбайнерами. Когда же в темной синеве над счастливой столицей загорались рубиновые звезды Кремля, на сцены театров, концертных

залов и дворцов культуры восходили ярчайшие звезды советского искусства. Первые лауреаты Сталинских премий исполняли перед первыми Героями Социалистического Труда Первый фортепьянный концерт П.И. Чайковского. Самые искуснейшие в мире балерины закручивали такие фуэте, что у зрителей начинала кружиться голова. А самое лучшее лирико-колоратурное сопрано призывало высоко поднимать бокалы с вином и осушать разом. И, естественно, осушали. И призыв лучшего баса: «Выпьем, ей-богу, ещё!» – тоже не оставался не услышанным. В общем, веселились до упаду. Никогда еще у новой исторической общности – советского народа – не было такого замечательного и продолжительного праздника.

Иногда, правда, когда на короткие ночные часы затихал праздничный гул, до слуха спящих граждан доносилось приглушенное тявканье пистолетов со стороны Лубянки. Это заставляло тех, у кого сон был некрепок, плотнее закутывать голову одеялом, справедливо полагая, что это – чисто внутреннее дело наркомата чисто внутренних дел. И, вытесняя ненужные мысли воспоминанием о доброй улыбке, прячущейся в роскошных усах, граждане вновь погружались в спокойный сон.

Неудивительно, что в атмосфере всеобщего благодушия и всенародной любви к власти Сам тоже разрешил себе чуточку расслабиться, смягчив на время свой революционный ригоризм. Распространились даже не пресекавшиеся органами слухи, что товарищу Сталину нравятся роман «Три мушкетёра», опера «Риголетто» и кинофильм «Большой вальс». Этим самым они как бы очищались от классовой скверны и обнаруживали глубинное пролетарское благородство. Как только это стало известно, роман был издан миллионным тиражом, «Большой вальс» на целый месяц занял экраны всех 52-х кинотеатров Москвы, а песенка повесы-герцога затмила по популярности даже арию Ленского.

Вот в такое-то развеселое время пришло Рознеру с его оркестром заявиться в страну Советов, и немудрено, что оказался он ко двору.

Но всякому празднику приходит конец. Пару лет поплясали, и – нате вам! Подлец Гитлер самым предательским, вероломным образом нарушил честный дружеский договор, – можно сказать, наплевал в душу, – и напал на верного друга и собрата по социализму, нанеся коварный удар в незащищенную братскую спину. Началась война.

Все годы войны оркестр Рознера колесил по всей стране, выступал перед фронтовиками и перед тружениками тыла, в воинских частях, госпиталях и на заводах. Популярность «Парня-паренька» сравнялась с популярностью «Огонька» и почти достигла «Синего платочка». В 1943-м оркестр получил Почетную Грамоту от командующего Белорусским фронтом маршала Рокоссовского, и вскоре, после того как Белоруссия была освобождена и «батька» Пантелеймон опять вступил в свою державу, самому Рознеру было присвоено звание заслуженного артиста БССР. К концу войны популярность его оркестра была уже близка к всенародной, и на празднике Победы в парке культуры им. Горького ему рукоплескала такая многотысячная аудитория, какой Москве на музыкальных концертах ранее видеть не

приходилось. После этого еще год гастрольные поездки рознеровского оркестра по стране с праздничной программой сопровождались шумным успехом. Свой последний большой концерт «Вот мы и празднуем» Рознер дал в начале августа 1946 года на сцене Центрального Театра Красной Армии, и как только смолкли овации, над артистической судьбой «сталинского джазмена» опустился плотный занавес.

В качестве рецензии газета «Известия» опубликовала статью «Пошлость на эстраде», автор которой старший инспектор главка музучреждений Всесоюзного Комитета по делам искусств по фамилии, напоминающей удачно подобранный псевдоним, Грошева уведомляла, что чуждым для советского народа формам так называемого искусства отныне нет места на нашей сцене, что «третьесортный трубочка», он же – «маэстро из Берлина», пытается насаждать низкопробные буржуазные вкусы, и тем, кто способствует ему в этом, придется вскоре осознать свою ответственность перед зрителями. Трудно сказать, осознал ли свою ответственность главный пособник Рознера Пантелеймон Пономаренко, расставшийся вскоре с должностью «бабки» всея Белоруссии в связи с переходом на работу секретарем ЦК КПСС и министром культуры СССР, но тем, у кого возникли сомнения в компетентности «музыковеда в штатском», очень скоро предстояло с ними расстаться. Через пять дней после публикации указаний Елены Грошевой, 14 августа, было принято постановление ЦК «О журналах «Звезда» и «Ленинград», заклеившее дух «низкопоклонства по отношению ко всему иностранному».

Погодные условия на «одной шестой части суши» вновь резко изменились. Они соответствовали резкому различию во взглядах на роль и сферу влияния СССР в послевоенном мире между Хозяином самого СССР и недавними союзниками СССР. Хозяин считал, что эта роль должна быть не меньше, чем в победе над Германией – то есть главной. Поскольку политические руководители Запада сочли такую логику принципиально ошибочной, он объявил их «поджигателями войны» и круто повернул руль, так что дреднот социализма лег на курс тотальной борьбы за мир. Все, что как-нибудь было связано с Западом, пахло западным духом, выглядело по-западному, звучало по-западному, стало враждебно лагерю мира и социализма и отвратительно для советского человека. Партия, органы госбезопасности и все честные советские люди единым фронтом начали наступление на врага. Личины у него были разные: буржуазный национализм, космополитизм, идеализм, формализм и еще дюжина разных «измов», но на самом деле он был един, и его подлинный облик дяди Сэма с крючковатым еврейским носом каждый день публиковали центральные газеты, чтобы все советские люди знали, как выглядит враг. Наступление было начато сразу широким фронтом под знаменем «борьбы против преклонения перед иностранщиной», чтобы в широко расставленные сети попались, были выявлены и взяты на учет сторонники всех ядовитых «измов», гнездящиеся в щелях общества.

Так Эдди Рознер опять попал в случай, но на этот раз – в далеко не счастливый. Наоборот, сразу ощутимо запахло бедой. Став в одно-

часье «третьесортным трубачом», он понял, как права была его теща, когда сразу после опубликования Указа Верховного Совета СССР от 10 ноября 1945 года «О выходе из советского гражданства лиц польской и еврейской национальности – бывших польских граждан» стала уговаривать дочь и зятя как можно скорее расстаться с эстрадой и оформить выездные документы, чтобы вместе уехать в Польшу. Перебравшись, благодаря связям Рознера, в 1944 году из глубин Средней Азии, куда её забросила эвакуация, в Москву, она сумела гораздо лучше своего зятя разобраться, каким духом понесло из кремлевской подворотни после того, как отшумели радостные праздники в честь Великой победы. Ида Абрамовна никогда не вникала в проблемы большой политики, но довольно точно угадывала текущий курс акций антисемитизма на бирже идеологических ценностей и логику зигзагов государственной политики в отношении к «еврейскому вопросу» постигала чутьём, а не посредством анализа. Пока шла война с германским фашизмом, евреи были полезны как его жертвы и свидетели его преступлений. В качестве таковых они помогали склонить Америку к более активной помощи Советскому Союзу в войне. Но теперь, когда Америка была утверждена на роль главного врага, логически закономерно евреям была отведена роль пятой колонны Америки в СССР. Теперь от каждого еврея несло возможным предательством за версту. У всех у них были родственники в Америке. Все они жаждали посылок и подачек из-за океана и за подачки были готовы на всё. Логика требовала, чтобы органы госбезопасности вместе с административными органами всё это учитывали. В обстановке беспримерной активизации всех антисоветских сил в лагере империализма каждый потенциальный предатель и шпион должен быть и был учтен и взят под надежный контроль. Присутствие в воздухе настроений, навеваемых этими государственными соображениями, и улавливала Ида Абрамовна настолько отчетливо, что как только услышала о начале борьбы с «преклонением», немедленно атаковала зятя с требованием бросать все и ехать. И если до этого Эдди колебался, хотя и признавал весомость многих аргументов тещи, – нелегко было ему, популярному артисту, находившемуся на гребне славы, уйти со сцены, когда гром оваций сопровождал его выступления по всей стране, – то Грошева помогла ему, и он уже без колебаний подал заявление в польское посольство с просьбой о репатриации. И очень скоро получил ответ, что «все необходимые документы будут оформлены в течение шести месяцев».

Другой ответ он получил от своего покровителя Пантелеймона Пономаренко, которому стало известно о заявлении Рознера. Вызвав его к себе и пожурив за неблагодарность, «батяка» в категорической форме запретил ему даже и думать о том, чтобы бросить республиканский оркестр. – Обиделся? Переживи! Критика – она на то и есть критика. Устал? Бери отпуск и поезжай на два месяца с семьей в Сочи. Хорошо отдохнешь, все забудется, и будешь работать, как работал. И чтоб я не слышал больше ни про какую Польшу!

Понимая, что спорить с «батькой» бесполезно, Эдди было пригнулся, но тут неожиданно он получил еще один ответ на свое заяв-

ление. Некто Березовский, с которым у Рознера было чисто шапочное знакомство, случайно встретившись и разговорившись, сообщил ему, что существует гораздо более простой способ выезда в Польшу, безо всякой мороки с посольством. Что во Львове работает польский представитель, ведающий регистрацией бывших польских подданных и отправкой их прямым поездом Львов–Варшава. Он предложил Рознеру, если тот хочет, познакомить с этим представителем, поскольку сам у него уже зарегистрировался и ждет очередного поезда, который будет в конце месяца. Только если Рознер надумает ехать, то надо спешить, потому что регистрация заканчивается буквально на днях. И Эдди заспешил. Когда на прямых путях к желанной цели возникают труднопреодолимые преграды, нет ничего соблазнительней простых обходных решений. Быстренько оформив отпуск, чтобы его отсутствие ни у кого не вызывало вопросов, он выехал с женой и трехлетней дочкой во Львов (Ида Абрамовна, не дождавшись их, уехала с мужем двумя неделями раньше). Представитель огорошил Эдди тем, что регистрация уже закончена, но, оказавшись человеком стоворчивым, за 20 тысяч рублей согласился оформить её задним числом. После чего уехал с Березовским в Варшаву. А Эдди поехал обратно в Москву в отдельном купе и в наручниках. Несколько позже поехала и Рут с дочкой в Казахстан на ссылку.

На следующий день по прибытии во внутреннюю тюрьму МГБ на Лубянке Рознер был препровожден вертухаем в кабинет замначальника следственной части по особо важным делам полковника Лихачева, который и сообщил ему причину его ареста: измена Родине путем нелегального выезда в США с целью передачи шпионских сведений. Никаких иных вариантов, кроме расстрела, подобное обвинение не предусматривало. Довести до сведения Рознера ожидающие его перспективы, видимо, и было главной целью первого допроса, потому что его отрицательный ответ на вопрос, признает ли он себя виновным в предъявленном ему обвинении преступлении, нисколько не разочаровал полковника, и он, не задавая более никаких вопросов, отправил Рознера в камеру.

Лживость предъявленного обвинения от первого до последнего слова была очевидна, что, однако, не было редкостью в те времена, а скорее нормой. Но вот почему этим фуфлом занялась следственная часть по особо важным делам, и почему через три недели после ареста Рознера допрашивал уже не полковник, а генерал-полковник – лично сам министр госбезопасности, кстати, и утвердивший собственноручно постановление на арест Рознера, – это и для тех времен выглядело загадочно. Эту загадку мог бы, конечно, разрешить протокол допроса. Но Абакумов разговаривал с Рознером в течение часа с глазу на глаз, и никаких сведений о содержании этого разговора, кроме самого его факта и даты – 10 декабря 1946 года – в деле Рознера не осталось. Можно только предположить, что министр попусту потратил время, поскольку после этого разговора следствие еще семь месяцев топталось на одном месте: протоколы восьми десятков допросов, которые вели, чередуясь, два подполковника, неизменно заканчивались категорическим отрицанием Рознера и шпионских це-

лей, и американского маршрута. Наконец, после того как у него начался туберкулезный процесс, его уломали подписать, что он собирался ехать в Америку. Ограничившись этим скромным успехом, МГБ постановлением собственного Особого Совещания от 7 июля 1947 года за измену Родине отвалило Рознеру Адольфу Игнатьевичу аж десять лет ИТЛ. Из всех загадочных несообразностей в деле Рознера это была самая несообразная. Даже за попытку изменить Родине как норму давали 25. И дело не в том, что в данном случае не было ни попытки, ни Родины, а всего только страна эмиграции, в которой обвиняемый прожил 6 лет и из которой намеревался выехать на законном основании, хотя и не вполне законным образом, за что наиболее адекватным наказанием должен был стать штраф, и не более того. Феноменальный характер этому мелкому, заурядному, в принципе, делу придавало то, что МГБ, заподозрив человека в тягчайшем преступлении против государства, пусть даже не в совершении такового, а лишь в намерении его совершить, выпустило его в лагерь с минимальным – для времени максимального могущества МГБ – сроком. Местом отбывания срока этого легкого наказания избран был, правда, СЕВВОСТлаг – не лучшее место для лечения туберкулеза. Однако до Колымы Рознер не доехал. В Хабаровске, в связи с обострением процесса, его направили в больницу. На следующий год личное дело выписанного из больницы в Хабаровский ИТЛ Рознера легло на стол Комиссии по отбору «особо опасных государственных преступников» в только что созданные «особые лагеря» (спецлагеря МГБ в ГУЛАГе МВД). Как и положено изменнику Родины, Рознер получил путевку в колымский «Берлаг». Однако в Москве Центральная Комиссия на деле эка Рознера начертала: «Оставить в общих лагерях». Хранимый таким образом от горших бед неисповедимым попечением МГБ, последующие два года Рознер отбывал в Хабаровском ИТЛ, создал из числа заключенных-музыкантов джаз-оркестр. В летние месяцы его и еще нескольких артистов из лагерной культбригады отправляли в пионерский лагерь для детей работников краевого УНКВД, где они принимали активное участие в организации художественной самодеятельности. Рознер, естественно, был музыкальным руководителем и артистом, а также трубил подъемы, отбой и сборы на пионерскую линейку. Однако осенью 1950-го он вновь оказался в больнице – сначала в Хабаровске, а потом в Комсомольске-на-Амуре. В Нижне-Амурском ИТЛ его находит письмо известного эстрадного певца Вадима Козина, отбывшего срок в Магадане и по освобождении работавшего там худруком ансамбля песни и пляски клуба воензированной охраны. Они познакомились в 1940-м, когда Рознер был на гастролях в Ленинграде. Козин советовал ему попытаться попасть на этап в Магадан и не опасаться такого этапа, если будет на него назначен. Уверял, что в Магадане у него будут отличные условия, какие только возможны в лагере, что он окажется в хорошем артистическом коллективе. И хотя Рознер и не предпринимал попыток попасть на Колыму, в конце 1951 года был подписан спецнаряд на этапирование его в СЕВВОСТлаг «для дальнейшего содержания и использования по организации художественной самодеятельности».

Легко заметить, что предписание этапировать Рознера на Ванинскую пересылку для отправки в СЕВВОСТЛag, по разным причинам не выполнявшееся в течение четырех с лишним лет, вдруг вновь обрело силу после того, как в июле 1951 года был арестован министр госбезопасности Абакумов. Резонно предположить, что, арестовав Рознера и подвергнув его чекистской обработке, которую из-за начавшегося туберкулезного процесса пришлось прервать, добившись лишь частичного успеха, Абакумов «законсервировал» его как ценного фигуранта в каком-то крупном деле, находящемся в производстве, а пока отправил «на сохранение» в ГУЛАГ. Установить, что это за крупное дело, которым МГБ занималось в течение пяти абакумовских лет — это тоже не бином Ньютона, скажем мы вслед за булгаковским котом. Такое дело было только одно, и занимало оно главное и центральное по отношению ко всем другим делам место в психике Хозяина. И то, что в истории сталинской юстиции оно осталось под скромным наименованием «дело ЕАК», свидетельствует только о неудаче, постигшей и Хозяина, и его опричников в организации этого дела (в неудаче второй попытки, известной под именем «Дело врачей», винить его уже не приходится). Указание о тщательнейшем расследовании сионистского заговора «на всю Россию» Абакумов получил от Хозяина сразу по вступлению на министерский пост и взялся за дело рьяно, но выполнить не сумел. За пять лет так и не собрал необходимой для организации большого процесса доказательной базы. Это и стало причиной, что раздосадованный Хозяин сделал вид, что поверил доносу о причастности самого Абакумова к сионистскому заговору, и отправил верного, но туповатого пса на живодерню.

Нового министра занимало, прежде всего, новое «мингрельское дело», порученное ему Хозяином. А что касается зэка Рознера, то он ему, скорее всего, был неизвестен и в любом случае неинтересен. Таким образом, выкованный в кабинете Абакумова и висевший над головой ничего не подозревавшего Рознера дамоклов меч бесследно растворился в воздухе, а его лагерная судьба поступила в распоряжение лагерных хозяев местного значения. Следствием чего и стало то, что на исходе пятого года по выезде из Москвы он добрался до бухты Ванино, чтобы занять свое место на нарах среди ожидающих Харона.

Различие жизненных путей и взглядов на жизнь никак не мешало установившимся в компании игроков в преферанс приятельским отношениям. Лишенная событий жизнь поводов для разногласий не давала. Залетающие по случаю в зону новости с воли были довольно однообразны и часто недостоверны. На политические темы общих разговоров практически не велось, потому что, кроме Михаила Ильича, склонного большинство явлений жизни рассматривать именно с политической точки зрения и не утратившего полемического темперамента, других охотников до политических дискуссий в компании не было.

Михаил Ильич остался человеком глубоко партийным, хотя в партии и состоял всего три года: вступил в год «ленинского призыва» и вычищен был в 27-м за принадлежность к «оппозиции». Для него

трагедия века была прежде всего трагедией идеи, скомпрометированной негодаями, захватившими власть в партии и в стране. В душе он лелеял надежду на будущее поколение коммунистов, которое восстановит чистоту идеи и претворит её в жизнь.

Алексей Иванович, хотя и пробыл в партии вдвое дольше, с 1943 года, когда начальник политотдела армии уломал его подать заявление, и до ареста никогда, по сути, партийным человеком не был и не верил в способность партии руководить жизнью народа. Причину трагедии, постигшей страну, он видел в отсутствии общественных сил, способных помочь народу организовать и защитить свою жизнь от политических преступников и пройдох. Однако он сохранял некоторую надежду на то, что после естественного ухода со сцены главарей нынешнего режима начнется междоусобица среди наследников и возникнет возможность объединения решительных и честных людей, которые смогут освободить страну от злокачественного политического образования.

Ну, а Васильич и Эдди вообще считали себя людьми, не имеющими никакого отношения к политике, и относились к ней неприязненно, считая её основной причиной большинства человеческих несчастий. Эдди еще разрешал себе высказать порой суждения, вроде того, что классовая борьба в СССР окончится победой людей с четырех-классным образованием над теми, кто имеет семиклассное, и тогда диктатура тупорылых отупеет настолько, что достигнет, наконец, коммунизма, процветавшего в первобытном стаде.

Васильич же просто не проявлял никакого интереса к тому, что касалось политики. Про себя он считал, что политика – это хитрость власти, чтобы обманывать народ или любого, кого надо обмануть. И сколько ни рассуждай, все равно обманет. На то она и власть. На своем веку он хорошей власти не видал, и прежде, как говорят, такой не было. Конечно, если б такие люди, как Алексей Иванович, стояли у власти, было бы хорошо. Но в глубине души он не верил, что это может быть. Не сходилось одно с другим. Потому что тех, кто любит власть и деньги, всегда больше, чем тех, кто любит справедливость. Может, эта власть и переменится, и будет какая-нибудь другая, а правды все равно не будет. Так что и говорить не о чем. Только и остается, как говорит Алексей Иванович, закрепиться на позиции да ждать от Бога подмоги.

Каждый из них имел свой резон не беречь душу ни себе, ни другим, коротая время в ожидании будущего, ничего хорошего им не обещавшего. Пустой барак и листок бумаги с записью «гор» и «вис-тов» были единственными аксессуарами их призрачной жизнедеятельности. Так в ненастную пору своих сошедшихся на краткий срок судеб под шелест выпадавших чередой карт и дней без радости при выигрыше и без споров при проигрыше занимались они на краю зем-ли делом.

Марк Харитонов

ПОМУ, КТО УСЛЫШИТ

* * *

Говорят, чтоб запомнить хотя бы стишок,
Нужно усилие, а уж забудется
Все само по себе. Если бы так!
Сколько мусора застревает навечно
Неизвестно зачем: магазинные цены
Двадцатилетней давности, изображения
На стене сортира, запах блевотины,
Торт с надписью жирным зеленым кремом:
«Слава КПСС!»
И каким усилием отменить, изгнать
Школьное унижение, хамский гогот,
Разочарованную усмешку женщины, безнадежный позор,
Ревность, нагнивающую, как заноза,
Хотя того, к кому ревновал, уже нет давно,
Мертворожденный замысел, неоправданную надежду,
Упущенный выигрыш, обман, в который поверил,
Миг малодушия, предательство мимоходом,
О котором никто не узнал и уже не узнает,
Обошлось без очевидных последствий.
Считай, этого не было, не имеет значения,
Ты другой, у тебя теперь все другое,
Выбрось из головы, очисти, как мусорную корзину.
Очень кстати в газете реклама: надежное средство,
Освобождение от ненужного, эффективная анестезия.

ЭВРИДИКА

Трепет солнечных пятен, ссадина на колене,
Яблоко, побуревшее в месте надкуса,
Набуханье сосков, томление, счастье утраты
Слезы бессонных ночей, наполненность новой жизнью,
Запах теплых мокрых пеленок,
Запах сладкой молочной отрыжки,
Увядание женственности, осеннее золото.
Это было, пережито навсегда, существует,
Вырванное у небытия тобою – уже не отменишь.
Кошка на подоконнике провожает
Зигзагами охотничьих удивленных зрачков

Траектории листопада.
На асфальте после дождя
Четкий отпечаток – слиняла краска
Желтого каштанового листа.

ОБЛАКА

Ветер уносит невесту. Развевается, тает фата.
Уплывает ладья, паруса разодраны в клочья,
Тоже бледнеют, растворяются в синеве.
Остается лишь память их видевшего. Исчезнет и он.
Навсегда ли? Как утверждает наука,
До конца в этом мире не исчезает ничто.

ИНТЕРЕСНОЕ

Интересное – как проблема

Я. Э. Голосовкер

Что считать интересным, что неинтересным?
Чем глубже зарывается в проблему философ,
Тем больше в ней оказывается непонятно.
Ребенку интересно бывает все:
Жук, камешек на дороге, бутылочное стекло,
Дождь, темнота платяного шкафа, обиталище под столом,
Деревяшка, способная превратиться в куклу,
Или в коня, на котором можно скакать.
Ему не интересны формулы, эротические описания
(Описания, не картинки). Непонятное не интересно.
У взрослого, наоборот, вызывает скуку
Все уже понятное, виденное много раз.
Что интересного в дожде, в узорах снежинок?
Приедаются райские кущи, словно скучный курорт.
(Скука движет историю, как любовь и голод).
Неинтересно все, что не задевает души и ума:
Для кого-то абракадабра цифр, откровенья науки,
Для кого-то – хорошо темперированный клавир,
Для кого-то ритмы электронных ансамблей,
Боевики все с теми же погонями и стрельбой.
Ребенок потрошит куклу – интересно понять, что внутри,
Маньяк вскрывает ножом животы беременных женщин –
говорит, что тоже из любопытства.
Интересны пожары, катастрофы, изуродованные тела
(После того, как привыкнешь не замечать тошноту).
Скучней повседневной жизни только книги о ней,
Но то же самое интересно, если подсматривать в щелку.
Журнал с торжеством публикует фото – какая удача:
Кумир миллионов любит под пиво сосиски!

Я вчера тоже ел сосиски – почему это не интересно?
Не интересен испражняющийся при всех идиот,
Назови то же актом творчества – соберутся смотреть.
Нет, разобраться тут иногда попросту невозможно.
Что, казалось бы, скучнее затянутого однообразия?
Я смотрел, лежа в постели, как кружит среди комнаты муха,
Совершает неровные виражи то по часовой стрелке, то против,
Делает внезапные загогулины, ломанные восьмерки,
Лишь ненамного смещаясь от постоянного центра.
Это не был сигнальный полет, как у пчел возле улья,
Когда они объясняют другим направление к медоносу,
И не танец брачного ритуала. Другие мухи
Летали с места на место, садились, чистили лапки.
Эта кружила безостановочно и бесцельно.
Сколько можно? Должно же ей не хватить сил? Бензина?
Комары-толкунцы тоже, глядишь, зависают, не отдыхая,
Но они невесомые, их, небось, держит воздух.
Прошло минут двадцать. Я понял, что завершения не дождусь.
Надо было вставать, заниматься делами.
Вспугнутая муха дернулась, улетела прочь.
Интерес мой остался не удовлетворен. Понимание тоже.

СВЕЧА

Необыкновенная сказочная свеча
В виде селения, прилепившегося к горе.
Гору венчает храм с куполом небесной лазури,
Из купола высовывается фитиль.
Каждый дом обозначен подробно:
Резные карнизы, пилястры, оконные рамы.
За окнами угадываются фигуры.
В сумраке они едва различимы.
Но если только зажечь фитиль,
(Необыкновенная сказочная свеча)
Вдруг высвечиваются, оживают.
Рдеют в очаге угли, из котла поднимается пар,
Женщина трогает колыбель, распускает волосы по плечам.
Хочется, не отрываясь, без конца наблюдать
Трепет и колыхание засветившейся ярко жизни...
Но что это? На окно вдруг наплывает натек.
Слишком увлекся, надо бы уследить.
Пламя на черном фитиле разрослось,
Не желает теперь погаснуть – и сил не хватает задуть.
На месте лазурного купола кратер, оранжевый, раскаленный.
Зажег, теперь уже ничего не поделать.
Но как же тогда иначе увидеть жизнь?

* * *

Берешь двумя пальцами крохотное зерно,
 В котором содержится уже все дерево
 С ветвями, толстым стволом, корнями, шелестом листьев,
 (В их тени будут играть младенцы, отдыхать старики),
 С жилами сосудов, качающих соки к раскидистой кроне,
 С цветением, ароматами, с будущими семенами,
 Со всей, быть может, пятисотлетней жизнью.
 Не сейчас. Оно готово дожидаться поры,
 Чтобы попасть на благодатную почву.
 Все уже задано кодом емких частиц.
 Так бы вместить в жизнеспособные строки
 Передуманное, пережитое,
 Чтобы могло само прорасти, развернуться,
 Осуществиться уже в другой душе.

ГЕОМЕТРИЯ НЕВСТРЕЧ

Геометрия несовпадений – невстреч.

Одиночество заставляет выйти из своего угла.

Оглядываешься, надеешься увидеть кого-то,

Ищущего сейчас, быть может, тебя,

Со второй половинкой выигрышного билета,

Чтобы обе соединить, дополнить друг друга.

Только бы встретить, узнать. Все мимо,

Даже взглядом не соприкоснутся – не те.

Однажды вздрогнешь, услышишь: «Ты что не приходишь?

Я тут, совсем рядом, встретились бы, наконец».

Параллельные улицы без перекрестков

Никак не сойдутся. Дороги, словно в аттракционе,

Разводят вас в разные стороны, на разные берега,

Мост в ремонте, парома нет. Оказываетесь в разных странах,

Граница закрыта, без визы не попадешь.

Поднимешь взгляд к небесам: какой там распорядитель

Наблюдает с усмешкой блуждания, тыканья не туда?

Не подскажет, не жди. Пересечения траекторий,

Тающих во вместительном воздухе – лишь иллюзия встреч.

У пространства в запасе есть добавочное измерение,

Разная высота – разминетесь. Попробуй еще разок.

Геометрия несовпадений, соединения наудачу,

Как уж получится, как сумеешь, разберешься потом.

Дети, семья, переигрывать поздно. Рассчитано экономно:

Выигрышей на всех не хватает. Теория вероятностей

Называет это везением – если угодно, судьбой.

ЧУЖАЯ СТРАНА

Чужая страна за стенкой, гортанные голоса
Чего-то не могут выяснить, криков не разобрать.
Утром из двери вынесут тело под простыней,
Лица не увидишь, и незачем, все равно не узнать.

В чужую страну попадаешь, не выходя из подъезда,
Лампочка вывернута, кто-то, облизывая губу,
Подзывает: «Отсосать для здоровья полезно,
Не жмись, недорого». Рядом шприц на полу.

Незнакомые имена на афишах, названия на рекламах.
Показалось понятным слово – не рискуй повторять,
Ухмыльнутся, как сальности. Звуки похожи, смыслы,
Как узнаваемые когда-то лица, остались не здесь.

Хрип электронных тамтамов над дымом жаровень,
Обезьянка на плече зазывалы округляет глаза,
Потерянная, чужая. Вернуться к себе бы,
Если бы знать дорогу – где это: у себя?

НАТЮРМОРТ

Бутоны в вазе с водой
Распускаются
Становятся цветами
Уже убитые
Другие в саду
Увядают раньше
Жить остается
Натюрморт

МОНТАЖ

Вырежем ножницами бракованное, постыдное, лишнее.
Столько было накручено – незачем просматривать снова.
Больше не понадобится, только будет мешать,
Как угрызения совести. С возрастом это проходит.
Главное удержаться в жизни, не всем это удалось.
Остальным подробности не обязательно предъявлять.
Выбросим отходы в корзину, склеим концы
По возможности незаметно – в этом искусство.

ИЗМЕРЕНИЯ

Ученые все еще бьются над единой теорией поля,
Получается туго. Говорят, недостаточно трех,
Четырех известных нам измерений. Нужно не меньше восьми,
Даже одиннадцати. Можно ли это представить?
Математики мало. Пробуем соединить
Отдельную жизнь с другой, такой же отдельной, составить
Хотя бы семью – человечество после. Вводим
Измерение мысли, пытаемся преодолеть
Ограниченность каждого, дополняем
Одно понимание другим, одну культуру другой,
Переводим с языка на язык. Выходит все время не то.
Единства не получается.

ТОМУ, КТО УСЛЫШИТ

Вероучитель, не провозглашающий истин,
Проповедник, не зовущий следовать за собой,
Обращается к тому, кто услышит.
Истину, говорит он, создает для себя каждый заново,
Выражает своими словами, на своем языке.
Общезначимое доказуемо, как в математике,
Ответ, если не хватит терпения, подсмотришь в конце.
Решения, заложенные в программу заранее,
Отыскиваются, как в компьютерных играх:
Блуждаешь, перебираешь возможности, тычешься
В чьи-то готовые мифы, приобщаешься к чужим ритуалам,
К магическим процедурам, сверяясь с расположением звезд,
А если понадобится, надышавшись дурмана –
Лишь бы укрыться от непонятного, невыносимого мира
В другом, уже обустроенном, где тебе объяснят, что надо,
Но все-таки, не своем. К своему надо еще пробиваться
На собственный страх и риск, обдираясь до крови.
Только пережитое станет твоей историей и судьбой,
Выстроенное усилиями души станет твоим миром,
Истиной станет то, что ты способен осилить.
Пусть тебе кто-то скажет, что это давно не ново,
Повторялось за тысячелетия бесконечное множество раз.
Музыка для каждого слуха звучит по-разному, заново.
Ты – именно ты – проживаешь впервые
В неповторимом времени неповторимую жизнь.
Не бойся казаться смешным, бейся над непостижимым.
Ты не один такой. Принадлежащих к общине,
Пусть они и не знают друг друга, объединяет
Не вероучение и не философия – поэзия, может быть.

Елена Лапшина

ЧУНЯ

Имени своего она не запомнила – малая ещё была. А потом её стали звать Чуня – хорошее имя, ласковое, как на такое не отзовёшься? А надоест, можно и поменять – Масяниху в прошлом году звали Машка. Только добавляли – «толстая», потому что была ещё одна. Сейчас Масяниха была совсем не толстая, а худая-прехудая, и Оська-Трипер говорил, что она скоро помрёт. Только зря переименовывали. Масяниху было не жалко – а чего жалеть, если она уже и так старая. Она Масяниху спросила: «Ты старая?». А Масяниха ответила: «Нет». И ещё много чего ответила, но Чуню не убедила, потому что проговорила о своих сорока годах. Конечно, старая. И кожа у неё красная и морщинистая – такая только у старых и бывает. «А сколько мне лет?» – подумала Чуня.

Из дома она не то чтобы убежала, а так – ушла. Села на электричку и поехала. Сначала было интересно, а потом за окошком стало темнеть, и Чуня уснула. Слышала только сквозь сон, как колёса отстукивают и голос из динамика что-то ворчит. Так и проспала до конечной, пока её дядечка не разбудил. Хороший дядечка, и ангел над ним был тихий, печальный такой.

Родителей Чуня забыла как-то сразу, а может, никогда и не знала. Знала, что такие бывают, но назначения их не понимала. «Если родители – мужик и баба, – рассуждала Чуня, – то Масяниха и Трипер, как родители. Я им отдаю хавчик и деньги, какие не успею спрятать, а они покупают бухло». Чуня вспомнила, как однажды попробовала водку и во рту у неё погорчело, как тогда. «Нет, лучше без родителей совсем, – подумала Чуня. – Только скучно иногда».

Ангелов Чуня видела всегда, сколько себя помнила. Только, когда маленькая была, не знала, как они называются. А этой весной в церкви грелась с другими бродяжками и увидела картину на потолке, где люди с крыльями. И так обрадовалась, голову задрала и давай орать: «Смотри, смотри, Масяниха, вон они! Только не настоящие, а нарисованные!». И только стала Масянихе втолковывать про больших прозрачных людей, как их братию из церкви попёрли. А всё молоденький вредный поп. Но Чуня его простила: во-первых, потому что согрелась, а во-вторых – ангел над ним стоял громадный, плечистый, как сторож Коля из котельной. Такого попробуй не прости. У Масянихи ангела не было, и слушать ей об ангелах было неинтересно. Но у Оськи-Трипера был. Маленький, захудалый, но был. И стоял он над тощей Оськиной фигурой рассеянный и малахольный, как сам Оська, когда только проспится. «Ну, и какой он», – спрашивал Оська, почёсываясь (весной их всех пробрала че-

сотка). «Такой же, как ты, только прозрачный», – отвечала Чуня. «А сейчас он чего делает?». «Ничего. На тебя смотрит». «А чего говорит?». «Да ничего не говорит. С кем ему говорить? Не с тобой же, – сердилась Чуня. – Они с людьми не разговаривают, только между собой». «Ишь ты, – с ехидством удивлялся Оська, уже придумав подлый вопрос. – Ну, а что же мой с твоим не разговаривает? Так бы покалякали между собой? А? Чего молчишь-то? Или нет у тебя? Ну, Чуха ты, Чуха». Когда Оська-Трипер спросил её про ангела в первый раз, Чуня расстроилась: а вдруг, и правда, у ней самой его и нет. Вот было бы несправедливо. Но потом рассудила, что, верно, есть. Только как же его увидишь, когда он за спиной. И в следующие разы отвечала Триперу так: «Есть у меня. Он вот здесь стоит», – и показывала через плечо, тыкая пальцем воздух, в надежде, не нащупает ли перьев. «Дура ты», – лениво отзывался Оська, теряя к ней интерес. «Сам дурак трёхнутый», – отвечала Чуня для порядка, и на том разговор кончался. А в этот раз получилось неприятно, потому что вредный мужик спросил ещё, когда же она своего ангела увидит. Чуня подвигала бровями, но к чести своей нашлась: «А не скоро, – ответила она. – Вот когда составлюсь и умру, как Масяниха». Нет, она, конечно, хотела сказать не это – не то, чтобы как будто Масяниха уже умерла, а только ещё собирается. Но Масяниха не поняла и стала орать и лаяться очень обидно. А за что? Она же правду сказала – все знают, что Масяниха скоро подохнет. Только ей от этого никакой радости не будет, потому что ангела у неё нет, и никого она не увидит. Всё это Чуня хотела ей объяснить, но Масяниху уже понесло – не остановишь. Чуня только сначала опешила, а потом стала слова запоминать – хорошо баба ругается, складно, аж заслушаешься. Нехороших слов Чуня знала много, но от хороших не отличала. Зато любила, когда говорили складно и с находчивостью.

Летом к Масянихе с Трипером прибился ещё один мужик. Поначалу он показался ей ничего, но это оттого, что был невыпимши. А когда выпил, сидел на чердаке от всех поодаль и ангел его сделался какой-то серый, словно его тошнить будет. И чуднее всего, что ангел стал на неё – Чуню – смотреть. Да так, точно заговорит сейчас. Тихо, тихо, по стенке бочком Чуня подкралась к мужику, а ангел заволновался, головой замотал, крыльями – шашь! – будто улететь хочет. Но куда ему. Хотела его Чуня успокоить, да как назло увидела пивную бутылку, а в ней на дне ещё глоточек остался. Ну, что добру пропадать. Чуня бутылку хват! А мужик только с виду был задумчивый. Он как увидел, что Чуня бутылку стырила, так ей двинул, что она только утром себя вспомнила. И, вот гад, было бы за что – бутылка-то совсем пустая была. Очнулась Чуня – никого. Сквозь чердачное окно солнышко светит. И чувство странное: не помнит, как заснула, и почему на голом полу – напилась, что ли? Встала, а внутри ломота. Пошарила вокруг, смотрит – жрачка

осталась. А как наклонилась, в глазах у неё покраснело и больно стало, аж дыхание прервалось. Покряхтела она несколько дней, потом отошла. Но от приятелей решила уйти. Что она, маленькая, чердака себе не найдёт? Да и лето – где хочешь спи.

Потом её подобрали цыгане – это она сначала подумала, что цыгане, но оказалось, не цыгане – другие. Она ходила с ними по метро и спала в настоящем доме, где было полно народу. И ангелов было полным-полно, от этого казалось, что в доме совсем не протолкнуться. Хорошо было – весёлое лето! И в места они ходили всегда разные: то в метро по вагонам, то в городе возле магазина, или возле дороги. Больше всего ей нравилось на перекрёстке – там они с девчонками между машин бегали. И весело им было: подбегут к машине и в окна заглядывают, будто просят. А сами внутрь смотрят, как оно там. Чаще ей доставалось бегать в паре с Мариам. Мариамка маленькая, чёрная, говорит что-то, говорит, а ничего не понять. И ангел у неё весёлый. Вот они и заприятельствовали. Это, конечно, не настоящая дружба – по настоящему нельзя. Мариамка хоть и хорошая, но как что-нибудь стырить – не зевай. Поначалу Чуня её лупила – не сильно, по-дружески, но Мариамка не исправилась, всё равно воровала у неё из-под матраса мелочишку, которую Чуня ныкала «на потом». Но Чуня не сердилась. Мариамка была добрая – сопрёт у неё деньги, а потом всё равно делится. Ещё и своих даст. Нравилось ей смотреть, как Мариамка деньги у прохожих стреляет. Прицепится к богатой, и давай её по руке гладить, и в глаза смотрит ласково. Сама Чуня так не любила. Противно ей было чужую бабу за рукав хватать. Попробовала несколько раз, но, видно, получилось неубедительно, или выбрать не сумела подходящую. После лета Мариамка со своими уехала, а Чуня ещё осенью ходила ночевать на квартиру, пока её не выгнали.

Чуня походила одна, а как холода ударили, захотелось к людям. Осень она жила в гараже-ракушке с собаками. С собаками ей было хорошо, потому что у Чернухи появились щенки. Чуня щенков любила по-настоящему. И Чернуху тоже любила. И огорчалась, что у собак нет ангелов. А вот если бы были, то какие, интересно – собаки с крылышками? Никаких крылатых собак вокруг собак, конечно, не было. Вокруг них было сияние. Даже не сияние, а дрожание воздуха, как в жару. И если гладишь Чернуху, то пальцы сначала входят в густое упругое тепло, а потом только в шерсть. А от собачьего живота было жарко. Чуня однажды попробовала сосать молоко из чернухиного живота, и та дала. Молоко было невкусное, и щенки возились и наступали лапами ей на голову, и лизали её, и морды у них пахли солёно – слёзками.

На свалке, куда её привели новые знакомые, её поддержали немного – самое начало зимы. Жили там сытно, но как-то не так, как Чуне нравилось – не по-цыгански. Чуня же на беду

свою была ещё с характером. В общем, погнали её. Снарядили на зиму дырявым пальто и длинной шапкой, которую сначала надо было скатать, как чулок, потом только надевать. Почестному, может, и не прогнали бы её, да Чуня не удержалась – стала рассказывать народу про ангелов: у кого, да какие. Но публика попалась – не Оська-Трипер, талантов не оценила. Выперли, одним словом, дубьё стоеросовое. Пришлось до города идти по шоссе. Шла и обиды свои в мыслях вымещала. И так ей было досадно, что не заметила, как схолодало. Заметила только, когда жрать захотела. А тут ворона с дерева – хлоп! – сидела, сидела и упала с ветки. Чуня не поленилась, слезила в ботиночках в сугроб, посмотреть, годится ли на что-нибудь дохлая ворона. Птица была холодная, заledenелая, видно, замёрзла уже давно, а свалилась только сейчас. Чуня подёргала её за бурые скрюченные лапы и подумала, что потом отдаст Чернухе. Засунула под пальто. От вороны ещё холоднее стало. Хорошо, до города уже близко было. А город хоть и близко, да далеко. Вроде, вот он – огонёчками горит, а дойди до него. Только Чуня дошла. Остаток дороги как на крыльях летела (видно, ангел помогал). Уже и холода не чувствовала. Так озябла, что, не выбирая, в первый попавшийся магазин зашла – обогреться и чего-нибудь из еды спереть. Села Чуня между стеклянными дверьми, где тёплый ветер дует, и отошла понемногу. А в голове звон тонкий, как музыка, и от голода прямо трясёт. Заглянула в зал, и чуть не заплакала от досады – магазин оказался не самообслуживание, в таком ничего не потыришь. Постояла, помялась. Может, и решила бы на что, только видит, мужик-охранник прямо к ней двинул. А ангела над ним нет – как поймёшь, что за человек. Ну, и дунула из магазина. Хорошо, метро было близко – по морозу не бежать. Юркнула в тепло, и повеселее ей стало, и голод немного забылся.

К метро Чуня была привычная. Знала, пока мужик станции объявляет – едешь к центру, как станет баба объявлять, значит на край города. Доехать до кольцевой, а там просто. Послушала – мужик. Чтобы время зря не терять, по вагонам пошла. Но на втором уже вагоне так устала, что ноги стали подкашиваться. По вечернему времени подавали плохо. Да тут ещё ворона из-под пальта упала, и на неё пассажиры запялились. Села Чуня на скамейку, и так ей смешно показалось: вот, едут люди и все на коленках у ангелов сидят, как маленькие. А с виду важные такие, и на ворону её осуждающе смотрят. Так с вороной в руке и доехала до своей остановки. Думала сначала оставить, может, в вагоне, но жалко стало. И Чернухе гостинец, как-никак. Подумала о Чернухе, и так ей захотелось к собаке прижаться, что не могла дождаться, как увидит её.

Было совсем темно, и снег хрустел. Чуня поплелась к гаражам, чувствуя, как на руке, в которой ворона, быстро замерзают пальцы. «Ничего, – думала Чуня. – Здесь недалеко – не успею совсем замёрзнуть. Я же не ворона». Нести ворону было

тяжело. Птица была большая, и если сгорбиться, то воронья голова волочилась по снегу. В темноте Чуня нашла собачий гараж и стала стучать ногой в стенку, чтобы разбудить Чернуху. Но изнутри никто не отзывался. А нога в ботинке была бесчувственной и тяжелой. Чуня оставила ворону и, опираясь локтем на металлическую стенку, стала обходить гараж, увязая в снегу. «Чернуха, Чернуша», – звала она. И уже почти испугалась, что собаки нет, когда услышала из гаража тихий скулёж. «Чернуха, это я», – прошептала Чуня. Снег зашевелился и под гаражом открылся небольшой лаз, из которого показались лапы. «А в пальте-то я и не пролезу», – подумала Чуня. И уже бездумно стала разгребать руками снег, расширяя темноту, из которой ей навстречу пробиралась собака. Чуня сунула в нору ледяную птичью тушку, а потом полезла сама. Пальто мешало. Но собака тащила её к себе, в крошечную темноту. И Чуня слышала звериное дыхание и чувствовала, как горячий большой язык слюнявит её лицо. Она прильнула к собаке. А потом холодно быть перестало, и такая дрема приятная навалилась. Рядом Чернуха хрустела, перегрызая тонкие птичьи кости. И Чуне снилось, что она видит себя со стороны, а потом и вовсе сверху. И никакого ангела с ней не было. «Ну, вот, – подумала Чуня. – А где же мой ангел?». «А я здесь», – ответил Ангел. И улыбнулся.

Андрей Трицман

ЛИЧНОЕ

Так и болтаешься между TV и компьютером:
Хоть шаром покати, хоть Шароном.
С полуночи знаешь, что случится утром.
Вчерашний вечер прошел бескровно.

Только солнце село в пустыню сухой крови.
Мертвое море спокойно, как в провинции «Лебединое озеро».
Тени, как патрули, тают по двое.
И вся земля это точка zero.

Расстегни ворот, загни, помолодей, умойся.
Прохлады холмы Иерусалима утром.
Там сквозные, резкие, быстрые грозы
Обмоют красные черепичные крыши и
Без тебя обойдутся.
Кому там нужны твоя карма и сутра?

К вечеру маятник ужаса застынет в стекле безразличия.
Заботы затоном затягивают под надкостницу.
Жизнь-то одна, и она – неизбежная.
Вот она, жизнь твоя – места имение личное.
Только крики чужих детей висят гроздью на переносице.

2003

Вади́м Я́рмолинец

КРОМЕ ПЕЙЗАЖА

А занесло меня в малопrestiжный район Нью-Йорка – Бруклин, который оказался впятеро больше моего родного города, считавшегося третьей столицей России. Ее южными воротами. Одесские лиманы, цветущие каштаны, качается шаланда на рейде голубом! Как много самомнения было у нас там! Каким все мелким и невзрачным оказалось при взгляде отсюда! Каштаны, лиманы, шаланды. Край земли у не самого приглядного моря. самого синего, особенно если никогда не видел Карибского.

Бог мой, как назвать цвет той воды, наполненной, как драгоценный камень, живым солнечным светом? С какой другой сравнить ее изумрудно-бирюзовую, пронизанную огненными змейками, толщу?

В первые годы я пытался найти в окружающем пейзаже черты хоть чего-то знакомого, за что можно было бы зацепиться, как плющ цепляется за выступы стены, чтобы найти опору, прижаться, прижиться. Я всматривался в поток дождевой воды, хлещущий из проржавевшей водосточной трубы на брусчатку мостовой. Я пытался полюбить красный кирпич, проглядывающий из под отбитой штукатурки; пятнистую стену *лаймстоуна* за покачнувшейся в знойном потоке воздуха платановой листво́й; чугунную ограду дома сенатора напротив Проспект-парка. Голубей.

– Гули-гули-гули, – звала моя бабушка, кроша размоченный хлеб с балкона на черный асфальт двора. Слетались, хлопая крыльями, ворковали. Самые смелые садились на край балкона, круглыми глазами заглядывали через плечо на кормилицу.

Некоторые из нас пытались зеркально отражать новую страну. Елизавета Петровна Досааф стояла на углу Пятой авеню и Сорок второй стрит и чистила банан. Банан вставал из отброшенной в стороны кожуры. Елизавета Петровна сунула в рот половину банана, тут же кругло обозначившегося под щекой, откусила. На уцелевшей половине остался кровавый след.

Один раз она пришла за мной на литстудию, которую вел поэт местного значения Георгий Лыхаймик. Встав у двери, близоруко сощурилась, пытаясь высмотреть меня в табачном дыму. Лыхаймик, так же близоруко щурясь в ответ, заметил негромко: «Накрашена, как смертный грех». Она окончила гримерное отделение местного худучилища и относилась к косметике, как художник-экспрессионист к краске.

– Димон! Ну, наконец-то! – сказала она, продолжая борьбу с бананом. – Где ты был все это время? Я скучала!

Все до буквы, до капризного прогиба интонации «ску-учала!» было знакомо, как прикосновение ее губ, как весенняя прохлада духов.

– Идем куда-нибудь, попьем кофе.

Недоеденный банан был брошен на тротуар.

– Так можно? – Я, еще боявшийся укоризненного взгляда, окрика, штрафа, кивнул на недоеденное.

– Проснись, Димон, ты же в Америке! Все уберут!

За минувшие с той встречи тринадцать лет я ни разу не видел, чтобы роскошные блондинки в лисьих шубах бросали на тротуар остатки завтрака. Я не видел блондинок в шубах, кушающих бананы.

Елизавета Петровна отражала что-то не то.

– Ну, как ты устроился? – Она подхватила меня под руку.

– В газете, а ты как?

– Как я могла устроиться, голубчик? Педикюры, маникюры, пятое-десятое. Ты знаешь, я смотрю и вижу, что кроме пейзажа ничего не изменилось. Ты снова пишешь свои статьи, я снова стригу ногти, это какой-то кошмар!

Я подумал, какое занятие могло обозначать ее пятое-десятое. Досаафом ее назвал мой друг Сережа Ч.

– В Елизавету Петровну вступили все, как в ДОСААФ, – сказал он, а я подумал, что он завидует моей победе. Ей было тогда около тридцати. У нее были глаза, как вода на мелководье в ветреный день. Из под молочно-белой кожи груди, как из под мрамора, проглядывали голубые вены. И сейчас, когда она прижимала на ходу мою руку, я снова чувствовал этот мрамор. На него по-прежнему должен был быть спрос.

– Душа моя, – сказал я. – Я не хочу кофе. Поехали лучше к тебе.

– Голубчик, я бы рада, но у меня дома живет Эдиган. Если ты хочешь, мы можем зайти в Публичную библиотеку на 42-й. Я знаю там одну совершенно очаровательную комнатку с видом на Брайант-парк. Ты бывал там? Я поведу тебя. Будем сидеть за столиком, пить кофе и смотреть на голубей.

Голуби. Отражая чужое, она все равно видела свое.

Эдиган бросил якорь в Лос-Анджелесе. В Одессе у него был шикарный подвал на Куликовом поле, где он курил план, а потом красил в разные цвета болты и гайки железнодорожных размеров, приводя в восторг заезжих иностранцев в сопровождении переводчиков в неброских серых костюмчиках. В Америке болты и гайки не пошли, поэтому он двинулся другим путем.

– Каким же? – спросил я мою подругу.

– Ты не представляешь, что придумал этот проходимец! – ответила Елизавета Петровна, поставив носок стилеты на пришепетывающий радиатор у окна с видом на Брайант-парк и подтягивая черный чулок.

И, подтянув его и оправив юбку, она рассказала мне историю, как Эдиган решил торговать воздухом. Точнее, запахом. Знаете,

как пакует запахи? Расклеиваешь сложенный вдвое край журнальной страницы с рекламой духов, а там – запах. В течение месяца Эдиган снимал пробы с интимных мест своей подруги Манон. Она была огромной женщиной с большим интимным потенциалом и гривой диких волос, которых мне хватило бы на две жизни. Эдиган пользовался различными типами бумаги, брал образцы пахучих субстанций в различное время суток, превратился в химика. Потом он сделал портфолио из хастлеровских страниц, упаковав собранный материал в загнутые уголки. С неопишуемыми трудностями добился аудиенции у Ларри Флинта.

Недобитый порнограф взирал на визитера пришитыми к бледному оплывку головы белыми пуговицами. Эдиган, спотыкаясь о собственный английский, объяснял, что его изобретение сделает журнал еще более привлекательным для читателя. Оживит его.

Флинт разлепил краешек странички, уронил к нему голову, засопел, выровнялся. Не говоря ни слова, нажал кнопку под крышкой стола.

– Вам нравится? – с надеждой спросил Эдиган.

Ответом было бесшумное появление в кабинете двух бронеподростков, которые взяли Эдигана с двух сторон под мышки. Он взлетел, спинка стула мелькнула под согнутыми в коленях ногами, пронеслись мимо стены кабинета, букеты цветов в приемной, красного дерева дверь с золотой табличкой бесшумно затворилась за спиной.

– Еп-твою! – сказал Эдиган сам себе.

Планы рухнули, долги остались. Он попросил убежища у Елизаветы Петровны.

– Фу, вонючий, – капризно сказала она, забираясь в постель. На ней была красивая красная грация с черными кружевами из каталога «Фредерик оф Голливуд».

– Завтра сделаешь мне ванну, – ответил он, впиваясь в нее, как намотавшийся по свету клещ впивается в выставочного пуделя с начесом головы, жабо и хвоста.

На следующий день он всплыл из под ароматных пузырей и спросил:

– Ты не знаешь здесь никакого мецената?

– Голубчик, все ищут мецената! Ты не согласишься, но я тоже хочу жить в Калифорнии, а не в Бенсонхерсте! Но что, у меня есть время на поиски? Я не успеваю подойти к зеркалу, чтобы накрасить губы, как появляется очередной друг детства. Ему негде жить, ему не с кем жить, у него творческий кризис!

– Надо быстрее красить губы, – заметил Эдиган.

Все они бросали заваленную их бросовым товаром, утомленную собственными восторгами Одессу с намерением найти денежного туза с замком в горах или виллой на берегу океана, и доить его, доить, доить, как бесконечную голландскую корову.

В числе первых охотников за меценатскими головами был Додик Фуфло – наглый, как танк, и пронирыливый, как глист,

крепыш в берете с усами а-ля Сальвадор Дали. При наших уличных встречах он неизменно повторял один и тот же текст:

– Дима, я сейчас нашел одного миллионера. У него свой особняк на Ист-Сайде (Вест-Сайде, Гринич-Вилледже, Лонг-Айленде). Он увидел мои картины и чисто выпал в осадок. Он говорит: «Слушай, Додик, я живу в Америке пятьдесят лет, но только сейчас ты мне открыл глаза на настоящее искусство». Я сейчас запалю ему штук десять работ на еврейскую тему, он это любит, и переезжаю на Сардинию. У него там дача. На хера мне та Америка! Страна непуганых дебилов! Посмотри на них, они что, понимают, что такое настоящее искусство?!

Не найдя своего миллионера, он стал присматриваться к тому, как работают другие. Точнее, как продаются их работы. Хорошо продавались работы Штейна и Зуба.

Гиперреалист Штейн рисовал грифелем предметы. Огромные пишмашинки, утюги, ботинки. При фотографической точности изображения он находил такие ракурсы, подчеркивал такие детали, что предметы казались живыми.

Зуб рисовал рубенсовской комплекции балерин, танцующих на спинах слонов и носорогов. Зуб работал не кистями, а мас-тихином, благодаря чему его полотна смотрелись как богатые персидские ковры из бродвейского магазина «ABC». Зуб корпел над своими полотнами месяцами, бесконечно дорабатывая их, вкладывая себя в каждую балерину, в каждого носорога. Он делал по десять-двенадцать работ в год. Их покупали до открытия выставок по каталогам.

Додик заперся в мастерской на Мерсер-стрит и через неделю открыл выставку для друзей и знакомых. Они увидели огромные мясорубки, ботинки и утюги, покрытые геометрической сеткой глубокой фактуры.

– Чем ты работал? – поинтересовался я.

– Навалил все кистью, а потом причесал крупной расческой, – охотно объяснил он. – А что, плохо получилось?

Спустя несколько месяцев он возник, злобно жуящий собственные усы, на выставке Зуба. Деловито осмотревшись, хмыкнул:

– Это живопись? Это – картинки из чехословацких книжек!

Кто-то из гостей, знавших цены на работы Зуба, добродушно рассмеялся.

Додик разозлился еще больше. Прихлебывая дармовое презентационное вино, он осмотрел из-под кустистых бровей гостей, в каждом из которых видел потерянного для себя покупателя, и, как бы ни к кому не обращаясь, добавил:

– Я смотрю на этих людей, и у меня такое впечатление, что я на кладбище.

Вокруг него тут же образовалось пустое пространство. Кладбище возможностей своего рода.

Потом он предпринял попытку войти в американскую живопись через академические круги. Пригласил на день рождения

нескольких своих стареющих почитателей одесской поры и профессора Сити-колледжа, на которого он поставил все. Плешивый старец когда-то написал труд о Бурлюке.

– А что, мы же с Дэвиком учились в одном заведении! – заявил он.

К встрече написал работу в бурлюковском стиле. Баба с морячком пьют чай из самовара на фоне одесского маяка. Очень много неряшливо наложенной краски, которую к приходу профессора пришлось сушить с помощью фена.

Стол ломился от одесских яств. Икра из баклажанов, салат из помидоров и огурцов, салат из крабов, салат оливье, холодец, короче, все из соседнего русского магазина плюс две бутылки «Джорджи». Жена играла на скрипке. Чтобы произвести правильное впечатление на гостя, Додик надел турецкую феску и красный атласный халат. Подкрутил усы.

Все испортил народный художник Брежнев Ю., у которого в Америке все складывалось так стремительно хорошо, что он даже не успел сменить на что-то местное униформу модного парикмахера, в которой прибыл в новую страну: кожаное пальто, белый шарфик, пыжиковая шапка.

– У меня только что выставка открылась в Вашингтоне. – Сияя счастьем, он достал из подмышки кассету. – Додик, у тебя есть видик?

– Где ты видел в Америке человека без видика? – с вызовом ответил хозяин. Он открыл стеклянную дверцу тумбочки под телевизором:

– Последние поступления *гарбиджа. Инджойте!*

Поставили запись. Брежнев стал объяснять. Профессор заинтересованно кивал, не переставая есть вилокй баклажанную икру. Икра падала на зеленый шелковый галстук и разъехавшуюся на животе розовую рубашу.

Додик со своими усами, феской и красным халатом стал удаляться, удаляться, удаляться, пока не оказался на другом конце океана, в далекой Турции. С этим надо было что-то делать.

Он вышел на кухню, вскрыл ножом флакон жидкости «Блэк флэг», набрал в рот его содержимое и вернулся в комнату. Он был так возбужден, что чудовищная отравка у него во рту потеряла всякий вкус. В гостиной продолжался просмотр брежневской выставки.

С обезьяньей ловкостью Додик вскочил на стол, (кто-то ахнул, обнаружив под халатом именинника полное отсутствие белья), щелкнул перед лицом зажигалкой и выпрыснул из себя жидкость, как выпрыскивают воду при глажке белья. Ударивший из головы Додика столб пламени собрался пылающим клубом под потолком, и стал гореть, источая черный дым и удушающее зловоние.

– Спокойно! – крикнул Додик, перекрывая оханье и аханье слабонервных. – Все в порядке! Щас оно прогорит!

Спрыгнув со стола, он метнулся в ванную и через минуту вернулся со шваброй, которой стал разгонять облако. Оно шипело, стреляло искрами, делилось на части, но потом снова собиралось, продолжая гореть и издавать зловоние. Вода с копотью летела во все стороны. Не выдержав напряжения, гости ринулись к выходу. С продолжительным стоном хрустнула под профессорской ногой скрипка.

– Файр! Файр! – не выдержала профессорская жена. – Колл найн илевн!

Последний раз я видел Додика на уличной выставке в Вашингтон-сквере. Была осень. Тащилась куда-то в даунтаун палая листва. Пожилой человек с обвисшими усами устроился на складном стульчике возле выставленных у чугунной ограды холстов. Глубоко сунув руки в карманы пальто, поеживался на пронизывающем ветерке.

Одна работа сразу привлекла меня – женщина в пестрой ситцевой юбке сидела на кухонном табурете с попугаем на плече. За ее спиной было открытое окно с рыжими крышами и синей полоской моря.

– Ну, ты узнал ее? – спросил Додик.

Я кивнул.

На только что безучастном его лице появилась знакомая усмешка, в потухших глазах вспыхнули искорки веселья.

– Когда я увидел эту грудь, я ей сказал: «Елизавета Петровна, последний раз я видел такое на Привозе. И это были дыни. Как хотите, но я должен написать этот натюрморт!» Клянусь тебе, Димон, я давно не получал такого кайфа от работы. Это было как в молодости, когда тебе казалось, что ты держишь бога за яйца. Ты делал мазок-другой, и за ними была жизнь, ты понимаешь? Не концептуальное дерьмо, а жизнь с мясом, с хлебом, с вином, ты понимаешь? Клянусь тебе, я писал ее вот так вот, без трусов, без ничего, а она сидела на этом табурете и хохотала как ребенок.

Я знал этот смех. Этот глубокий, волнующий, зовущий смех.

– Елизавета Петровна, когда вы смеетесь, у меня поднимается давление, – говорил когда-то Брежнев, и кончик его носа начинал краснеть. – Не смейтесь, пожалуйста, а то мы вас изнасилуем.

– Нет! Это невозможно! – смеялась Елизавета Петровна.

На щеках ее вспыхивал румянец, она откидывала с глаз соломенную челку.

– Это очень даже возможно, – подтверждал свое намерение Брежнев, и нос его становился пунцовым. – Одно «но», вам это может понравиться, а у меня много других дел.

– Я вас заверяю, что если мне это понравится, так вам придется бросить все свои дела!

Брежнев сделал состояние на пестрых картинах с жарптицами и райскими фруктами в стиле русского лубка. Продаже способствовала не столько оригинальность продукта, сколько

фамилия советского генсека, которую он носил. Массовость производства обеспечивал старый одесский знакомый народного художника Лев Соломонович Г., иммигрировавший в Израиль, а оттуда перебравшийся в США. Историческая родина ему почему-то не понравилась, но Америка не давала своего гражданства израильтянам. Дважды беженец, он остался в стране нелегально, наняв адвоката и добиваясь вида на жительство на правах выдающейся личности. Лев Соломонович был одним из самых известных в мире экслибристов. Из последних сил он кормил взявшего его дело адвоката, днями и ночами разрисовывая брежневских жар-птиц. Тот приходил к нему раз в неделю, шилом набрасывал на загрунтованный серой военной краской холст типовой набор райской флоры и фауны, а экслибрист доводил дело до конца: красное перо, зеленое перо, синее перо, золотая окантовка. Зеленое, красное, синее, золотое, красное, синее, зеленое, золотое. Спасибо на этом.

Это был нетипичный случай эксплуатации русским еврея. В то время, как Брежнев зарабатывал, по слухам, порядка 200 тысяч долларов в год, Лев Соломонович еле-еле сводил концы с концами. Потом у бедолаги обнаружили опухоль, но, к счастью, он успел получить грин-карту и пособие по нетрудоспособности, полагавшееся по возрасту. Благодаря этому, ему сделали операцию и оказали всю необходимую помощь. Если вы меня спросите, оплатил бы Брежнев лечение своего раба, оставаясь тот нелегалом, то я не отвечу на ваш вопрос.

Такое лечение могло стоить порядка ста тысяч долларов. Так что, он должен был отдать половину своего заработка человеку, который по чистой случайности оказался на его творческом пути? Ну, не по чистой случайности, конечно. Там в Одессе Брежнев смотрел на тогда еще не очень старого Льва Соломоновича как на мэтра, которому делали заказы самые именитые книжники страны: писатели, актеры, академики. От их имен Брежнев возбуждался так же, как от смеха Елизаветы Петровны.

Заглядывая при встречах в глаза экслибристу, Брежнев с нескрываемой завистью спрашивал: «Кого сейчас обслуживаем, Лев Соломоныч?»

Дома у Брежнева были полки и полки альбомов с фотокарточками, где он был запечатлен с сильными мира сего. В Америке он даже сфотографировался с президентом. Тот с одинаковым азартом бегал за дамским полом и произведениями народных промыслов, собрав большую коллекцию и того и другого.

Щедро раздариваемые жар-птицы позволили Брежневу попасть на страницы «Нью-Йорк таймс», но к тому времени это не производило впечатления даже на Додика. Тот понял, что это еще одна газета местного значения. Просто место было такое — Нью-Йорк.

– Надо же! – только и сказал он, наткнувшись на снимок Брежнева. Тот сидел в гостиной своей роскошной манхэттенской квартиры перед работой Льва Соломоновича с петухами и фруктами.

Додик к тому времени уже устал от беготни за деньгами, славой, виллами на сказочных островах. Иллюзии вытеснил быт с его простейшими задачами – оплатой счетов за квартиру и услуги. Жизнь научила получать удовольствие от доступного. Это и называлось *американ экспириенс*. Мастерской у него больше не было. Какой смысл? Когда жена уходила давать уроки музыки, он ставил мольберт у кухонного окна и рисовал сохнущее на веревках между домами белье, рыжие крыши, синюю полосу Гудзона над ними, голубей в небе. Чем меньше ему надо было от Америки, чем меньше претензий он предъявлял ей, тем ближе становилась она ему. Рисуя ее, он, сам того не осознавая, рисовал свой старый город...

Иногда, помаявшись по пустой квартире, он набирал зазубренный номер телефона, и когда на том конце провода снимали трубку, спрашивал с надеждой:

– Елизавета Петровна, вас можно сегодня побеспокоить?

– Нет, я сегодня занята, – отвечала Елизавета Петровна, ероша нежной рукой редеющий ежик моих волос. – Если вы хотите сделать педикюр, позвоните ко мне на работу и попросите Таню.

– Мне не нужен педикюр, – вздыхал Додик.

– Попросите ее, что вам надо, она вам все сделает, – строго говорила Елизавета Петровна и, положив трубку, добавляла:

– Возмутительно! У меня нет никакой *прайваси*! Никто без меня не может.

Легко ведя кончиками пальцев по моей спине, добавляла:

– Но с другой стороны, Димуля, я же тоже не могу совершенно одна, в чужой стране, верно? – Дыхание ее касалось моего плеча, потом я ощущал прикосновение губ. – Кто у меня есть, ну подумай? Я же здесь никого не знаю, кроме всех вас, непризнанных одесских гениев!

Погружаясь в блаженный утренний полусон, я успевал ухватить сознанием ускользающий обрывок мысли о том, кто у нее есть еще. Откуда я мог знать? Ее как-то естественно, безо всякого душевного и телесного напряжения хватало на всех. Кто-то мог в этот момент подниматься по лестнице к ее двери. Кто-то, купивший картину девушки в пестрой юбке в Вашингтонсквере, мог сейчас стоять перед ней с разбитым сердцем. Кто-то мог остановить ее завтра на улице и предложить отдых на Карибских островах. Ей было тогда чуть-чуть за сорок, и она все еще была невероятно привлекательна. Эта копна соломенных волос, эти глаза, этот мрамор тела... Но для всех нас она была все эти годы тем самым уступом стены.

СЛОВО О ДРУТЕ

15 декабря родные и близкие собрались в кибуце Эйнат проводить в последний путь Шимона Маркиша.

Внезапная смерть застала его 5 декабря 2003 года за письменным столом в Женеве. На экране компьютера остался текст начатого эссе о Борисе Слуцком, с которым Шимон Маркиш дружил много лет.*

Еще три года назад, познакомившись с нашим изданием, Шимон сказал, что отныне все, что он напишет и переведет, будет печататься только в «Иерусалимском журнале». Нечего и говорить – такая высокая оценка ИЖа писателем, давно заслужившим всемирное признание своими фундаментальными – без всякого преувеличения – работами в области художественного перевода, культурологии и истории литературы, не только воодушевила всех нас, имеющих отношение к журналу, но и заставила почувствовать огромную ответственность за начатое дело, а главное – прибавила сил.

Согласившись войти в редколлегию, Шимон – для него это было естественно – в полной мере впряг себя в эту работу: он самым внимательным образом читал готовившиеся к публикации рукописи (в том числе и не известных ни ему, ни широкой публике авторов), сам находил для журнала интересные материалы, участвовал в обсуждении планов и, конечно же, переводил и писал.

В следующем номере ИЖа, который посвящен памяти Шимона Маркиша, мы публикуем вторую часть романа нобелевского лауреата Имре Кертеса «Обездоленность» (Шимон перевел этот роман вместе с Жужей Хетени) и несколько эссе о русско-еврейской литературе, написанных Шимоном в разные годы.

Однако сегодня, прощаясь с великим – сегодня это уже можно и нужно произнести вслух – литератором и ученым, я хочу сказать несколько слов о Шимоне в связи с тем, что напечатано не будет.

Шимон – и в свои семьдесят с лишним – оставался человеком по-настоящему молодым. В нем не было пенсионерской усталости от жизни, когда все уже понятно и «не имеет значения для вечности». Его волновало все, происходящее в современной лите-

* О Слуцком я просил его написать в нашу последнюю встречу в Иерусалиме. За неделю до смерти Шимон читал мне по телефону неопубликованные, по его словам, стихи Слуцкого – Борис Абрамович подарил их Маркишу, накануне его отъезда из России. Архив Шимона Маркиша еще не разобран, и мы не теряем надежды стихи эти отыскать. Начало «еврейского наброска» о Борисе Слуцком – к сожалению, всего две страницы – мы печатаем в этом номере.

ратуре – и в русско-еврейской, исследованиям которой он отдал последние десятилетия жизни, и в европейской, с которой был связан не только научными интересами, и в нашей израильской, и в родной когда-то русской...

Очень остро переживал он выход двухтомника «Двести лет вместе» Александра Солженицына. Об этой книге много писали в самых разных изданиях, но ИЖ отказался от всех представленных статей. Формально, мы – журнал современной израильской литературы на русском языке (а не русской литературы). А по сути – репатриировавшись в так или иначе отдельное от России еврейское государство, проблемы совместного существования, взаимной любви ли, нелюбви – мы для себя решили, как и большинство наших авторов и читателей. Нам (Светлане Шенбрунн и мне) было очень непросто сказать Шимону, что недлинное его эссе о книге А. Солженицына опубликовать мы не сможем. Наступая на горло своей же демократической песне («В журнале публикуется все, что считает необходимым вынести на суд читателей хотя бы один из членов редколлегии»), я, как попугай, твердил Шимону, тогда уже члену редколлегии, что-то вроде: «Мы – гордые израильтяне, и проблемы антисемитизма нас не интересуют...».

Конечно же, Шимона убедить не удалось. И другой жизненный опыт, и уж очень личное у него было отношение к писателю, которого долгие годы он уважал и любил, к писателю, с которым он вошел в литературу практически одновременно... К писателю, многие тезисы которого в нашумевшем двухтомнике он воспринял как личное оскорбление...

Но я не об этом. Шимон не стал обижаться. Более того – он сдержал свое слово («печататься только в ИЖе») и вообще не опубликовал упомянутое эссе, хотя любое самое популярное издание охотно предоставило бы ему свои страницы. Более того – он никогда об этом тексте не напомнил...

«Такого друга, как Шимон, у меня никогда не было и уже никогда не будет», – сказал на похоронах профессор Иерусалимского университета Михаил Занд. Думаю, что и все остальные, собравшиеся у свежей могилы, испытывали похожие чувства.

Шимон был необыкновенным человеком. Давно-давно Иосиф Бродский назвал его гением. Гениальность Шимона Маркиша не только в его прекрасных переводах и собственных книгах – он был гениален и в «обыкновенных человеческих взаимоотношениях», да, ч е л о в е ч е с к и х отношениях: в дружбе, которая может возникнуть и по-настоящему длиться только в совместном деле; в совместной работе, которая по-настоящему успешно и, я бы даже сказал – с ч а с т л и в о, может делаться только друзьями.

Шимон Маркиш

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ЕВРЕЙ

Прозаик Борис Ямпольский рассказывает в очерке “Последняя встреча с Василием Гроссманом”: «В последние годы жизни он написал “Записки пожилого человека” (путевые заметки по Армении), произведение, на мой взгляд, гениальное... “Записки” были набраны и сверстаны в “Новом мире” и задержаны цензурой из-за нескольких фраз об антисемитизме. Требовали их убрать. Гроссман уперся. Записки пошли в разбор... Я сказал ему, что он в свое время сделал ошибку, не пожертвовав в “Новом мире” двумя-тремя абзацами. – Вы это говорите как писатель и как еврей? – спросил он. – Да, – сказал я, – там у вас были вещи поважнее и познавательнее, чем антисемитизм. – Он ничего не ответил, смолчал...»¹.

Эта гроссмановская формула представляется мне очень важным и верным мерилом, критерием для уяснения места, которое литератор занимает в ряду (рядах?) себе подобных, с тех пор как эти ряды начали пополняться (засоряться?) представителями нашего с вами беспокойного племени. Вот только без уточнения не обойтись: русский писатель и еврей.

Разговор о месте и уместности еврея в русской литературе начался еще полтора века назад, с появлением первых еврейских фамилий под газетными и журнальными статьями, и разговор, скажем прямо, недружелюбный по преимуществу, хотя за этот долгий срок находились у евреев и заступники, а у юдофобов оппоненты. Но я позволю себе опустить историю, основные эпизоды которой хорошо известны и достаточно подробно документированы, и хотел бы сосредоточиться на советском периоде, который, правда, уже в свою очередь, тоже стал историей. Мне известна только одна обобщающая статья на этот предмет – “Писатели-евреи в советской литературе” Марка Львовича Слонима (1894-1976)². При всем уважении и любви к Марку Львовичу, которого я имел удовольствие знать лично по Женеве, не могу принять ее даже за “точку отсчета” – настолько она неточна и прямо ошибочна местами. Тема «еврей в русской литературе советского времени» остается, сколько я способен судить, совершенно неразработанной, незатронутой, если не считать замечательно подробной и компетентной статьи “Советская литература” в 8-м томе “Краткой еврейской энциклопедии”. Но при всех своих достоинствах энциклопедия – это все же не более чем справочник, т. е. торжество частных, деталей, не оставляющих пространства для обобщений. В каком-то смысле подтверждением может служить анекдот, ходивший в литературной среде в Москве в конце 40-х годов или несколько позже.

На банкете в заключение какого-то собрания так называемых «сторонников мира» в Стокгольме соседями по столу оказались шведский профессор-русист и глава советской делегации Александр Фадеев. Швед, видимо, поддерживая беседу, спросил, кого сосед счи-

¹ Парижский эмигрантский журнал «Континент», № 8, 1976, стр. 141-142.

² «Еврейский мир», Сборник II, Нью-Йорк, 1944, стр. 146-164.

тает самым крупным советским поэтом современности. Фадеев захотел, говоря языком карт, «вмастить» своему буржуазному гостеприимцу и ответил: Пастернака. «Вы меня не поняли, – возразил швед, – Пастернак – это самый крупный русский поэт наших дней, а я вас спрашивал про советского». – «А по-вашему, кто?» – поинтересовался, в свою очередь, Фадеев. «По-моему – Долматовский».

На уровне анекдота: < ... > отдано предпочтение перед великим поэтом (отвлечемся на миг от того, что ничтожен, нелеп и сам параметр предпочтения – советская идейность). Но вот оказывается – учитывая то, что мы знаем об обоих сегодня, – что у сопоставления есть, по крайней мере, еще один смысл, кроме анекдотического.

Евгений Аронович Долматовский никаких следов своего еврейского происхождения в своем, с позволения сказать, творчестве не оставил. Вынес эту деталь за скобки, как говорится. Решительно умолчал. Молчал и Борис Пастернак. Мы могли бы предположить, что оба молчания одинаковы: желают оставить в тени неприятную деталь биографии. Но вот уже ближе к концу жизни, в романе, устами выкреста Пастернак взывает к евреям: разоидитесь! перестаньте существовать – вы мешаете пришествию Царствия Божия! И это писалось сразу после Шоа... (На частные письма, пропитанные самоненавистничеством и широко распубликованные, я уверен, лишь по близорукости наследников, не хочу и ссылаться: стыдно.)

Да, есть смысл и основание сопоставить несопоставимые, вроде бы, имена, потому что оба – еврейские, и отрицательное отношение их носителей к своему происхождению, отказ говорить о нем приводит обоих в одну рубрику. Эта рубрика, которую можно обозначить «отрицание прошлого», очень емкая и объединяет множество позиций, от яростной враждебности до ледяного равнодушия, через стыдливые усилия утаить правду. При такой классификации, мне кажется, второй универсальной рубрикой будет «приятие прошлого», которое тоже уложится в долгий ряд достаточно разнородных позиций, от пламенного и всё поглощающего интереса, ангажированности, как нынче принято выражаться, до прохладного, отстраненного любопытства. Мне кажется также, что разнести по воображаемым графам этой воображаемой таблицы всю массу евреев, нахлынувшую в российскую словесность за семьдесят с лишком лет советской власти, было бы самым лучшим, самым разумным приступом к теме, названной мною выше: первым делом, хорошо бы «избавиться» от псевдоевреев, «евреев по паспорту» в русской словесности. Таких, как прозаик Владимир Лидин или филолог Михаил Гаспаров. Или тот же Долматовский.

Моя цель, впрочем, несравненно скромнее. Я хотел бы сделать еврейский набросок одного из самых мне дорогих русских поэтов второй половины ушедшего века – Бориса Абрамовича Слуцкого. Предупреждаю сразу же, загодя: это именно набросок, а не портрет, не фотография и уж всего менее поползновение на ученый разбор.

Мы познакомились в конце 1954 или в 1955 у Юрия Павловича Тимофеева, который тогда заведовал одной из редакций Детиздата и благодетельствовал многим молодым и непристроенным: я только-только вернулся из ссылки, был без работы и без копейки, Тимофеев сам меня разыскал и дал договор на перевод...

Елена Аксельрод

ВЛАСТЬ ОДИНОЧЕСТВА

Я не пишу некролога – слишком поздно (Саши не стало 27 января), я не пишу рецензию на книгу, потому что книги нет – почти за 35 лет литературной работы еврейский поэт, русский человек из Самары, Александр Белоусов не выпустил ни одной книги... Это короткие заметки о жизни человека уникального дарования, поэта и лингвиста, внезапно оборвавшейся на 56-ом году. Наверно, если бы он писал по-русски, книга в еврейской стране была бы издана. Но он писал по-еврейски – на идише, который здесь, в Израиле – язык галута, там, в России – наречье изгоев, а для Белоусова, как это ни поразительно – родной язык. Не случайно трагическая нота, «власть одиночества» сильнее звучит в стихах, написанных на идише – не на русском (не знающих идиша прошу поверить мне на слово). А. Белоусов, владея ивритом и почти всеми европейскими языками, считал идиш одним из самых богатых языков, свободно и виртуозно распоряжался этим богатством и выбрал идиш основным языком своей поэзии.

«Мне предстоит ровно столько будущего, сколько еще будет звучать мой родной язык, и одновременно с ним я угасну, хоть будь я равен самым великим – так прими это во внимание и пощади мой труд, Время!» (Подстрочный перевод). Не пощадило!

Как случилось, что русский человек, воспитанный бабушкой и бабушкой на Тютчеве и Фете, стал еврейским поэтом, да к тому же «самым еврейским», по словам З. Телесина, среди поэтов, пишущих на идише, еще сохранившихся как реликты?

...Когда Саше было 13 лет, учительница русского языка и литературы Е. А. Матульская, поймав его на уроке за чтением «Забавной библии» Таксиля, посоветовала не читать всякую ерунду, а познакомиться с «первоисточником» – с Библией, которую сама же и дала мальчику. Оказалось, что Библии ему недостаточно. Он стал мечтать о знакомстве с настоящим «первоисточником» – с Танахом. Годы были 60-е, в СССР преследовалась любая религия, кроме, разумеется, марксизма-ленинизма. Рисквала Сашина учительница, рисковал и сам Саша, когда пошел в синагогу и признался раввину в своем странном желании, к тому же и вызвавшем некоторое недоверие. Рисквал и замечательный человек, ставший Сашиним учителем – детский врач Д. И. Локшин.

Через полгода Саша уже мог читать Танах. В доме его бездетного учителя к нему относились как к сыну или внуку. Саша бывал там ежедневно, в доме говорили на идише. Так в жизни Александра Белоусова появился язык его будущих стихов. Он натолкнулся на книгу одного из самых блистательных идишских поэтов Самуила Галкина, которого впоследствии называл «еврейским Петrarкой» – и захотелось писать самому...

Первой его слушательницей стала певица Нехам Лившиц (Лифшицайге), Ее изумили не столько Сашины, еще несовершенно строчки, сколько их язык – не безжизненно правильный, вызубренный по книжке, а подлинный литовско-белорусский диалект, словно автор только вчера прибыл из довоенных Черикова или Рогачева. О диковинном юноше она рассказала в Москве, и через год приехавший в Куйбышев поэт Мотл Грубиян втащил Белоусова в литературу. Редактор «Советиш Геймланд». А. Вергелис вовсе не пришел в восторг от открытия Лифшиц и Грубияна. Все же в сентябре 1969 года стихи Александра были впервые опубликованы.

Более чем сдержанно встреченные еврейской официозной культурой в СССР, ибо в них начисто отсутствовал какой-либо оптимизм, ничего не говорилось о дружбе народов и никакой редактуре не поддавался сквозной образ голубой звезды, стихи Белоусова стали сенсацией за рубежом. Из Израиля откликнулись живые тогда классики Авраам Шлионский и Мириам Ялан-Штекелис, с которыми Саша вступил в оживленную переписку, письма Шлионского к Белоусову опубликованы в собрании его сочинений. Письма Белоусова нигде не опубликованы.

Александр Белоусов как поэт, по сути, прошел мимо современной ему советской еврейской поэзии. Его ориентиром всегда была классика – Бялик, Гофштейн, Галкин, Лейвик, Альтерман (из русских поэтов Тютчев, Фет и Ахматова). Сказались и многолетние занятия еврейской традицией, заимствования из нее, как и из ивритской классики, подчас демонстративны – в пикку правившей бал в «Советиш Геймланд» денационализированной поэзии. В стихах Белоусова о Катастрофе очень много от мрачной поэтики так называемых «Народных книг» и анонимных песнопений о резне, учиненной Богданом Хмельницким, – Бог ведь, в каких бездонных недрах самарской синагогальной библиотеки откопал Александр эти книги трехсотлетней давности...

Разумеется, и КГБ не обошел Сашу своим вниманием. В 1975 году Александра обвинили в сионистской деятельности после его поездки в Минск, где он познакомился с отказниками Овсищером и Давыдовичем. По возвращении прямо в аэропорту из багажа «вытрясли», по выражению Александра, много книг, брошюр и рукописей. Александр получил официальное предупреждение, дома все перерыли, кое-что унесли, в том числе перевод из Ицхака Башевиса-Зингера... С работы Сашу однако не выгнали (а работал он переводчиком технических текстов со «всех» языков в НИИ Радио, хоть имел филологическое образование) – мало того, что нуждались в нем, его еще и очень любили...

А. Белоусов тянул с отъездом сколько мог, не хотел бросать своих учеников – он преподавал иврит в еврейском культурном обществе «Тарбут ла-ам», одним из основателей которого был, и вел ульпан на дому. В Израиле я не раз встречала его учеников – если из Самары, значит, учились у Белоусова.

Он никогда не отделял себя ни от русского, ни от еврейского народов, полагая, что национальная принадлежность определяется,

прежде всего, культурой, а значит, сам он принадлежит к обоим народам. Однако когда в России на гребне перестройки всплыл уже никакими флагами и вывесками не маскируемый антисемитизм, семья Белоусовых решила уехать – не столько от страха, сколько от обиды и отвращения.

В Израиле Александр не тяготился никакой работой. Приехав перед самым началом войны в Персидском заливе, поселившись в Маале-Адумим и влюбившись в него, он сразу пошел обучать репатриантов пользоваться противогазами. На «противогазном» пункте мы и встретились, не зная, что в России были соавторами – переводили одну книгу с идиша... Саша служил уборщиком в супермаркете, потом – полгода на стройке, находя при этом время и силы на волонтерскую деятельность – учил ивриту новоприбывших. После один семестр преподавал иврит на отделении радиоэлектроники в Иерусалимском колледже ОРТа. Курс отменили из-за нехватки средств, и Александр впервые оказался в шкуре израильского безработного. В этой одежде он и впоследствии пребывал не раз, да и умер безработным. Он говорил, что это не самое худшее положение на свете, только очень уж скучно.

Конечно, не зная Сашу, можно удивляться тому, как мало он был востребован в Израиле. Казалось, самое место ему – в университете, в ивритской прессе! Дело тут, по-моему, в его характере, его отношении к жизни. Он чурался всякого паблисита, сам захлопывал перед собою двери. Ему было достаточно записать стихотворение в тетрадку своим каллиграфическим почерком, прочитать его двум-трем друзьям, ну а будет ли оно извлечено из тетрадки, кем и когда – это не имело значения. Не понимаю, каким образом его стихи добрались до газет и журналов Польши, Франции, США, Канады. Уж явно, что он не посылал их сам.

«Сидя на пособии», он читал лекции, сотрудничал в русской прессе, переводил, получил премию Союза писателей и журналистов, пишущих на идише, и литературную премию им. Давида Гофштейна.

Будучи человеком неисчерпаемой эрудиции, Александр одинаково содержательно и страстно, даже пристрастно, писал статьи и очерки о литературе, искусстве, политике. Но его журналистская деятельность требует отдельного разговора.

Стихи Александра Белоусова трудно поддаются переводу, потому что многие ассоциации и реалии, понятные человеку еврейской культуры, попросту останутся за пределами восприятия иноязычного читателя. Иногда он сам перекладывал свои стихи на русский, но это были не переводы, а версии. Вот один пример. Привожу подстрочный перевод стихотворения: «Зима – вся из белого сияния. Как в роль, я в него вхожу. И мир настолько бесконечно велик, что любая боль в нем гаснет. Самая маленькая веточка в саду светится – Шхина сияет во всех концах мира. Я оглядываюсь – нет моей тени, нет нигде... Так в добрый час! Конечно, это знак, что я войду в свой рай прямо и непорочно. Спасибо! – и кто-то приоткрывает мне уста: как можно благодарить за столько покоя?» И вот русский вариант, откуда исчезла Шхина – Божественное присутствие, но появилось Милосердие:

Опять зима. Войду в нее, как в роль, / И незаметно стихнет в сердце боль. / Прекрасно, что бураны замели / Все раны и царапины земли. / Пускай хотя б зимою отдохнет / Ее от крика почерневший рот. / Блестящая, нетленная пора, / Зима, ты милосердия сестра.

Белый цвет в еврейской символике – цвет милосердия, зима – любимое время года Белоусова в России, поэтому значительная часть его русских стихов посвящена зиме. А Шхина явно или незримо является поэту, когда он пишет на идише, она его единственная опора, что отметила в статье «Цвет милосердия» Стэлла Пауэлл из Висконсина, приводя подстрочник другого стихотворения: «Я не боюсь того света – мне страшно жить на этом: стена греха и преступлений преграждает здесь путь к любой цели. А там – я верю, я чувствую, я знаю – без боли, без страха, без ненависти и зависти все живет и дышит вечно-жарко в сиянии лучей Твоего Присутствия». И замечает: «...он не случайно переводит на свой язык поэтов немецкого барокко, лучшие произведения которых проникнуты столь же всеобъемлющим чувством веры».

Мужественная и нежная поэзия А. Белоусова близка поэзии его учителей, погубленных еврейских поэтов, школе которых и памяти он был верен не только декларативно, но и самой сутью, характером своего творчества, что не мешало ему оставаться поэтом вполне оригинальным. Все наслоения моды были ему глубоко чужды.

При внешней простоте и прозрачности, к которым поэт намеренно стремился, преодолевая некоторую «пастерначность» своих ранних стихотворений, многие стихи Белоусова построены на тончайших нюансах настроения и переживания. Состояние человека на перепутье, горечь расставания с друзьями и необходимость самостоятельно, без посторонней помощи преодолевать себя, не скрывая своей раздвоенности, предчувствие смерти и принятие ее как Божественного милосердия – таковы основные мотивы последних, увы, не переведенных стихов Белоусова. К сожалению, по-русски он в последнее время писал мало...

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА БЕЛОУСОВА

Между мною и Сашей трава и ограда.
Он снаружи, а я – внутри.
Саше осталось... Лучше не надо,
Лучше не говори!

Он улыбается мне сквозь штакетник:
– Доброе утро! Шалом!
Саша, бродяга, поэт, безбилетник,
Что ж Вы не входите в дом?

Что за привычка – через ограду,
В щель забиваться, в стену глядеть...
Идиш, иврит... Но с тобою нет сладу,
Голос просторный... Куда тебя деть?

Александр Белоусов

НЕ СКРОЮСЬ В НОЧИ НЕПРОТЯЖНОЙ

СНЕГ В ФЕВРАЛЕ

Уже не похожий на зимний,
Еще не весенний пока,
Он завтра под солнечным ливнем
Утратит пуховость платка.

Гляди на него с восхищеньем:
Он твой устраняет позор —
Меж замыслом и воплощеньем
Привычный всесильный зазор.

Имея пленительно редкий
Талант наведенья мостов,
Он видится сучьям и веткам
Как первый набросок цветов.

А все потому, что на крыше,
Где кромка железа видна,
Отчетливо, хоть и неслышно,
В нем зреет капелью весна.

ОТТЕПЕЛЬ

Утром дул пасмурный ветер с юга
и загнанной лошадью всхрапывал,
а с крыш понурых ночная вьюга
капала, капала, капала.

Днем был по-прежнему ветер,
и Цельсий остолбенел на нуле,
все шансы зимы беспристрастно взвесил
и начал март в феврале.

Вечером дул тот же самый ветер,
и снег на дороге без сил
лежал размозженный, и беспросветно,
слякотно отходил.

ВЬЮЖНОЕ УТРО

Во мгле притушенной зари
зимы горячка белая
пускай как хочет говорит
с душою омертвелою.

Вся рукопись моей судьбы
на нить ее нанизана.
Футляры, ящики, гробы,
про вас ли это писано?

Ветвям нестриженных кустов
и птицам непроснувшимся
понять дано похмельный стон
зимы, вконец пропившейся.

Ее февральский хоровод –
предчувствие бессильное,
что в марте тихо отойдет
с последним вздохом инея.

1975

ГОРОДСКИЕ ДЕРЕВЬЯ

А. Листопаду

Деревья в городе совсем не те,
что в роще – на свету и на свободе.
Здесь к прокопченной смрадной духоте
пытаются их люди приохотить.

Чуть только разгуляется весна
и светлым изумрудом брызнут почки,
на свежих листьях пыль уже видна,
как серое немое многоточье.

Все лето простоят они в дыму,
в угаре колобродя людского,
навечно заключенные в тюрьму
бездушного асфальта городского.

Потом наступит осень в свой черед
и, город оглушив октябрьским свистом,
метелкой ветра кучи соберет
еще не живших пожелтевших листьев.

И только лишь зимой, когда живеи,
свободней суть деревьев обнажится,
в заснеженных сплетениях ветвей
проступят их измученные лица.

1975

РАББИ ГИЛЕЛЮ

Не Бог и даже не пророк,
Как ты пророс ко мне оттуда,
Единственный живой листок
На высохшем кусте Талмуда?
Как русский, внятен древний шрифт,
Но я внезапно холодею:
Что, если б выучить иврит
Мне в детстве не пришла идея?

Как много вер, речений, снов,
Непотрясаемых основ
Земля сменила, как перчатки,
За двадцать с небольшим веков!
От скольких мудро-лживых слов
Не покраснел станок печатный!

Над искореженной Землей,
От крестной муки изнывая,
Один последователь твой
К любви всеобщей призывает.
Но для новейших дикарей
Он чересчур императивен,
Твое учение мудрей –
Ты более консервативен.

Мудрец, ты принял зло как факт
И людям не раскрыл объятья,
Предвидя, что подобный акт
Всегда кончается распятием.
Не влек ты к истине силком
И новых не вводил заветов –
С людскими нравами знаком,
Ты ограничился советом:
«Чего себе мы не хотим –
Того не сделаем другим».

Что может, кажется, быть проще
Таких понятных этих слов –
Без криков о любви всеобщей,
Без потрясения основ?
Но люди мудрствуют лукаво,
Им простота твоя сложна,
И на устах вселенской славы –
Совсем иные имена.

* * *

От меня той записки не будет:
мол, прошу, никого не винить –
все узнают, поймут и рассудят
не успевшие мне изменить
и предать меня – то ли по лени,
то ли просто им был недосуг;
и не надобно мольб о прощенье,
лживых слез и ломания рук.

ЗЕМНУЮ ЖИЗНЬ ПРОЙДЯ ДО ПОЛОВИНЫ

Чем ближе к полуста годам –
Ясней существованья срам
И помыслов тщета.
В шкафу – завал чужих томов,
В башке – бордель чужих стихов,
На сердце маета.

Пройдя до половины путь,
Пора в себя и в мир взглянуть
И обрести свой Ад.
А коли Ада не нашел
Иль, убоявшись, не сошел –
Так сам и виноват.

Пусть даже вправду был талант,
Но если к полуста – не Дант,
То впереди распад.
У самой бездны на краю
Обдумай трезво жизнь свою
И не гляди назад.

Пойми у бездны на краю
Необязательность свою
Без стонов и нытья.
Пусть будет горек этот миг –
Он скажет, мал ты иль велик
На сцене бытия.

Прими у бездны на краю
Несостоятельность свою:
Проиграна игра!
Кто любит более себя –
Пусть пишет долее тебя.
Решайся, друг. Пора.

ИЗ СТИХОВ, НАПИСАННЫХ НА ИДИШЕ

Переводы Елены Аксельрод

* * *

На той земле мой след
не сыщешь в снежном поле.
Здесь – посреди камней
не различить мой след.
Здесь – корчится строка
от нестерпимой боли.
Тех, кто меня поймет,
там – и в помине нет.

Сломалась дудочка.
Я оробел, как в детстве.
Чуть песню затянул –
сдавило горло мне.
Я жду зари, чтоб вновь
в пустыне Иудейской
со всей Вселенною
молчать наедине.

* * *

То ль рассвет, то ль ночь пришла?
Вновь тревога ожила.
Полусвет иль полумгла?

Ветер стих, свой норов прячет,
Полуслепну полужрачий.
Что-то будет. Не иначе.

Тень падет иль свет с высот?
Что-то ждет меня вот-вот.
Да свершится, что грядет.

ДРУЗЬЯМ

1.

Когда придет разлуки нашей срок –
Чтоб горевать вам не было повадно,
Свечу зажгите, встаньте на порог,
И я не скроюсь в ночи непроглядной.

Какие б тяготы я ни встречал —
Осилю, справлюсь, ощупью идущий,
Когда порог ваш светит, как причал,
Один-единственный, в душе живущий.

Власть одиночества не так сильна,
Есть средство сладить с ней и отогреться:
Та дверь, что и во тьме отворена,
Всегда открытое навстречу сердце.

2.

Мудрец как-то бросил: «И это пройдет».
Увы, все проходит, любимое нами.
Однако есть нечто, что вечно живет,
Чему не опасны ни воды, ни пламя.

Печаль и веселье — и это пройдет.
Злосчастье и счастье — и это пройдет.
Сама наша жизнь — да как быстро! — пройдет.
Но та, нас связавшая некогда нить —
Вовек не истлеть ей, вовеки не сгнить.

* * *

Ицику Мангеру

На усталые ветхие крыши
Красный ложится покой.
В винных парах стихотворец
Пишет строку за строкой.
Под серебряною звездой
на деревянной крыше.

Пишет поэт на идиш
И стопку за стопкой пьет.
Свеча дрожит и трепещет,
Как в темной траве восход,
Как серебряная звезда
на деревянной крыше.

Чем больше поэт хмелеет,
Тем его стих трезвей.
Слово легчайшее реет,
Как белая тишь ветвей,
Как серебряная звезда
на деревянной крыше.

Эли Люксембург

РЯДОМ С ПРАВЕДНИКАМИ

Памяти Анатолия Якобсона

Он лежит на Масличной горе ногами к Храму. Так евреи хоронят своих праведников на этом кладбище. Давно, с библейских еще времен. Ибо так гласит предание: те, кто упокоены на Масличной горе, встанут первыми и войдут Воротами Милосердия, когда придет Мессия.

Над могилой его простерты бездонные небеса, от изголовья его начинается Иудейская пустыня, катится до Мертвого моря, до Моавитских гор, где поднимается солнечный диск над Иерусалимом, куда каждое утро каждый в мире еврей обращает к Всевышнему свои молитвы.

Друзья его звали Толиком, либо Тошкой, еще по московской, видать, привычке.

В Израиле он выбрал себе имя Нафтали и страшно этим гордился: Нафтали бен Яков – родоначальник одного из колен израилевых.

Я же звал его ребе Нафтали. Ведь «ребе» в переводе с иврита еще и «учитель».

Для меня он всегда жив, всегда рядом. Его дух не покидает меня, он умрет вместе со мной, вместе со всем моим поколением. Нашим с ним поколением, поскольку выясняем свои старые споры и отношения. А крутятся они по-прежнему на одну и ту же тему – Израиль. Трагедия или чудо наша судьба? Жесток или милостив был к нам Господь, возвратив в эту землю, Святую, в общем-то, Землю? И что нам с русской литературой здесь делать? Как с нею быть, с этим благостным, окаянным грузом?

Из жизни он ушел добровольно, он как бы от нее удрал. От самого себя, от нас. За что я часто злюсь на него, гневаюсь и ругаю: «Помилуй, ребе, ну кто же сбегает с ринга в самый разгар боя?»

Бокс – это особая тема, он был нашей общей страстной любовью.

Не ради славы или особых почестей мы оба дрались еще пацанами. Он у себя в Москве – у знаменитого тренера Льва Сегаловича, а я в Ташкенте – у Джаксона, Сидки Джаксона, тоже еврея и тоже легендарной личности. Наши тренеры правильно нас воспитали. И понимали – дрались мы исключительно из-за «жида». Достоинства, чести. Не дать никому над собой глумиться.

Листаю свои альбомы, достаю фотографии, чтобы оживить в памяти образ друга, массу картин и происшествий, случившихся с нами. Хорошая, скуластая морда, приплюснутый нос, с тревожно порхающими ноздрями. Ничего в нем не было от облика классического «жида». Расовый признак, пожалуй, один – рубака и гладиатор.

– Горше всего я плакал на ринге, будучи зеленым юнцом, – признался он мне однажды. – Стою я как-то в своем углу, жду гонга, начала первого раунда. И, как положено, отправился к противнику, пожать ему руку перед боем. В противоположный угол. Такому же пацану, как и я. Подхожу, а тренер его мне шипит: «Пошел вон, жидёнок!» О, этого не забыть! Это в гробу буду помнить, никогда не прощу им этого.

Познакомил нас Фромер Володя.

В ту пору я подрабатывал тренером в спортивном клубе «Бейт-Померанц» на Лавровой горке – Маалот-Дафна.

Было довольно поздно, в квартирку нашу они вломились, буквально, без стука и без звонка. Ребе Нафтали принялся сходу меня обнюхивать. Раза три обошел кругом, как бы взвешивая, просвечивая. Что-то свое вычитывая во мне. И, наконец изрек:

– Вполне надежный! И пишешь еще? Читал, читал. Неплохо.

Перебираю его фотографии, а в сердце щемит досада, боль и досада.

Господи, вроде в Израиле мало прожито, совсем ничего. Самое главное осталось там, в России – самое дорогое в твоей биографии. А здесь? Ну сколько прожито здесь? А скольких успел узнать, полюбить, связать свою жизнь с ними. Но и эти ушли, будто бы в одночасье. И пусто, пусто без них, их так не хватает: Павел Гольдштейн, Давид Дар, ребе Нафтали... Этих мы выбирали себе в друзья в зрелом возрасте, по принципу духовных корней. Общих корней – высшей близости. Тех, кто вместе с тобой с гордым достоинством эту землю топтали, потом своим поливали, кровью, любили ее беззаветно. Четко осознавая всю жестокость нашей жизни в Израиле. Эту суровость – нести на плечах, как бесценную ношу, хрупкое СВОЁ государство. Неравную силу соотношений: по эту сторону мы, а по ту – весь остальной мир.

Давно пытался найти в его фотографиях тайную одну печать, некий мистический символ.

Помню, привез я однажды ребе Нафтали в Бат-Ям к своему родственнику, профессору теологии Пинхасу Х. Сам он из польских, бежал в Израиль из Самарканда с поддельными документами. Живет в стране со дня провозглашения государства.

Но русский помнит, ничуть не забыл, собеседник мудрый и проныцательный.

Проговорили мы, помню, больно цапаясь, до глубокой ночи. Ребе Нафтали вызвал жгучий его интерес.

Утром, однако, сидя на кухне, Пинхас кивнул мне на салон, где спал на диване ребе Нафтали. Тихонько шепнув: «По моему глубокому убеждению, господин Якобсон не должен был покидать Россию ни в коем случае»!

Эти слова меня потрясли, я не поверил своим ушам.

Спросил Пинхаса:

«И это ты говоришь? Ты – сионист и набожный человек? Который с пеной у рта всегда и везде вопит: евреям надо драпать оттуда, хоть на карачках, спасти свою душу любой ценой?!»

«Да, но здесь исключение! – сказал он одними губами. – Клинический случай, тяжелая патология...»

Я долго вглядываюсь в его фотографии, пытаюсь увидеть эту печать – ненащести, отстраненности, ту самую, что Пинхас увидел. В один лишь вечер, за один присест.

А вот он сидит на диване и курит трубку. Вразброс откинувшись, улыбаясь блаженно. А рядом Сашка – его сокровище. Сын уже бородатый, только что окончил гимназию, скоро идти ему в армию: оба славно так улыбаются.

Часто он мне говорил:

– Это огромная наша удача, что Санька в Израиле, здесь как раз ему место. Я только пытаюсь представить себе, что бы с ним случилось там, в России – ужас меня берет! Гнил бы всю жизнь в Сибири безвылазно. С его-то дерзостью в политических убеждениях, да и во всем остальном?

А вот мой ребе в боксерских перчатках, голый по пояс, в блестящих капельках пота. Стоит на травяной изумрудной полянке под пальмой. Щурится, заслоняясь от солнца. И морда такая хорошая, зверская. Мы только что с ним подрались. До красных соплей, я чуть в нокаут его не послал. Мы вообще с ним дрались где придется. На всю жизнь бокс остался у него в крови – условным рефлексом, генетическим кодом. Едва я доставал перчатки, он тут же вскакивал в боевую стойку.

Еще он рыцарем был, рыцарем дружбы. Бесстрашным и беззаветным.

А между прочим, из-за его бесстрашия, порой неразумного, нас запросто могла прирезать однажды арабская шпана. В мрачных, запутанных лабиринтах Старого города.

– Старик, я много слышал, что ты замечательный гид, – сказал он тогда. – Говорят, что ночью тебя разбуди, поведешь экскурсию по Старому городу?

– Поведу! – согласился я. – Охотно и с удовольствием. Вот и ночь как раз на дворе. Да и будить не надо.

Было нас трое в ту ночь, трое друзей, не считая Томика, его верного пса, сибирской лайки.

Выходя из дома, я прихватил с собой кобуру с пистолетом. Нацепил на пояс, прикрыв рубашкой.

Заметив это, ребе Нафтали обиделся:

– Фи, пистолет! – сказал он с брезгливой гримасой. – Да мы же с тобой боксеры!

На это я промолчал, пропустил это мимо ушей, а пушечку все-таки взял.

Он всю дорогу надо мной измывался: стыдил за трусость, неверие в его кулаки. Всю дорогу до Старого города, куда мы перли пешком.

Стояла чудная ночь со звездами и огромной луной. Город был совершенно пуст, безлюден.

Я привел своих спутников к Дамасским воротам. По винтовой каменной лесенке взошли на зубчатую стену. Двинулись на восток,

к башне Ирода – над крышами, над дорогой. Затем со стены спустились. И Ассирийским кварталом, где переулки особенно мрачные и глухие, решил повести их на Крестный путь – улочку Дела-Росса. Я-то прекрасно знал: евреи здесь мало гуляют. Ни днем, ни ночью – всякое здесь бывало. И с неевреями тоже.

И – оп! Как будто в воду глядел. Мгновенно вдруг оказались в кольце шпаны: поганенько лыбятся, ножами размахивают, цепями. Чем-то еще гремуче-убийственным.

Я тут же выхватил пистолет. Клацнул затвором, приставив дуло ко лбу главаря. Он вышел как раз на меня, напротив. «А ну, хаби-би, проваливай к черту, иначе череп тебе продырявлю!» И банда дрогнула, отступила. Кольцо их быстро размылось, через минуту исчезли.

Ребе Нафтали горестно завопил:

– О, какой позор! Боксер, чемпион, а лезет за пистолетом! Ты все нам испортил, мы мигом бы их посшибали. Сошлись бы спинами и дали бой.

Мне было смешно и грустно:

– Они с нами что, на кулачках собирались? Ты видел, что было на этих цепях – японские раздолбайки? Тебя бы тяпнули по башке разочек, и эта башка наивная, как арбуз, раскололась. Сюда только пушка нужна, давно проверено.

А вот его фотография на плато Голан, его любимая фотография: стоит на крыше разбитого сирийского дота. И неизменный Томик на его руках. В войну Судного дня здесь воевал мой брат Гриша – они дружили. Брат умудрился привезти его в боевую часть. Немыслимо как – в самое пекло, на передовую.

Ребе Нафтали нам часто плакался:

– Меня в милуим не берут. Из-за болезни, по возрасту. Неужели я никогда не увижу, что означает в действии еврейская армия?

Гриша раздобыл для него ботинки, военную форму. В этой форме, возле солдатских костров, ребе Нафтали читал танкистам, однополчанам Гриши, стихи Цветаевой, Пастернака, Ахматовой. Волшебно, неповторимо, как мог только он один. А после мне говорил, что это были счастливейшие дни в его жизни. И фотографией хвастал – в солдатской форме, с Томиком на руках, на крыше разбитого дота.

Вот еще фотография, стоим мы на ней вчетвером: Володя Фромер, Улановская Майя, ребе Нафтали и я. Он хмур, насуплен. В лице проступает тревога, весь будто наэлектризован. Таким он часто бывал – в тряске, передернутый бесконечными судорогами. Мотая при этом на руку кожаный ремешок Томика. С руки на руку, с руки на руку.

Болен он был всегда. Когда меньше, когда больше.

Однажды изобразил мне «синусоиду своего бытия»:

– Сейчас я нахожусь здесь, на самой макушке. Спустя неделю, а может раньше, полечу вниз. Спадут экстаз, сатанинское возбуждение, буду снова брошен на дно. А после мучительно выбирать. И еще врачи мне как-то признались... Да я и сам понимаю: однажды

просто не выберусь, не будет сил. Ни сил, ни охоты, и что-то непоправимое случится. Отчетливо чувствую.

Откладываю в сторону альбомы: нет, не вижу на нем никакой печати. Ни знака, ни печати; зато от мысли, что с этой глыбой, талантищем, был часто небрежен, доводил до бешенства, позволяя на себя злобствовать – стыдно. Да, стыдно, что не щадил его ни больным, ни здоровым.

А что я могу поделаться? Израиль был и остается для меня превыше всяких истин и здравого смысла.

И задаю себе неразрешимый вопрос: действительно ли Израиль убил его, губительно действовал, разогнав болезнь его до скоростей аварийных?

В памяти моей сохранилось воспоминание: мы едем из Тель-Авива в такси. Час назад ребе Нафтали прочел выходцам из Харбина блистательную лекцию о современной русской литературе. Его восторженно принимали, вручили «жирненький» чек – как будто бы все нормально. Всю дорогу я гляжу в окно на потрясающий пейзаж возле подножья Иудейских гор. Мой ребе сидит под боком, рядом. Весь погружен в себя, колючий и непрístupный.

Толкаю его локтем:

– Нет, ты глянь только, глянь, какие хлеба колосятся в Аялонской долине! А знаешь, что именно в этом месте наши предки громили филистимлян? А полководец Иегошуа Бин-Нун велел солнцу остановиться, покуда битва не завершится. Ты погляди, погляди, какая тут кругом красотища!

Мутным, рассеянным взглядом он оглядел долину, небо и горы. Буркнул мне раздраженно:

– Лунный пейзаж. Дикий и страшный...

Это я понимал, Израиль был для него иной планетой. Он много страдал, помимо своей болезни. Из всех сил пытаюсь что-то понять вокруг, вписаться в быт. Учил упорно язык, но он у него не шел, и это добавляло отчаяния. И много писал, очень много работал – книги, статьи, рефераты. Хлеба насущного ради.

Но разве только Израиль, разве и не Россия тоже убила его, если уж прямо и справедливо? Это она, Россия, выбросила его голым, больным, беспомощным. И не его одного, а тысячи, много тысяч. Вытравив из еврея всякое понятие о своих корнях – в этом ее обвиняю. Да, мне чуточку повезло, я вырос и родился в семье, отчаянно сопротивлявшейся ассимиляции, где соблюдались традиции и повеления Торы. С детства еще отец приучил меня верить в Израиль, как в Бога: «земля наших предков добра и благостна». И вот я выжил, этим самым и выжил. Отделавшись шрамами и рубцами. А ребе Нафтали умер. Сбежал ли, ушел по собственной воле – не важно.

Первый серьезный разрыв у нас вышел из-за рассказа «Прогулка в Раму». В ту пору я отдавал на суд его, суровый и деловой, все, что шло у меня из машинки. Меня удивила его оценка: абсолютное неприятие, я бы сказал – враждебность.

– Старик, ты этот рассказ не должен давать в печать. Порви его, уничтожь. Вся идея его антигуманна, насквозь фашистская.

Уже тогда я понимал, прекрасно отдавая всему отчет: вера моя и мораль столкнулись с его моралью – русского диссидента, вобравшего в душу свою чуждые мне идеи православной религии. А прежде этого, помимо воли его – дух демократа, космополита. И здесь меж нами случилась искра, вспышка, дошедшая до пожара.

«Художественную прозу» он никогда не писал, мне не приходилось читать и его стихи.

Вот что он говорит о себе в книге «Конец трагедии», вышедшей на Западе еще в бытность его в Москве: «То, что делаю и собираюсь делать впредь, можно назвать так: литература о литературе. Это не литература и не писательство в чистом виде, но нечто, имеющее черты того и другого».

Но Бог ты мой, сколько писателей и поэтов за ним охотилось; считали за честь удостоиться его рецензии, дружбы. Да просто разговора, знакомства. И очень часто его оценки были суровы и беспощадны, а потому – так всеми желанны. С музой творческой ребе Нафтали был честен и справедлив, никогда не пытался с ней флиртовать, любовнице этой хранил священную верность.

Жил он мучительно трудно, ежедневно сражаясь с болезнью, пытаюсь устоять на ногах, не пасть, удержаться. Жил исключительно литературным трудом. А это почти что подвиг – жить литературой на русском языке в Израиле.

К деньгам же испытывал отвращение.

...Однажды я дал ему рукопись «Боксерской поляны», едва законченного рассказа.

Буквально на следующий день он ворвался ко мне в квартиру весь возбужденный, сияющий и счастливый.

– Старик, немедленно одевайся! За мой счет приглашаю тебя в ресторан. Этот рассказ немедленно надо обмыть!

Я был глубоко польщен, не хочу соврать. Шутка ли, сам ребе Нафтали тащит меня в ресторан. Из-за того, что рассказ мой ему понравился, вызвав бурю эмоций. Ребе Нафтали, вечно нищий, как уличный воробей! Ну и ну, ай да ребе Нафтали!

Он притащил меня в разудалый и шумный кабачок на улице Долина Духов – Эмек Рефаим. Здесь было полно забулдыг, зато стояли запахи печеного мяса – райские.

Едва мы с ребе Нафтали вошли, едва уселись за столик, как я вдруг заметил, что вся почтенная публика к нам обернулась и пристально изучает. С каким-то настороженным недоумением – бессовестно пялятся. Не столько на ребе Нафтали, как на меня одного. Я весь заерзал, почувствовав себя неуютно.

Не обратив на это внимания, мой ребе снялся и пошел заказывать стейки.

И тут же ко мне подошел один из алкашей, осведомившись сердечно: «Кипа на твоей голове, ты что, религиозный?» – «Да, отвечаю, кипа, религиозный, а в чем, собственно, дело?» – «Да нет, говорит, ничего. Я только хотел сказать, что стейки здесь белые, кушай себе на здоровье...»

И сразу мне все стало ясно, весь я налился стыдом и отчаянием.

Вернулся ребе Нафтали, беспечный, веселый. Сказал, что водочку заказал, водочку тяпнем.

– А стейки здесь подают такие, что закачаешься. Лучшие в Иерусалиме, сам сейчас убедишься!

– Куда ты, каналья, меня приволок? – взревел ему я. – Сюда же религиозному человеку ногою ступить нельзя, ты что, издеваешься!?

Он искренне огорчился, чуть не до слез. Он, бедный, даже не знал, что мне свинина запрещена – элементарные азы иудаизма. А может, и знал, конечно же, знал!

Должно быть, память отшибло.

Фигура яркая, сильная, во многом противоречивая, таким он остался в моей памяти – яркой звездой из иной галактики, прочертившей наш небосвод.

После похорон, кладбища десятки людей – в большинстве своем мне незнакомые – собрались у него на квартире в Неве-Яакове. И не одни литераторы.

Долго сидели, молчали, оцепенев от горя. Потрясенные смертью. Ogлохшие, онемевшие. Глядя на этих людей, я думал: а ведь каждый из здесь сидящих его любил и любит. Каждому он дорог по-своему, сумев найти тропинку к сердцам. Сколько же граней было у этой души, великой натуры?

Лежит мой ребе на Масличной горе, ногами к Храму. Так евреи хоронят в Иерусалиме своих праведников. Нам ли его судить – грешно он поступил, или нет, распорядившись жизнью своей, судьбой? Думаю, нет! Судить его не имеем права. Этот вопрос подлежит рассмотрению в иных инстанциях. Факт – Всевышний положил его рядом с праведниками!

Одно лишь знаю, и об одном лишь прошу:

«Удостой же, Господи, и меня в положенный час лечь с ними рядом: отцом, ребе Нафтали, Павлом Гольдштейном, Авраамом Шифриным. С теми, кто встанут первыми и войдут в Ворота Милосердия, когда придет Мессия».

Юрий Каминский

ПРАВДУ, И ТОЛЬКО ПРАВДУ

...а ведь на многое, с чем столкнулся здесь в своем сокровнике-еврее, я смотрел глазами художественного опыта Григория Кановича. Опыта, естественно, не всеохватного, но истинного и честного. Опыта, который всеми доступными ему средствами пытался подсказать: *как легко быть человеком и как трудно им стать*. Хотя ни одной фразой, ни одним словом писатель в своих романах и повестях не претендует на учительство и – тем более – на поучительство.

Канович принес в русскую литературу времен тоталитаризма и государственного антисемитизма «еврейскую тему» на острие своего глубинного ощущения Катастрофы. Он исследует эволюцию еврейского сознания, еврейской души, «чующей беду за три версты».

В книгах Кановича – острое ощущение Катастрофы. Оно прочитывается не только в сюжете, но и в языке его произведений. Автор показывает своего героя на раздорожьях его реальной судьбы, изначально отмеченной знаком неблагополучия и беды; включает эту судьбу в конкретный исторический контекст, отслеживает влияние времени и связь с ним и – одновременно – отталкивание от этого времени в поисках духовных и нравственных основ, точек опоры.

Чувствовать – значит страдать. Канович не только дышит со своими героями одним воздухом, он весь пронизан их чувствами – их страданиями. «Седина тлела в сумерках и чадила». «Нет на свете ничего удушливее, чем мысли». «И на душе, как на опустевшей рыночной площади, один помет». «На каком языке говорит смерть...» «Другой страны, кроме памяти, у евреев нет».

Если бы у меня спросили: где происходит действие в прозе Кановича, я бы ответил: *на кладбище жизни, что находится на планете Земля*.

Из «сквозного» образа кладбища вырастает метафора *памяти*. Всем строем своей прозы Канович стремится доказать, что *память* и только она способна убить или возродить человека, что ее ресурсы, по сути, неисчерпаемы, что в колодцах памяти сохраняется конституция общечеловеческой совести. И потому, наверно, его герои – люди, для которых кладбище – не финал жизни, а лишь черта, за которой связь с дышащим, думающим и страдающим миром становится глубже и нравственней; связь эта приобретает новое качество, очистившись от страха смерти.

Вот последняя фраза из повести «Лики во тьме»: «Память – это и есть сон, который длится дольше жизни». Она – своеобразный ключ для вхождения во всечеловеческое историческое пространство, в котором и происходит действие всех романов и повестей. А «ось» этого пространства – еврейское кладбище – длящийся свет человеческой памяти, т. е. человеческой совести, а не только совести еврейской.

«Лики во тьме» – прорастание отроческой души сквозь страдание, которое очищает душу и позволяет ей услышать и понять страдания других, осознать главное: собственную чуждость не только в конкретном (чужом и чуждом) окружении, а свою всевременную чуждость в исторической перспективе. В повести автор ведет свой давний спор с каноническим «око за око». Спор этот протекает в неокрепшем и еще не определившемся пространстве отроческой души, многое уже вокруг себя видящей и понимающей и – прежде всего – начинающей осознавать, что зло порождает только зло, что жизнь во зле невозможна, как невозможна она и во лжи. *«Думаю о том, чему может научить человек, который в размокшей стети убивает другого человека».* Ответа автор не дает. И в этом художественная достоверность прозы Кановича. Появись ответ, все ушло бы в плоскость публицистики...

Ни в одной вещи автор не пытается навязать *свою* правду: *уважение к человеческому (читай читательскому) достоинству – не столько этический, сколько эстетический признак прозы Кановича.* Но, вставляя в мои зрачки другие линзы для обновления моего притупившегося зрения, автор как бы говорит мне: *смотри, есть еще и такая правда; и не в том суть, большая она или малая, а в том, что она – правда.*

Проза Кановича симметрична. Это зафиксировано, прежде всего, архитектурой романов и повестей. Фундаментом для возведения «зданий» служит внутренний драматизм всей истории еврейского народа, в которой такая симметрия ярко и точно закреплена в народном творчестве, в том, что в обиходе называется «смех сквозь слезы». Вслушайтесь в еврейскую народную песню: даже там, где сплошное веселье, в глубине мелодии и слова ощущается набегающая слеза, исчезающая горчинка. Вчитавшись в прозу Кановича, можно обнаружить этот «скрепляющий материал».

Ощущение формы у писателя напрямую зависит от *словотока в крови. Ритм, скорость, протяженность, расслабленность или напряженность внутреннего языкового пространства фабулы определяют естественный выбор формы.*

У Кановича (порой в одной развернутой фразе) герой проживает сразу как бы в трех временах: прошедшем, настоящем и будущем. Структурно этот стилистический прием является едва ли не основной несущей конструкцией эстетики Кановича.

Уметь расслышать в герое *свой язык, свое слово* – это значит: точно выбрать своего героя, точно чувствовать его ситуативные модели, а значит, и видеть его последующие поступки, даже самые непредсказуемые внешне, но внутренне, психологически оправданные. Только подобное умение дает Кановичу возможность проследить судьбу героя во всевременном пространстве, не теряя при этом (на уровне слова) пунктир конкретного времени. И эта же способность позволяет ему писать не биографию, а судьбу героя; именно судьбу, ибо она складывается на пересечениях многих времен, протекающих в герое, живущем в реальном времени. А внутренний язык писателя только отчасти и лишь в верхних слоях сознания формируется и конкретным временем, и конкретной средой (в том числе географической). *Язык же духа – суть внутреннего языка писателя, – являясь*

энергетической основой судьбы индивида, кристаллизуется в глубоких слоях подсознания, омываемого всевременными языковыми потоками. Отсюда, мне кажется, заметный оттенок притчевости, ярко выраженный многовекторный метафоризм всей прозы Кановича, корнями уходящей в еврейскую традицию. В этой почве, думаю, надо искать «корешки» замыслов писателя, постижение которых приблизит к пониманию глубины его произведений.

Последние по времени повести «Вера Ильинична» и «Жак Меламед» – это прежний и новый Канович. Узнаваемость происходит на эстетическом уровне. Новое, прежде всего, – в выборе иной точки обзора, которую условно можно назвать «сегодня». Автор как бы «вышел» из своего художественного времени, «прихватив» самое ценное: освоенную историю национальной морали, национального духа и сознания, спроецированных на мироздание (а не на местечко!) – все то, что лежит в основе художественного метода предыдущих романов и повестей, и вошел в новую реальность, т.е. в *новый язык, новые словосмыслы*^{*}. Основной из них – «отторженность».

Истины, на которых держится мир, как известно, банальны. И в этом, только в этом смысле банальны сюжеты повестей. Фабульно они как бы отталкиваются друг от друга. Вера Ильинична вынуждена ехать с детьми в Израиль из Литвы, чтобы еще и еще раз убедиться в своей отторженности. Жак Меламед, преодолевая внутреннее сопротивление, едет из Израиля в Литву, где находит подтверждение своим «израильским» мыслям о «чужеродстве» и о том, что «вся наша жизнь – гетто». С горькой иронией, очутившись рядом с детьми и внуками (в кои-то веки!), он осознает, что «поехал на свидание с самим собой», а его «чадающую истлевшими воспоминаниями старость» ничто уже не спасет от одиночества. Но это чисто внешнее отталкивание, на мой взгляд, еще больше сближает обе вещи в их внутренней сути. Да, фабулы повестей банальны. Но в том-то и секрет художественного метода Кановича, что он умеет поднимать банальное до уровня отдельной человеческой драмы, истинность и реальность которой художественно достоверны в его прозе. Писатель не ищет компромисса с жизнью, и потому его язык жесткий и честный. Плата за иллюзии, за самообман – смерть.

Одиночество, по-моему, – генетический недуг человечества, которое лишь недавно по-настоящему это осознало. Мне кажется, что только художественное постижение жизни способно выявить первопричины этого недуга, а значит, и наметить пути его преодоления. У Кановича есть пронзительная метафора: «Знойное, как пустыня, одиночество. Сказать так может только человек, в себе несущий этот «зной». А писателю сказать *такое и так* позволяет его пристальная любовь к своим героям, дающая возможность разглядеть в «потемках» человеческих душ нечто недоступное иному глазу. Только такая любовь разрешает писателю говорить о своих героях правду, и только правду, помня при этом, что всему на свете есть лишь один судия – Всевышний.

* Формы переживания жизни, которые, оставаясь прежними, сегодня приобрели другую смысловую окраску, отвергнув предыдущую как непродуктивную.

Борис Привин
ДМИТРИЙ КОЛОМЕНСКИЙ

Попытка психологического портрета

Так и осталось тайной за семью печатями – был ли Дмитрий Коломенский когда-либо мучим старой еврейской дилеммой: «Братъ зонтик или не братъ?», но достоверно известно, что однажды, в телефонном разговоре с одной хорошей своей знакомой, обмолвился: «Знаешь, мне тут как-то на днях кошмар приснился... что мы с Полиной (очаровательная жена героя нашей статьи – *Б.П.*)¹ собрались уезжать в Израиль... ну не смейся!... короче, все уже готово, билеты куплены, уже на чемоданах сидим, пора выходить... и тут я понимаю, что ТАК НЕ ХОЧУ НИКУДА ЕХАТЬ! В общем, кошмар...»

Причина, по которой люди уезжают – одна². Причин, по которым остаются, – масса. Они могут быть и экономическими, и семейными, и сентиментальными... просто: «не на кого могилку оставить» и т. д. и т. п. Свои, дополнительные ко всему прочему, резоны есть и у творческих людей: устоявшийся круг поклонников, например; да и вообще – «то, что хорошо русскому, то немцу – смерть» (к вопросу: «О национальных школах в искусстве»). Музыкантам и художникам, понятное дело, проще. А как быть с изящной словесностью? «Инженерам душ человеческих», надо полагать, совсем худо: кроме совершенного овладения незнакомым языком, что уже само по себе – подвиг, им, что твоему Штирлицу, предлагается проникнуться чуждой – по определению – ментальностью, досконально изучив при этом предмет описания, антураж, так сказать, те мелкие детали, на изучение которых часто уходит жизнь...

Воскресный день колбаской выдавлен
Из чрева тюрбика оконного –
День с трескотней дорожных выбоин,
Вбивающей дробины в голову,

С комками пешеходов, с тиканьем
Часов с их мертвыми кукушками...
С души бросками, с виду дикими,
Как бы от Бродского до Пушкина...

Предполагаю, что и Штирлица, и прочий набор трюизмов Дима бы не сильно одобрил. Так, после армии, несмотря на семью, где ка-

¹ Здесь и далее – примечания автора.

² На мой стихийный социологический опрос около 90 % респондентов ответило: «Дети!» (Остальные 10 % детей, вероятно, не имели).

ждый второй, не считая каждого первого, занимался ядерной физикой всю свою сознательную жизнь, он пошел в школу преподавать... рисование (которому, кстати, выучился самостоятельно). Скорее всего, что и на вопрос: «Почему не едет?», он бы – наверняка – ответил, что ни за что бы не расстался со своими байдарочными походами в Карелию, куда каждое лето отправляется из Питера с друзьями.

Но корни так давно оборвались,
Что, видимо, уже не приживутся...

И сам он, скорее даже с какой-то философической обреченностью, нежели с сожалением, говорит, что *еврейским поэтом* назвать себя не может и силою обстоятельств вынужден сидеть меж стульев национальной принадлежности и среды обитания, которой по прихоти судьбы оказались Россия (вообще) и Петербург (в частности). Все же, ведь, могло выглядеть совершенно иначе, родись он в иную эпоху и в ином месте:

Так глухо лопается панцирь
Зимы. Объяты горячей.
Гортанногорлые испанцы,
Переодетые в грачей,

Взирают на меня брезгливо,
Как на толедского жида.
И в каждом выдохе залива
Таится новая вода.

Можно было бы, конечно, Диму утешить тем обстоятельством, что меж тех же стульев пытались устроиться и Мандельштам, и Бродский, и Пастернак... если бы Дима как поэт был достоин утешения. Но поэт Коломенский утешения не достоин. Он достоин внимания.

Зачем возле лужи, которой не допил
Опилочный грунт, избежав наказания,
Живет, сбросив листья, ублюдочный тополь,
Как выкрест, скрывающий след обрезанья.³

Вопреки обстоятельствам, готовившим юному физико-математическому дарованию судьбу, определенную заранее, подобно мольеровскому Журдену, обнаружившему, что разговаривает он не как-нибудь там, а прозой, Дима в один прекрасный день попросту начал записывать, одно за другим, свои стихи в обыкновенную ученическую тетрадь, видимо, не в силах более совладать с постыдным недугом графоманства, нещадно терзавшим его с шестилетнего возраста. Так, втайне от ничего не подозревающих родителей, он сам впервые начал определять свою судьбу: «Стихи – это единственное исключительно

³ Все цитаты, кроме указанной, взяты из книги Дм. Коломенского «ДЕНЬ ГОРОДА», С.-П., издательство «СКИФИЯ», 2003.

мое имущество в абсолютно обобществленной, безличной и обсессивной действительности». Поэтому их надлежало не только писать, но и охранять от любой эксплуатации этой действительностью. Так, исподволь, впитывалась идея непродажности вдохновения... «Как и большинство людей, разумеющих грамоте, стихи начал писать в детстве. Первое стихотворение было, по сути, заклинанием, нечто напыщенно-дифирамбическое про гусей, которых я почему-то до смерти боялся. Словотворчество казалось забавной игрой, сродни головоломкам или разгадыванию пасьянса. Никакими особенными успехами похвастаться я не мог, поэтому, придя в десятом классе на занятия школьной литературной студии под руководством Елены Анфимовой, был приятно удивлен вниманием к своей персоне. Тем не менее, словосочетание «литературное призвание» в мой активный лексикон тогда не входило. В пассивный, вероятно, тоже».

Червоточина голоса, слуха,
Превращенная в слово и звук –
Как звонок, протрезвонивший глухо
Из бюро запоздалых услуг.

И, покуда ответчик не помер,
Не откинул истертых копыт,
Кто-то вновь набирает твой номер,
Будто в дверь спозаранку долбит:

Просыпайся!.. и, может, за это
Ангел с губ твоих снимет печать,
Когда будешь, дождавшись ответа,
В поднебесную трубку кричать.

Далее были университет и преподавательская деятельность, но выбор, окончательный и безоговорочный, был сделан. Никто из Диминых знакомых не помнит, чтобы он в этом раскаивался. Все мы, воспитанные в духе большевистского ригоризма, несем на себе его отпечаток, и у каждого из нас – своя священная корова. У Димы этой священной коровой оказалась русская Поэзия, теснейшим и невероятнейшим образом переплетенная с судьбой российского еврейства. Как он сам впоследствии со смехом признавался, даже известную цветаевскую строчку: «В сем христианнейшем из миров поэты – жи-ды» воспринял буквально, но, к чести своего пытливого ума, вскорости разобрался «who is who», а к творчеству Марины Ивановны с тех пор относится все трепетнее и нежнее.

Трамвай, отражаясь в изгибе
Стальной двуединой петли,
Везет Гумилеву погибель,
Везет Михалкову рубли.

Везет контролеров мордатых
И зайцев, мордатых вдвойне,
Из дальней эпохи, когда ты
И знать не могла обо мне...

Как-то Ницше записал в своем дневнике: «Очень редко, минут 20 за две недели я пишу «Гимн Одиночеству». Я явлю его человечеству во всей его ужасающей красоте». Кажется, эту фразу я бы поставил эпиграфом ко всему, написанному Димой в рифму.

Герой его одинок тем природным (естественным) одиночеством, которым пропитаны, например, фильмы Тарковского. Хотя язык искусства кинематографии и поэтический язык сравнению подлежат весьма условному, и Тарковский, и Коломенский говорят, по сути, на одном и том же языке — на языке отчужденности и *инакости* по отношению к тому, что попадает к ним в «объектив».

Отстраненность эта не показная, как, скажем, у раннего Маяковского; не найти в ней и ни грамма холодного презрения, ядом которого изъязвлены некоторые вещи позднего Бродского; это и не Цветаевский надрыв. Дешевой иронии, за которую можно принять снисходительную доброжелательность Диминых стихов, там тоже вам не отыскать. В сухом осадке остается трезвый взгляд на вещи, тот самый «взгляд человека, глядящего в окно», о котором писал Розанов: «...все религии пройдут, а это останется: просто — сидеть на стуле и смотреть вдаль».

Смотришь так, что становится вязко,
И на ощупь сырая листва —
Как слоями засохшая краска
На суровом холсте естества.

Здесь не тонкой работали кистью,
Здесь руками мешали раствор,
Здесь художник намазывал листья,
Словно масло, на дышащий двор,

И ваялась тяжелая стая
Туч столь гипсовых, толстых, немых,
Что любой авиатор, взлетая,
Разбивался, как муха, о них.

Его одиночество, окрашенное в минорные тона чухонского пейзажа, сродни ему, пейзажу, своей полусиротской неприкаянностью. Ибо в краях, где «Звук тонет быстрее, чем камень в реке, / И зренье надежнее слуха», уже никакими вербальными красотоми не откупиться от Судьбы.

Здесь спрашиваешь себя: «Зачем ты здесь?» без какой-либо надежды получить в ответ хоть что-нибудь, кроме собственного эха.

Часы прозябания крови стоячей во мне
Закончатся выплеском сна, но не стоит питать
Надежд иллюзорных: в саду этих сонных камней
Ни тумбы – подняться над миром, ни клумбы – поспать,
Ни белочки – выпросить крошек, ни птички – свистеть,
Ни доброго дворника – мусор прибрать на полу.
Великая грязь и пустая великая степь.
И, выпитый кем-то, фонтан каменеет в углу...

НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

На тот случай, если у кого-нибудь из наших читателей от обилия цитируемых текстов уже сложился определенный стереотип образа нашего героя, этим послесловием, вероятно, мы его разочаруем, потому что в жизни Дима – высокий, красивый и деятельный молодой человек, тридцати лет от роду, лауреат и дипломант (а также член жюри и оргкомитетов) множества конкурсов авторской песни, редактор нескольких популярных поэтических сайтов и главный редактор Национального сервера современной поэзии. Остается только удивляться, каким образом он умудряется все это совмещать со своей основной работой в Новой Еврейской Школе и многочисленными хобби, включая спортивное ориентирование и археологию. Уроженец Гатчины, Дима самого себя иначе как «деревенский еврей городского разлива» не называет. Но в историю войдет, думаю, не поэтому, а потому что вокруг него сформировался круг поэтов, известный сегодня в сетевой литературе как «Гатчинская школа»: Илона Якимова, Михаил Богуш, Владимир Лавров, Юлия Ламская и другие. Все это не случайно, ибо Дима обладает редкостным дружелюбием и восприимчивостью. Так, отыскав у какого-нибудь никому не известного (кроме него самого, конечно) автора сильную строчку, радуется, как ребенок, а если это – целое стихотворение, то счастьем его практически нет предела и он готов носить с ним дни и ночи, «терроризируя» окружающих, не всегда – увы – способных разделить его искреннюю радость.

«Если бы меня попросили кратко охарактеризовать ДК, то у меня бы, наверное, вышло восемь-девять страниц плотного текста. А если в одно слово, то: Коломенский – это определение. Черта характера – постоянство. В математических категориях ДК – комплексное число. В астрономических – туманность. При этом – саркастический взгляд на жизнь, ирония, как средство борьбы с реальностью, веселость, озорство, легкое движение над плоскостью бытия. Ментально легкое, конечно. Когда я пристала к нему с вопросом о смысле жизни, он резонно ответил, что *«система изнутри не познаваема и средствами системы описана быть не может. Там разберемся...»*. Так и Коломенский, как система – непознаваем изнутри (в процессе общения с ним), а потому и не может быть подвергнут определению, краткому – тем паче. Потом как-нибудь разберемся» (И. Якимова «Ирония одиночки»).

Елена АКСЕЛЬРОД. «Избранное». – Санкт-Петербург, издательство журнала «Звезда», 2002.

Современные фотоаппараты, рассчитанные на непрофессионального пользователя, «думают» за него – сами устанавливают выдержку и диафрагму, наводят на резкость, сами переводят плёнку... Не то было в те давние времена, когда я начал увлекаться фотографией. В частности, плёнку надо было переводить вручную, и сколько же кадров было испорчено из-за рассеянности и торопливости! Иногда, впрочем, случались забавные штуки, вроде коровы на футбольном поле среди игроков, но не более того.

Однако мастера использовали двойную (и многократную) экспозицию как особый приём. Снимали несколько раз на один кадр ночную грозу и получали небо, испещрённое бесчисленными молниями. Снимали на один кадр утренний и с той же точки вечерний пейзаж – получалось нечто таинственно-мистическое. Я видел даже целый альбом одного фотохудожника, где большинство снимков были такого рода. И почти все они демонстрировали пристальную внимательность и, что тоже важно, виртуозное владение техникой съёмки.

Обо всём этом я вспомнил, читая «Избранное» Елены Аксельрод – некие, пользуясь известной формулой Юрия Трифонова, *предварительные итоги* сделанного поэтом за немалый срок жизни в литературе. Уже стихотворение, открывающее книгу, даёт повод для таких размышлений; вот фрагмент из него:

*Я иудейка из рода Авраама,
Лицом бела и помыслom чиста.
Я содомитка, я горю от срама,
Я виленских местечек нищета,
Где ласковые свечи над субботою,
Где мать худа и слишком толст Талмуд,
Я та, на чьих лохмотьях звезды желтые
Взойдут однажды и меня сожгут.*

*Я дую в горн, и галстук цвета крови,
Я комиссарша, грозен взгляд мой зоркий,
И я же, заплутавшаяся в слове,
Избравшая безлюдные задворки
Российского стиха, и этой долей
Вернуть бы мне себя, еще одну –
Ту, что когда-то не своею волей
Валила в снег таежную сосну.*

Явная здесь многократная экспозиция образа лирической героини создаёт особую стереоскопичность изображения, и это не последняя причина широкой известности стихотворения, его бесконечной цитируемости; а строчка *Я иудейка из рода Авраама* вообще стала как бы фирменным знаком Елены Аксельрод. Некогда прочитал я, что в великой русской поэзии и одной строчкой остаться почётно. Эту строчку Лена написала ещё четверть века назад. Но ее «Избранное» позволяет с

уверенностью говорить о том, что не одно стихотворение Е. А. способно выдержать сравнение с лучшими образцами русской лирики.

Я впервые познакомился с творчеством Елены Аксельрод в начале восьмидесятых. Не стану задним числом «исправлять» моё тогдашнее впечатление. Я отдавал должное профессиональному мастерству, но мой внутренний камертон не резонировал. Тут я должен объясниться. У каждого свои предпочтения; я люблю стихи, «просторные» по звучанию, наполненные гласными, организованные музыкально, если позволительно так их определить. Поэтому в ряду моих любимых поэтов, например, Ахматова, Ходасевич, Шенгели, Заболоцкий, Тарковский, Ревич, Соколов, Чухонцев, но нет там Баратынского, Тютчева, Мандельштама, Цветаевой, Хлебникова, Сельвинского, Кушнера... При этом ясно понимаю, что поэты из моего «второго списка» вполне обойдутся без моей любви, они признаны давно и законно. И вот по критерию *звукового устройства* я поместил Елену Аксельрод во «второй список». Думаю, не нужно пояснять, что это не носит оценочного характера, а только отражает личные вкусы.

Но ведь кроме чисто звукового исполнения, поэзия берёт нас за душу и иными своими качествами. Возникает резонанс и тогда, когда встречаешь сходное мировосприятие, близкую жизненную позицию. И когда мы оба – и Лена, и я – стали израильтянами, вкусили и мёду, и горечи здешней жизни, её стихи раскрылись для меня по-иному.

Что же произошло? Почему стихи, прежде для меня «не звучашие», вдруг зазвучали? Я нашёл такой, возможно, поверхностный ответ: в силу сходства поэтической памяти. Именно те стихи Е. А., где я обнаруживал упомянутую *двойную экспозицию*, наполнялись – из переулков и подвалов собственной памяти – звучанием *тех лет, тех событий* – общих лет, общих событий! Появлялась полная узнаваемость, думалось: это было не только с Леной – нет, это было и со мной тоже; а для чего ещё нужны стихи, как не для того, чтобы всего несколькими словами вызвать эмоциональное потрясение?! Попробую с минимальными комментариями привести примеры такого воздействия.

Эвакуация. Коптилка.

Над нею бабушка бормочет.

Разноязыких бед копилка,

Кобылы обреченной очи...

Старик-казах заносит палку,

Чтоб вызволить меня из драки...

На глиняном полу вповалку

В отрепьях каторжных поляки.

Если бы эти строки уже не были написаны – притом так лаконично и выразительно! – что-то подобное мог бы написать и я: и про копилку, и про бабушку, и про старика – вызволителя из драки, только в моём случае это был бы не казах, а киргиз, и даже про несчастных каторжных поляков... Но эти восемь строк – только подступы к резонансу («Случайный отзвук, но ещё не звук», как говорит Е. А.). Истинный резонанс возникает в следующих восьми строках, где поэт мысленно обращается к своей маленькой внучке:

*Затихли в памяти арыки,
И шепот бабушки всё глуше.
Младенца унимаю крики –
Моей раскосенькой Катюши.*

*О чем, захлебываясь, плачет
Горчайшими слезами детства?
Ужель и перед ней маячит
Неистребимый призрак бегства?*

И мгновенно происходит переход от единичной судьбы – её, моей ли? – к судьбе всего народа, к его неисчислимым гонениям, к его беспримерной стойкости. Это Её Величество Поэзия в чистом виде.

Другой пример, более локальный, но не менее выразительный:

*...Тщедушный палисадничек зеленый,
Что окна от прохожих прикрывал,
Мне заменял усадебные кроны,
Которых род мой сроду не знавал.*

*Не оттого ль теперь, через десятки
Истоптанных, неразличимых лет
Я каждый год, собрав свои тетрадки,
Спешу туда, в апрельский тихий свет,*

*Где над оврагом ели да осины
И у пруда зеленая скамья,
Протяжный запах мокрой древесины
И тень неуловимая твоя.*

Не я один – любой читатель этого стихотворения вспомнит *свою* зелёную скамью и *свою* неуловимую тень любимого человека. Но ведь это не просто мгновенный снимок из прошлого: двойная экспозиция здесь присутствует десятками *истоптанных* (какой, однако, замечательно точный эпитет!) лет, и не просто истоптанных, а – *неразличимых* (ещё один замечательно точный эпитет!), неразличимых потому, что в них уже не было неуловимой тени... Лирическая героиня из сегодняшнего дня вглядывается в, казалось бы, навсегда ушедшее прошлое – и вдруг оттуда льётся *апрельский тихий свет* и доносится совершенно меня сокрушивший *протяжный (!) запах мокрой древесины*: такие воспоминания – неопровержимый признак истинного поэта.

А вот небольшое стихотворение, датированное 1998-м годом:

*Ялта безлюдная. Мы вдвоем.
Год шестьдесят девятый.
Мы заплатили за весь оком –
Так мы были богаты.*

*Четверть века транжирила я.
Казалось, запас бесконечен.
Море сухое. Пустая бадья.
Мне расплатиться нечем.*

Предельный лаконизм сочетается здесь с предельной эмоциональной экспрессией – одно *сухое море* чего стоит! Двойная экспозиция этого снимка действует и ошеломляюще, и завораживающе; два изображения, разделённые более чем четвертью века, одинаково чётки и выразительны. Какое ещё искусство, кроме поэзии, способно на это?

Но мне вовсе не хотелось бы, чтобы у читателя сложилось мнение, будто Елена Аксельрод пользуется всё время одним и тем же, пусть даже и совершенным, способом поэтической выразительности. В конце концов, двойная экспозиция – не более чем удобный для меня словесный ход, и стихи воздействуют так сильно не потому, что я так назвал этот способ, а потому, что это просто очень хорошие стихи.

Десять разделов, на которые поделён сборник «Избранное», дают возможность подробно и неспешно вчитаться в поэзию Елены Аксельрод, почувствовать ту силу духа, которая диктует спокойную, сдержанную, несуетную интонацию большинства стихотворений. Эта сила духа – а ещё её можно назвать душевным благородством – определяет авторское кредо, этически и эстетически безупречное, и даёт всей книге некий стержень, благодаря которому стихи разных лет, написанные при весьма разных обстоятельствах, перекликаются, создавая, если можно так выразиться, спиральность впечатлений.

В заключение рискну привести собственное стихотворение, которое появилось на свет как резонанс на стихи Лены.

* * *

Елене Аксельрод

Снова снятся ночные кошмары –
будто я возвратился в Москву
и, не юный, но вовсе не старый,
по вчерашним законам живу.

Снова вижу метро под завязку,
и бетонные чаши окрест,
и уныло-зелёную краску
в коридорах присутственных мест.

Снова чувствую запах столовки,
где хлебаю харчо и компот;
вновь ступаю, смешной и неловкий,
на дорожный несколотый лёд.

Мне твердят – времена изменились,
всё иное сегодня и там.
Только всё это снится, как снилось,
возвращая к ушедшим местам.

Среди них ни реальных, ни мнимых,
но судьба продолжает зиять,
как с двойной экспозицией снимок,
где картинки ничем не развязать...

Наум Басовский

**Журнал «СОЛНЕЧНОЕ СПЛЕТЕНИЕ» №№10-11 – 22-23.
Москва–Иерусалим, «Мосты культуры–Гешарим».**

Журнал «Солнечное сплетение» приобрел сегодняшний свой вид, начиная с № 11-12, – резко увеличил объём и при этом изменил самоопределение с «молодёжного» на «литературный». Выходя сдвоенными номерами, он объединяет под одной обложкой, в соответствии с программным заявлением, «литературное творчество» и «гуманитарную мысль». В журнале публикуются немало ярких авторов, практически не сотрудничающих ни в каком другом израильском литературном издании.

Обзор разделов начнем с критического раздела «Гамбургские счёты». Из 24-х публикаций больше половины написано израильтянами и об израильтянах. О нашем «Иерусалимском журнале», о книге «Путь» Славы Курилова, о стихах Даны-Гали Зингер, о творчестве безвременно погибшей Анны Горенко, о сборнике «Ориентация на местности», об альманахе «Галилея»... Критика нелицеприятна, однако большей частью доброжелательна. Даже говоря о неудачных, на его взгляд, публикациях, Мих. Бар-Малей находит слова понимания: «...бесценный человеческий документ, памятник городского фольклора, который доносит до нас боль, тревогу и недоумение...». Отмечу замечательную, насыщенную анекдотическими примерами рецензию того же критика на книгу А. В. Блюма «Советская цензура в эпоху тотального террора». Екатерина Дмитриева (Москва) оценивает некую выставку в Париже, Зеев Бар-Селла пишет об искателях Ноева ковчега, Елена Толстая вспоминает о фильме «Касабланка». А рядом – полемическая статья Михаила Вайскопфа «Марксистские русалки» о фашистской и неофашистской литературе в России, Леонид Кацис (Москва) анализирует комментаторско-биографический фон собрания стихотворений и поэм Эдуарда Багрицкого, вышедшего в Новой Библиотеке Поэта.

Переходящий из номера в номер раздел «Квартальный надзиратель». Очень понравилась статья педагога Елены Римон «Кто найдет жену достойную, или Опыты понимания текстов». Цитирую: «...пытаюсь понять, в чем тут состоит главное различие между мной и моими учениками. Наверное, в том, что литературные произведения интересуют меня не как источник моральных ценностей, а как воплощение жанровых и сюжетных моделей. Возможно, такая позиция с течением времени довольно близко подходит к тому, что называется цинизмом. Ученики же мои, как оказалось, в любых текстах со всей наивностью ищут самих себя, то есть тот материал, из которого строится душа...». Тут же исследования Ольги Беловой (Москва) о славянах и евреях, о «своих» и «чужих» календарных праздниках; заметки Мирьям Миронов «Четыре этюда о дамском спорте или как протянуть ножки к концу поясницы» – о букинистической книжечке «Спорт во всех видах» 1914 года, в другом номере – замечательная ее статья «Зовные стенанья» о справочнике Тарасенкова по стихотворным книгам первой половины XX века.

Под рубриками с нарочито смешливыми названиями «Кот учёный», тот же «Квартальный надзиратель», «Осиновый кол» публику-

ются серьёзные исследовательские тексты. Так, «Кот учёный» рассказывает о группе молодых футуристов в Грузии в 1922 году, об «Усадебной любви и её литературном моделировании», «О природе некоторых символов в мистике», об уточнении датировки одного стихотворения Олейникова, о письменных памятниках древнего Египта...

Сферы интереса журнала простираются от оккультизма и алхимии до психиатрии. Рубрик не хватает, и они множатся от выпуска к выпуску. Так в разделе «Возвращённый рай» (№ 18-19) – исследования об Алексее Николаевиче Толстом. В разделе «Лапута» (№ 20-21) – Аркадий Недель (Париж) с философской статьёй «Собственность слепца»; в разделе «Пароль» (№ 16-17) – «Новосибирский самиздат глазами подростка» (Андрей Рогачевский, Глазго).

«Гуманитарная мысль» охватывает множество направлений: сегодня «Кровавый ньюсмейкер XV века. Дракула и его государство в древнерусском сказании» (М. Одесский, Москва); завтра – «Владимир Ильич Ленин в Московском Институте Мозга» (М. Спивак, Москва), послезавтра – «Доктрина происхождения зла в лурианской и саббатанской каббале и в буддийском «Трактате о Пробуждении веры в Махаяну» (Евг. Торчинов)...

Рамки журнала всё расплываются и расплываются. Под новые темы открываются соответствующие рубрики, или не открываются, и если читатель ждёт какой-то упорядоченности, он будет сильно удивлён. Так, например, в разделе «Копи царя Соломона» в № 16-17 напечатаны материалы Михаила Вайскопфа о Фаддее Булгарине и Владимира Хазана о Марке Эгарте. А в следующем выпуске (№18-19) та же рубрика открывается статьёй совсем другого плана – исследованием Константина Бурмистрова (Москва) «Каббалистическая экзегетика и христианская догматика: еврейская мистика в учении русских масонов конца XVIII века».

Хотя, по-видимому, именно такой неожиданности, непредсказуемости и добивается редакция.

Опуская, за отсутствием места, переводы, которые хорошо представлены в «Солнечном сплетении», обратимся к главному, что составляет интерес любого литературного журнала, – к прозе.

Здесь список авторов, мягко говоря, ограничен: А. Бренер и Б. Шурц, Л. Гершович, Н. Зингер, Г. Зеленина, В. Панэ, В. Тарасов, Е. Толстая, М. Федотов и С. Файбисович.

Начнём с довольно часто встречающихся А. Бренера и Б. Шурц. В № 12-13 опубликован рассказ в стихах «Жизнь втроём с Джеком Смитом». Приведу отрывок: «...Вместо языка Джек показывает свой елдак. \ Или кадык. \ Дык! \ Дык! \ Дык! \ Как считал Фуко, видимое и высказываемое – несопоставимы...» К такого рода текстам мне трудно относиться всерьёз.

Тем неожиданней оказались два рассказа тех же авторов в № 16-17: один – как бы путевые заметки об Африке, а из второго процитирую: «...Ахмед видел, что только в испаряющихся лужах мир приоткрывает свои сокровенные тайны, а кроме того, еще и свои красивые краски. Мир нигде не бывает столь красочным, подвижным и

загадочным, как в тончайших своих оболочках... Ахмед постигал, что в мире мы только и можем иметь дело что с моментальными срезами вещей, которые тут же зарастают новой кожей и скрываются от глаз, как липкие улитки...».

А вот рассказы «Необходимое воровство», «Книга дёсен» и «Триумф Голема» (№ 18-19) производят впечатление слепков с прозы В. Сорокина, В наиболее показательном в этой серии «Триумфе Голема» – обычное для соавторов длинное разъяснение для непонимающих: «...искусство и литература – это всего лишь липкий, воняющий клей... Этот клей всегда склеивал воедино самых отвратных големов... Рассказчики всегда только этим клеющим ремеслом и занимались, не так ли?.. Или же были отдельные исключения?... И ищущие индивиды могут почерпнуть из чужих писаний эти элементы и использовать их плодотворно?...»

Всем все понятно?

Перу Леонида Гершовича в том же № 16-17 принадлежит короткая абсурдистская пьеса с рисунками. А Некод Зингер опубликовал в журнале вещь гораздо более объёмную: роман «Билеты в кассе».

В первой части романа группа молодых евреев едет в поезде из Новосибирска вроде бы на войну с сионистским агрессором, среди них находится и автор.

«...Зингер дремлет, убаюканный мерным покачиванием на волнах своей памяти. Идеальный пример того, как текст может беспрепятственно длиться, несмотря на то, что мнимый автор его уснул. Обратите особое внимание. Почти ничего не изменилось. И какой вообще речпорт? Что мы – с корабля на бал или, уязвленные просторечьем, приближаемся к вожделенному порто-франко? И со всех сторон – не авторская, стихийная родная речь...»

Текст, действительно, длится беспрепятственно, но вот речь, несомненно, авторская; диалоги редки.

Приведу для примера ещё отрывок, просто одно из предложений: «...Промотала тебя телега сия по пустыне Западно-Сибирской, по кочкам, по кочкам, и в ямку – бух, на станцию «Новосибирск-Южный», где компас твой компостирует прямо к северу, и нет больше никаких иллюзий на предмет общего направления мыслей, мол – поживем-увидим, не вешай нос, неумирающий, мы еще с тобой ананасный компот будем из банки трескать, сидя в синих леви-штраусах-оффенбахках – все двенадцать колен продраны по фирме, каждая задница с надписью «Техас», что бы там ни болботал Лабутенко, между двух стульев, расставленных вокруг золотого тельца, вот так, мол, будем еще висеть, вспоминая дорожные главы Ильфа и Петрова, пока не плюхнемся в плодородный компост исторической родины, как тощий плод, до времени поспелый...».

Во второй части тема поезда пропадает, еврейский батальон приходит на экскурсию в зоопарк; далее опять сюрреалистические повороты, воспоминания детства...

«Бомба на блюдечке» В. Тарасова – тоже монолог. Попытка заглянуть за грань, поговорить с Пушкиным, спросить, кто по-прежнему гений, а кто нет, кто мытарится, а кто блаженствует.

Рассказ С. Файбисовича «Облако» – о любовной истории. С необходимой грустью и необходимыми интимными сценами:

«...А пахучая зеленюшка, которую Пильви принесла в корзинке, когда решила приготовить нам пир на двоих, все стоит у меня на подоконнике в кухне в маленьком коричневом пластмассовом горшочке... Я иногда нюхаю их и регулярно поливаю травку заодно с другими растениями, из которых иные также напоминают мне о более счастливых днях...».

Роман Елены Толстой «Кровавый выкуп ключа» полон самоиронии и сарказма. Опубликованная его часть рассказывает о поисках дома. Дома конкретного, не где-нибудь на «шелудивой улице Ольсвангер...», а в Рехавии.

Написано с точно подмеченными деталями быта: «...хозяева, хозяева, хозяева, все в засаленных барашковых шапках и грязных свитках: маленькие, квадратные и жесткие, как человечки из лего...»

У Галины Зелениной в рассказе «Чорт» чего только не происходит: «...Он подумал было, испытыв нецелесообразность питья парного молока, втирать ей в волосы навоз, он думал об этом, ворочаясь в постели после пятой таблетки аспирина, и моя голова раскалывалась, но потом ему приснилось, что он закопан по шею в навозную кучу, не может выбраться, точнее не по шею, а по подбородок, не может даже пошевелить головой, ни направо, ни налево, и не может никак, ну просто, вспомнить, что находится за его спиной...»

Навоз и молоко, розовые ногти невесты, деревенский колодец, невеста в нём, естественно, тонет. То есть конец счастливый.

Виктор Панэ представлен главой «Гениальность не лечится» из романа «Что вдохновляет», первая часть которого, кстати, была опубликована в «ИЖ» (№ 9, 2001). Лёгкий, быстрый слог. Строчка бежит и увлекает читателя за собой.

Лично для меня из прозаиков «Солнечного сплетения» ближе всех оказался Михаил Федотов. Его «Параллельное время» – про Питер, детство, Израиль, свой роман, неромантическую старость, литературных героинь: «Ужасно, когда проходит любовь. Нет истерики, нет раскаяния, а просто сидишь – и ни с места...».

Если же говорить «вообще», в журнале представлена, в основном, «модернистская» проза. Общим же для всех этих на разном уровне написанных текстов является одно – монолог. Неважно, рассказ на двух страницах или роман на пятидесяти. При этом развитие характеров, действие, диалоги авторов интересуют не очень. Пристрастие редакции к такому типу повествования очевидно.

О поэзии «Солнечного сплетения» надо говорить отдельно. Но хотя бы авторов перечислим: Максим Анкудинов, Анри Волхонский, Михаил Генделев, Гали-Дана Зингер, Галина Зеленина, Тимур Зульфикаров, Михаил Король, Демьян Кудрявцев, Вера Павлова, Петя Птах, Евгений Сошкин, Владимир Тарасов, Леонид Шваб...

А в конце обзора отметим интеллектуальное богатство журнала, широту интересов и остроумие. И пожелаем коллегам удачи.

Леонид Левинзон

Владимир ФРОМЕР. «Реальность мифов». – Москва – Иерусалим, «Мосты культуры–Гешарим», 2003.

Прав автор: мифы могут стать реальностью только в одной точке земного шара, о которой он и написал свою книгу.

Не могу забыть рассказ Фромера о многострадальной улице Яффо в Иерусалиме. Как только иорданские легионеры начинали обстрел со стен Старого города (а это было до Шестидневной войны), ремесленники и торговцы спокойно запирали свои лавки и вместе с прохожими и покупателями ждали конца тревоги.

Так вот, большая часть очерков и эссе Владимира Фромера – это увлекательнейший рассказ о стране под обстрелом. Обстрелом, который длится более полувека. Рассказ о стране, сумевшей окрепнуть и сохранить свое достоинство в передрыгах, гораздо более серьезных, чем те, что приходится испытывать Еврейскому государству сегодня.

«Реальность мифов» написана ясным, прозрачным и чистым языком. Автор разговаривает с читателем спокойно, с достоинством профессионального историка, знающего то, о чем он рассказывает.

Владимир Фромер написал книгу, не отмеченную авторскими амбициями, но в то же время глубоко личную. Фромер написал ее так, как только мог написать он один.

«Реальность мифов» – честная книга. Автор не старается преобразить факт в угоду той или иной политической схеме. Именно таким, как Фромер, я бы и доверил написание учебников истории. Особенно сегодня, когда невежество наших школьников вот-вот обернется лавиной, способной похоронить под собой само государство.

Особенную ценность «Реальности мифов» представляют, на мой взгляд, главы о людях искусства. И здесь автор целиком и полностью на своей территории. Каким чудом сумел сохранить он за долгие годы жизни в Израиле, в семейных передрыгах, под гнетом рутинной работы феноменальное знание поэзии, глубокое чувство стиха, мне неизвестно. Но сохранил, сберег. Фромер – человек стиха и, вернее всего, по этой причине его проза ритмична и полна музыки, даже тогда, когда он рассказывает о склоках между депутатами Кнессета или тайнах Мосада.

Есть еще одно удивительная особенность книги: ее совершенно естественное и глубокое проникновение в ивритскую культуру. Очерк о Натане Альтермане стоит рядом с эссе о Венедикте Ерофееве, и блистательные воспоминания о Йоне Волах – рядом с рассказами о Юлии Марголине и Анатолии Якобсоне.

И здесь Фромер с удивительным тактом оставляет нас наедине с портретами своих героев, но в то же время неназойливо присутствует рядом с читателям – хотя бы по той причине, что биография автора накрепко связана с биографиями тех, о ком он пишет.

За книгу «Реальность мифов» Союз русскоязычных писателей Израиля удостоил Владимира Фромера литературной премии 2003 года, и выбор этот можно только приветствовать.

Аркадий Красильщиков

Крестинский Александр. Дорога на Яффо. [Стихи]. – Иерусалим: Скопус. «Библиотека Иерусалимского журнала». – 184 с. Тел. 972-3-6599314.

Кулинская Елена. Меринговский сад. [Стихи]. – Иерусалим: авторское издание. – 88 с. Тел. 972-3-6735663.

Куров Валерий. Десять офортных экслибрисов. Иерусалим: Филобиблон. – 24 с. + 10 вкладных листов-иллюстраций. Тел. 972-2-6769388.

Любимова О. (Алиса Гринько). Помраченный разум. [Проза]. – Иерусалим: ЛИРА. – 224 с. Тел. 972-2-6569377.

Меламед Марина. Перекрёсток желаний. [Рассказы и повесть]. – Иерусалим: Творческое объединение «Иерусалимская антология». «Библиотека Иерусалимского журнала». – 160 с. Тел. 972-2-6730428.

Островский Матвей. От жертвенника до города... [Опыт исследования библейских текстов]. – Иерусалим: авторское издание. – 84 с.

Пара-Эфрус Евгений. AL-I-IS – ключ к секретам великого сфинкса. [Серия книг: Сириус – свет]. – Иерусалим: Скопус. – 64 с. Тел. 972-3-9366473.

Песня Песен. [Перевод и комментарий Якова Лаха]. Иерусалим: Филобиблон. – 200 с. Тел. 972-2-6769388.

Пищанский Ефим. Осколки разбитых жизней. [Воспоминания]. – Иерусалим: авторское издание. – 64 с. Тел. 972-2-5857282.

Резников Алекс. Иерусалим, улицы в лицах, ч. 2. – Иерусалим: ЛИРА. – 400 с. Тел. 972-2-6418498.

Руба Дмитрий. Сказание о верном друге. [Книга для детей всех возрастов]. – Иерусалим: ЛИРА. – 304 с. Тел. 972-2-6412690.

Руднева Ирина. Из двух веков и трех материков. [Стихи и песни]. – Иерусалим: ЛИРА. – 232 с. Тел. 972-2-6412690.

Самойлович Владимир. Обстоятельства места. [Стихи]. – Кфар-Саба: КНИГА. – 104 с. Тел. 972-9-7678590.

Токарская Белла. Волшебное слово. [Учебное пособие по русскому языку как иностранному]. – Изд. 2-е. – Иерусалим: ЛИРА. – 160 с. Тел. 972-2-6412690.

Фогельсон Израиль. Литература учит. [Пособие для учащихся 10-х классов]. – Иерусалим: ЛИРА. – 512 с. Тел. 972-2-6412690.

Ханелис Владимир. Тот, с кем происходит чудо... [Проза]. – Иерусалим: Филобиблон. – 272 с.: ил. Тел. 6769388.

Штурман Дора. А это самое начало. [Стихи]. – Иерусалим: ЛИРА. – 120 с.: ил. Татьяны Будорагиной. Тел. 972-9-8989120.

Заказать книги можно, связавшись с авторами или издателями.

Издатели и авторы, желающие опубликовать в «Иерусалимском журнале» информацию о вышедших книгах, могут прислать эти сведения в редакцию.

ИМЕНА

Елена АКСЕЛЬРОД родилась в Минске, жила в Москве. Закончила филфак МГПИ. Репатририровалась в 1991 году. Автор книг для детей, поэтических сборников и книги-альбома об отце – Меире Аксельроде (1993). Стихи Е. А. и ее переводы (с идиша и других языков) включены во многие антологии. Лауреат премии Союза писателей Израиля. Живет в Маале-Адумим.

В «ИЖ» опубликованы подборки ее стихов «Сон о танцевальном классе» (№ 3), «Кофе под "Хронику дня"» (№ 10), «Между пальмой и липой» (№ 16) и рецензии на книги Юрия Шаркова (№ 5) и Якова Хромченко (№ 7). В «Библиотеке Иерусалимского журнала» вышла книга Елены Аксельрод и Михаила Яхилевича «Стена в пустыне». (2000).

Наум БАСОВСКИЙ родился в Киеве в 1937 году. Репатририровался в 1992 году. Автор трех сборников стихов, а также поэтических переложений книги «Козлет» («Экклезиаст») и книги пророка Нахума. Лауреат премии русскоязычного СП Израиля.

Живет в Ришон ле-Ционе. Работает инженером.

В «ИЖ» опубликованы подборки стихов «Место, где каждый день живешь» (№ 4) и «Новые стихи» (№ 14-15); эссе «Три аквариума» (№ 6) и «...Созерцать красоту господню»; рецензия на книгу Юрия Колкера и заметки о переложении Экклезиаста (№ 7); переложения из книги Исайи (№ 8) и книги Псалмов (№ 12). В 2000 году в «Библиотеке Иерусалимского журнала» вышла книга стихов Н. Б. «Полнозвучие».

Наталья ГОРБАНЕВСКАЯ родилась в Москве в 1936 году. Окончила филфак МГУ. Автор более двадцати сборников стихов и сборника переводов поэзии Чеслава Милоша.

Видный деятель диссидентского движения, участник демонстрации на Красной площади против вторжения советских войск в Чехословакию (1968).

С 1976 года живет в Париже; много лет входила в редколлегии журнала «Континент» и газеты «Русская мысль».

Ави ДАН (Борис Привин) родился в 1970 году в Москве. Жил в Магадане, где вышел первый сборник стихов «Место происхождения» (1992). Репатририровался в 1992 году. В 1997 году выпустил сборник стихов «Fin de Siecle». Живёт в поселении Эфрата.

В «ИЖ» № 1 опубликована подборка его стихов «Библиотека для ничейного пользования» и заметки о поэзии Петра Межурицкого.

Михаил ЗИВ родился в 1947 году в Ленинграде. Репатририровался в 1992 году. Автор книги стихов «Мед из камфоры» (2003). Живет в Тель-Авиве.

В «ИЖ» опубликованы подборки его стихов «Зарисовки на пленэре» (№ 4) и «Поселения» (№ 10).

Давид МАРКИШ родился в 1938 году в Москве. Учился в Литинституте им. Горького, на Высших курсах сценаристов и режиссёров кино. Репатриировался в 1972 году. Автор более двух десятков книг; 8 из них вышли в переводе на иврит, 9 – на другие языки (в США, Англии, Германии, Франции, Швейцарии, Швеции и Бразилии). Лауреат израильских и зарубежных литературных премий. Живет в Ор-Иегуде.

В «ИЖ» опубликованы его рассказы «Конец света» (№ 6), «Гуревич» (№ 8), «Золотая башня» (№ 11), «Зюня» (№ 12) и эссе «Русская рулетка Олеси» (№ 14-15).

Шимон МАРКИШ (1931, Баку – 2003, Женева; похоронен в кибуце Эйнав, Израиль).

Работал в области классической филологии, художественного перевода, истории культуры, литературной критики. Последние тридцать лет занимался историей еврейской словесности на русском языке. Книги последнего десятилетия: «Три примера: Бабель – Эренбург – Гроссман» (1994, на иврите); «Бабель и другие» (1997, 2-е издание); «Сумерки в полдень: очерк истории греческой культуры в эпоху Пелопоннесской войны» (1999, 2-е издание).

В «ИЖ» опубликованы его заметка памяти Авраама Белова (№ 5), очерк о Григории Богрове «Третий отец-основатель или “К чужим кострам”» (№ 6), перевод романа Кароя Папа «Азарел» (№№ 11, 12), перевод первой части романа Имре Кертеса «Обездоленность» (№14-15).

Петр МЕЖУРИЦКИЙ родился в 1953 году в Одессе. В 1986 году закончил филфак Одесского университета. Репатриировался в 1990 году. Автор сборников стихов «Места обитания» (1993), «Пчелы жалят задом наперед» (1997) и «Эпоха Кабаре» (1999). Живет в Ор-Акиве. Преподает в школе. Секретарь Тель-авивского клуба литераторов.

В «ИЖ» опубликованы подборка стихов П. М. «Эпоха кабаре» (№ 3) и эссе «Отклик» (№ 6).

Валерий СЛУЦКИЙ родился в 1954 году в Даугавпилсе. Жил в Ленинграде. Закончил ЛГПИ им. Герцена. Участник сборника «Круг» (Ленинград, 1985). В 1988-90 г.г. заведовал отделом поэзии журнала «ВЕК» («Вестник еврейской культуры»). Репатриировался в 1990 году. Автор книг стихов: «Стихотворения 1970-1977» (2002), «Omnia» (1993), «Новый век» (2002), а также сборника переводов «Из еврейской поэзии XX века» (2001).

Живет в поселении Кдумим. Работает учителем.

В «ИЖ» опубликована подборка новых стихов В. С. (№ 13) и эссе «Опыт прямоисказания» (№ 14-15).

Марк ХАРИТОНОВ родился в 1937 году в Житомире. Окончил МГПИ. Работал учителем, ответсекретарем в многотиражке,

редактором в издательстве. Переводил с немецкого (Г. Гессе, С. Цвейг, Э. Канетти, Ф. Кафка и др.). Дебютировал как прозаик повестью «День в феврале» в журнале «Новый мир» (1976, предисловие Д. Самойлова). Автор нескольких книг прозы. Лауреат Букеровской премии («Линия Судьбы, или Сундучок Милашевича», 1992). Живет в Москве.

В «ИЖ» № 12 опубликована проза **М. Х.** «Проект Одиночество» и рецензия на книгу Елены Макаровой (№ 16).

Велвл ЧЕРНИН родился в 1958 году в Москве. Закончил истфак МГУ и Высшие литературные курсы. Репатриировался в 1990 году. Преподает еврейскую литературу в университете им. Бар-Илана, где защитил докторскую диссертацию. Автор четырех книг стихов на идише. Лауреат литературной премии им. Давида Гофштейна.

Живет в поселении Кфар-Эльдад.

В «ИЖ» опубликована рецензия **В. Ч.** на книгу Валерия Слуцкого «Новый век» (№ 12) и переводы еврейских средневековых сказок из «Майсе-бух» (№ 14-15).

София ШЕГЕЛЬ (Шегельман) родилась на Украине, выросла в Литве. Окончила Вильнюсский университет. Переводит с литовского и славянских языков. Работала в издательствах «Вышэйшая школа» (Белоруссия) и «Минтис» (Литва). Репатриировалась в 1989 году. Сотрудничает с израильской и зарубежной русскоязычной прессой. Живет в Ашдоде.

В «ИЖ» № 14-15 в переводе **С. Ш.** опубликован рассказ Ицхокаса Мераса «Оазис».

Михаил ЩЕРБАКОВ родился в 1963 году в Обнинске (Калужская область). Окончил филфак МГУ им. Ломоносова.

Автор книг: «Фиалковый букет» (1988); «Ковчег неутомимый» (1988, 1989); «Вишневое варенье» (1990), «После Ковчега» (1992, 1994); «Нет и не было яда» (1992), «Другая жизнь» (1997). Выпустил двадцать дисков песен, записанных в авторском исполнении. Живет в Москве.

В «ИЖ» опубликованы подборки текстов песен **М. Щ.** «Инициалы» (№ 1) и «Не подводя черты» (№ 13).

Вадим ЯРМОЛИНЕЦ родился в 1958 году в Одессе. Окончил факультет романо-германской филологии Одесского университета. В 1989 году эмигрировал в США. Работает в газете «Новое русское слово». Проза **В. Я.** публиковалась в российских, израильских и американских литературных журналах.

Живет в Нью-Йорке.

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»



В «БИБЛИОТЕКЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА»

в 1999 – 2004 годах вышли книги:

Дина РУБИНА. «Высокая вода венецианцев»

Елена АКСЕЛЬРОД и Михаил ЯХИЛЕВИЧ. «Стена в пустыне»

Юлий КИМ. «Путешествие к маяку»

Вениамин КЛЕЦЕЛЬ и Зинаида ПАЛВАНОВА. «Иерусалимские картинки» (1, 2)

Наум БАСОВСКИЙ. «Полнозвучие»

Илья БОКШТЕЙН. «Быть я любимым хотел»

Илья БОКШТЕЙН. «Говорит звезда с луной»

Илья БОКШТЕЙН. «Авангардист на крышу вышел»

Дмитрий СУХАРЕВ. «Холмы»

Игорь ГУБЕРМАН. «Книга странствий»

Игорь ГУБЕРМАН. «Гарики предпоследние»

Игорь ГУБЕРМАН. «Гарики из Атлантиды»

«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»

(27 израильских художников в специальном цветном выпуске «ИЖ»)

Григорий КАНОВИЧ. «Лики во тьме»

Марк ВЕЙЦМАН. «Третья попытка»

Самуил ШВАРЦБАНД. «Схолии»

Марина МЕЛАМЕД. «Перекресток желаний»

Зинаида ПАЛВАНОВА. «Счастье без прикрас»

Евгения ЗАВЕЛЬСКАЯ. «Времена речи»

Александр КРЕСТИНСКИЙ. «Дорога на Яффо»

Алекс РЕЗНИКОВ. «Иерусалим: улицы в лицах» (книга вторая)

«ИЕРУСАЛИМСКИЙ АЛЬБОМ» (первый выпуск)

Диск с новыми песнями Александра ДОВА (Медведевко), Юлия КИМА, Дмитрия КИМЕЛЬФЕЛЬДА, Марины МЕЛАМЕД и Михаила ФЕЛЬДМАНА

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

Стихи Йоны ВОЛАХ в переводе Ольги РОГАЧЁВОЙ, новая книга стихов Владимира ДРУКА, новая книга Феликса КРИВИНА, новая книга стихов Владимира ФРЕНКЕЛЯ, новая книга стихов Сусанны ЧЕРНОБРОВОЙ

JERUSALEM ANTHOLOGY – www.antho.net

Музей современных израильских художников

Смотрите коллекции работ Александра Адонина, Анатолия Баратынского, Леонида Балаклава, Лиоры Барштейн, Николая Беззубова, Эллы Биншток,

Леи Зарембо, Гарика Зильбермана, Бориса Караванова, Бориса Карафелова, Бориса Кинкулькина, Вениамина Клецеля, Григория Козлета, Эммануила Липкинда, Ителлы Мастбаум, Михаила Моргенштерна, Бориса

Лекаря, Иосифа Островского, Зелия Смехова, Сергея Теряева, Юлии

Сегаль, Якова Фельдмана, Давида Ханана, Юлии Шульман,

Сусанны Чернобровой, Михаила Яхилевича

и других мастеров искусства

CONTENTS

JAFFA GATE

MICHAEL ZIV. A long story. *Poems*

GREGORY KANOVICH. Jacques Melamed, a widower. *Novelette*

PETER MEZHURITSKY. And the morning of the day,
and the evening of the night. *Poems*

DAVID MARKISH. The thirteenth thread. *Chapters from the novel*

SOPHIA SHEGEL. "Hello, Liza!". *Short Story*

PARIS SQUARE

NATALIA GORBANEVSKAYA. From new poems

LION GATE

YULI KIM. Once Mikhailov with Koval... *Short Story*

AVI DAN. Oven. *Poems*

ELENA IGNATOVA. "And at an early hour...". *Short Story*

VELVL CHERNIN. From new poems.

Translated from Yiddish by Valery Slutsky

SHKHEM GATE

IGOR KOGAN. "Made in China". *Short Story*

SAKER GARDEN

YULI KIM. Introduction

MICHAEL SHCHERBAKOV. If. *Lyrics*

SAKHAROV GARDENS

FELIX KRASAVIN. While waiting for Charon

RUSSIAN COMPOUND

MARC KHARITONOV. To one who hears. *Poems*

YELENA LAPSHINA. Chunya. *Short Story*

AMERICAN COLONY

ANDREY GRITSMAN. Something personal. *Poem*

VADIM YARMOLINETS. The landscape and more. *Short Story*

MEMORY HILL

IGOR BYALSKY. In remembrance of my friend

SHIMON MARKISH. Russian writer and Jew

ELENA AXELROD. The weight of loneliness

ALEXANDER BELOUSOV. I shan't be hiding... *Poems*

ELI LUXEBURG. Close by the righteous

MOUNT SCOPUS

YURI KAMINSKY. Protracted light

BORIS PRIVIN. Dmitry Kolomensky.

An attempt of a psychological portrait

NEW GATE

Reviews by Nahum BASOVSKY, Arkady KRASILSHCHIKIV,

Leonid LEVINSON of books by Elena AXELROD, Vladimir

FROMER and the recent issues of SOLAR PLEXUS Magazine

SHRINE OF THE BOOK

Publications of the Years 2001–2003

NAMES

Authors and Characters

ספרות ישראלית בשפה הרוסית

רבעון אמנותי

אגודת הסופרים כותבי רוסית במדינת ישראל
עמותת "אנתולוגיה ירושלמית"

מערכת:

איגור ביאלסקי (עורך ראשי),
רומן טימנצ'יק, יולי קים, שמעון מרקיש,
זינאידה פלבנובה, וולוול טשרנין, דינה רובינה, סבטלנה שנברון

מזכיר – לאוניד לוינזון

ציירת – סוסנה צ'רנוברובה

עיצוב באינטרנט – קרינה פסטרנק

עריכה והגהה – בינה סמחובה, לובה ליבזון

תמיכה לוגיסטית וטכנית – אולגה אקסיוטינה,

מיכאל ביאלסקי, דניאל בורשטיין, בוריס ברונשטיין,

ויקטור גופמן, גריגורי גורדין, לינה וילנסקי,

סבטלנה מויבר, אנטון מוכין, אילן ריס, בוריס שטיין

הדפסה: דפוס "צור-אות"

הוצאה לאור: "סקופוס"

בתמיכת



המרכז לקליטת אמנים עולים
משרד לקליטת העלייה,
משרד התרבות והספורט



מועצת הפיס
לתרבות ולאמנות



עיריית ירושלים
אגף התרבות,
הרשות העירונית לקליטת עלייה

בוריס אלכסנדרוב

מוסקוה, רוסטאגרואכספורט

© 2004 כל הזכויות שמורות למחברים ול"כתב-עת ירושלמי"

ISSN 1565-1347

כתובת: "כתב-עת ירושלמי" ת.ד. 32297, ירושלים 91322

טל. 055-766722, 02-6451288, 054-745322, 02-6720025

E-mail: review@antho.net

